

Александр Дюма

КАВАЛЕР
КРАСНОГО ЗАМКА

A decorative blue flourish consisting of a horizontal line that curves downwards on the left side into a stylized, arrow-like shape.





АЛЕКСАНДР ДЮМА



КАВАЛЕР
КРАСНОГО ЗАМКА




Урибой



*Александр
Дюма*



Роман

Москва
1992

ББК 84 ФР
Д 96

Художник
Валерий СМИРНОВ

Д 96 Александр Дюма. Кавалер Красного замка. (Кавалер де Мезон Руж). Пер с франц. Спб. — М. — АО «Прибой», РПА «Круг» 1992, 272 с. с ил.

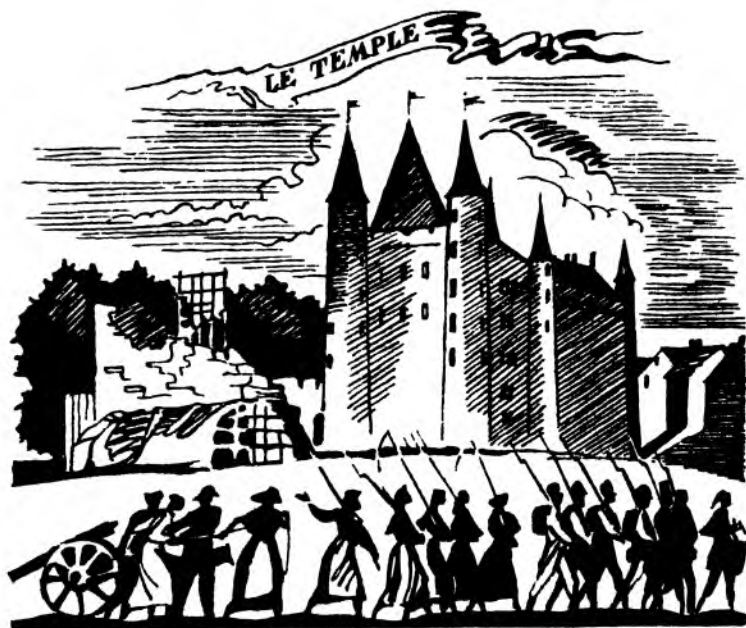
ISBN 5-7041-0068-6

Действие романа происходит в период массового террора, развязанного якобинцами в 1793 году. В огне и крови французской революции встречаются, любят и гибнут молодые герои романа.

ББК 84 ФР

Д $\frac{4703010100-005}{Д93(03)-92}$ Без объявл.

© АО «Прибой» ,
© РПА «Круг», 1992



I. ЗАВЕРБОВАННЫЕ

Был вечер 10 марта 1793 года.

Пробило десять на башне собора Парижской богородицы. И удары курантов, словно ночные птицы, один за другим отлетали из бронзового гнезда своего — грустно, монотонно.

Тихая, но холодная и туманная ночь набросила покров свой на Париж.

Сам Париж был не тот, что ныне, — ослепляющий по вечерам тысячами огней, которые отражаются в позлащенной ими слякоти; Париж озабоченных пешеходов, веселого шепота, вакхических предместий — рассадников дерзких смут, отважных преступлений. То был Париж стыдливый, робкий, чем-то озабоченный. Редкие прохожие боязливо перебежали из одной улицы в другую, торопливо скрывались в подъездах или подворотнях своих домов, словно дикие звери, бросавшиеся в свои норы, почуяв охотника.

Одним словом, это был, как мы уже отметили, Париж 10 марта 1793 года.

Скажем несколько слов о неожиданных обстоятельствах, так резко изменивших облик столицы. Затем начнем рассказ о происшествиях, положивших начало этой истории.

Франция после казни короля Людовика XVI восстановила против себя всю Европу. К трем врагам, с кем она прежде воевала — Пруссии, Австрии и Пьемонту, — присоединились Англия, Голландия и Испания. Лишь Швеция и Дания хранили свой обычный нейтралитет, наблюдая действия Екатерины II, уничтожавшей самостоятельность Польши.

Положение было ужасное. Франция была обессилена и не представляла для них опасности. И в нравственном отношении ее перестали уважать после сентябрьской резни 1792 года и казни короля 21 января 1793-го. Буквально вся Европа осаждала ее, словно какой-то закудальный город. Англия была у ее берегов, Испания у Пиренеев, Пьемонт и Австрия у Альпийских гор, а Голландия и Пруссия на севере Нидерландов. Только в районе верхнего Рейна и Шелды 250 тысяч воинов выступили против республики.

Французские генералы были всюду разбиты. Мачинский оставил Ахен и отступил к Льежу. Штейнгеля и Нейлла преследовали до Лимбурга. Миранда, осадивший было Маастрихт, ретировался к Тонгру, Валанс и Дампьер вынуждены были отступить, бросив обозы. Более 10 тысяч солдат дезертировали из армии и перешли к неприятелю. Конвент, надеясь лишь на генерала Дюмурье, готовившего вторжение в Голландию, отправлял к нему гонца за гонцом, с приказанием оставить берега Бисбооса и принять командование над мозельской армией.

У Франции, словно живого организма, было больное сердце, и этим сердцем был Париж. В нем больно отдавался каждый удар, наносимый в самых отдаленных пунктах. Он страдал от вторжения неприятелей и от внутренних смут, мятежей и измен. Любая победа сопровождалась пышным торжеством, всякая неудача — неистовым страхом. Поэтому нетрудно понять, какое волнение вызвали известия о поражениях, следовавших одно за другим.

Накануне, 9 марта, в Конвенте было бурное заседание. Всем офицерам отдали приказ немедленно отправиться к своим полкам, и неистовый Дантон, заставлявший свершать невозможное, Дантон, взойдя на кафедру, с жаром произнес

— Не хватает солдат, говорите вы?! Дадим Парижу шанс спасти Францию, попросим у него тридцать тысяч человек, отправим их к Дюмурье, и тогда не только будет спасена Франция, но падет Бельгия; а Голландия и так наша!

Предложение было принято с восторженными криками. Началась запись добровольцев во всех городских секциях Театры — не до развлечений в час опасности — были закрыты, а на городской ратуше вывесили черный флаг в знак бедствия.

К полуночи 35 тысяч имен были вписаны в реестры.

Но и в этот вечер случилось то же, что в сентябрьские дни: в каждой секции завербовавшиеся волонтеры требовали, чтобы изменники были наказаны до их отправки в армию

Изменниками были тайные заговорщики, угрожавшие революции. Вес этого слова зависел от значения и влияния партий, раздиравших в эту эпоху Францию. Изменниками были самые слабые. А так как самыми слабыми были жирондисты, то монтаньяры (депутаты Горы) решили, что жирондисты и являются изменниками.

На другой день, 10 марта, все депутаты-монтаньяры явились на заседание. Вооруженные якобинцы заполнили трибуны, изгнав оттуда женщин; когда явился мэр во главе совета общественного благоустройства, он подтвердил представление комиссаров Конвента относительно преданности граждан, но повторил желание, единодушно изьявленное накануне, — об учреждении Чрезвычайного трибунала для суда над изменниками.

Громкими возгласами Гора потребовала донесения от тут же собравшегося Комитета, и спустя минут десять Робер Лендэ объявил, что будет назначен трибунал в составе десяти членов, не подчиненных никаким правовым формам, которые будут собирать все сведения любыми путями. Этот трибунал, разделенный на два непрерывно действующих отделения, будет преследовать, по указанию Конвента, всех, кто покусится ввести в заблуждение народ.

Жирондисты поняли: это им приговор. Они восстали.

— Лучше умереть, — восклицали они, — чем согласиться на учреждение этой венецианской инквизиции!

В ответ монтаньяры громко требовали провести голосование.

— Да, — вскричал Феро, — да, соберем голоса, чтоб показать всему миру людей, которые именем закона хотят губить невинных!

Собрали голоса, и неожиданно большинство объявило: 1) что будут присяжные, 2) что они будут избираемы поровну от каждого департамента и 3) утверждены Конвентом.

Только приняли эти предложения, как раздались страшные крики. Конвент уже привык к посещениям черни. Он послал спросить, чего хотят от него; ему отвечали, что это депутация от волонтеров, которая, отобедав на хлебном рынке, просит разрешения пройти перед Конвентом церемониальным маршем.

В ту же минуту распахнулись двери и явились шестьсот человек, вооруженных саблями, пистолетами и пиками, — все полупьяные. Они прошли под рукоплескания, громогласно требуя смерти изменникам.

— Да, — отвечал им Колло д'Эрбуа, — да, друзья мои, невзирая на все козни, мы спасем вас, вас и свободу!

Он говорил, глядя в сторону жирондистов, давая им понять, что они в опасности.

В самом деле, по окончании заседания Конвента депутаты Горы рассеялись по разным клубам, побежали к кордельерам и к якобинцам, предлагая лишить изменников всех законных прав и умертвить в эту же ночь.

Жена Лувэ жила на улице Сент-Онорэ, поблизости от якобинцев. Услышав возгласы, она явилась в клуб, узнала о предложении и, вернувшись, поспешила предупредить своего мужа. Лувэ берет оружие, бросается из двери в дверь, чтобы предупредить своих друзей, не застанет никого дома, но узнав от прислуги одного из них, что они у Петьюна, тотчас же отправляется туда и находит их спокойно обсуждающими какое-то предложение, которое намеревались сделать на другой день в надежде, что сумеют набрать им большинство голосов и проект пройдет. Он рассказывает им обо всем, что творится, о своих опасениях, о замыслах якобинцев и кордельеров и в заключение призывает принять какие-нибудь сильные меры.

Тогда Петьюн встал, спокойный и хладнокровный, как всегда, подошел к окну, растворил его, взглянул на небо, высунул руку и, почувствовав, что ее смочило, проговорил:

— Дождь идет, нынешней ночью ничего не случится.

В это полурастворенное окно донеслись последние удары пробивших на башне десяти часов.

Итак, вот что случилось в Париже накануне и в этот самый день; вот

что происходило вечером 10 марта, вот почему в этой влажной темноте, в этом грозном безмолвии дома, чье предназначение быть кровом для живых, подернулись каким-то мраком, оцепенели и походили на склепы.

В самом деле, многочисленные патрули национальной гвардии с ружьями наготове, толпы граждан, наскоро вооруженных чем попало, теснились чуть ли не у каждого ворот, у разворенных входов в аллеи, блуждали в ту ночь по городу. Чувство самосохранения вселяло каждому мысль, что замышлялось что-то необъяснимое и ужасное.

Мелкий и холодный дождь, тот, что успокоил Петьона, усугубил дурное настроение патрулей, которые, завидев друг друга, брали ружья наизготовку, на всякий случай готовясь к бою, и, лишь настороженно, недоверчиво сблизившись, узнав друг друга, как бы нехотя обменивались паролем и отзывом, а потом, беспрепятственно оглядываясь друг на друга, словно опасаясь нападения с тыла, расходились.

В этот вечер, когда Париж был под влиянием панического страха, возобновлявшегося так часто, что ему пора бы, кажется, свыкнуться с ним; в этот вечер, когда втихомолку шли переговоры об истреблении всех нерешительных революционеров, тех, кто подал голос за осуждение к смерти короля, но не решился осудить на смерть королеву, заключенную со своими детьми и свояченицей в темницу Тампля, — в этот вечер по улице Сент-Онорэ красала женщина в ситцевой лиловой с черными мушками мантилье. Голова ее была покрыта или, лучше сказать, закутана краем той же мантилье; всякий раз, когда вдали показывался патруль, она пряталась в каком-нибудь углублении ворот или за углом стены и стояла неподвижно, как истукан, затаив дыхание, пока солдаты проходили мимо, потом снова продолжала свой быстрый и тревожный бег, пока новая опасность не вынуждала ее опять прятаться и неподвижно, безмолвно выжидать.

Таким образом, благодаря своей осторожности, никем не замеченная, она пробежала часть улицы Сент-Онорэ и вдруг, повернув на улицу Гренель, наткнулась не на патруль, а на компанию храбрых волонтеров, отобедавших на хлебном рынке, патриотизм которых был возбужден бесчисленными тостами, поднятыми в честь будущих побед.

Бедная женщина, вскрикнув, попыталась скрыться в улицу дю Кок.

— Эй, эй, гражданка! — вскрикнул начальник волонтеров. Чувствовать над собою власть стало врожденной привычкой. Поэтому даже эти свирепые люди избрали себе начальника.

— Эй, куда ты?

Женщина, не отвечая, продолжала бежать.

— Готовься! — закричал начальник. — Это переодетый мужчина! Какой-нибудь скрывающийся аристократ!

Стук двух или трех ружей, беспорядочно, неумело вскинутых дрожащими руками, дал понять женщине о готовности выполнить роковую команду.

— Нет, нет! — вскричала она, тут же остановилась и пошла назад. — Нет, гражданин, ты ошибаешься, я не мужчина.

— Ну, так слушайся команды, — сказал начальник, — и говори правду. Куда ты так летишь, ночная красавица?

— Никуда, гражданин, я иду домой.

— А, ты идешь домой?
— Да.
— Для порядочной женщины позднею возвращаешься, гражданка.
— Я иду от больной родственницы.
— Бедная кошечка, — сказал начальник, сделав такое движение рукой, что испуганная женщина отскочила. — А где ваш пропуск?
— Мой пропуск? Какой, гражданин? Что ты этим хочешь сказать и чего требуешь?
— Разве ты не читала постановление?
— Нет.
— Ну, так ты слышала, как его оглашали?
— Тоже нет! Что в этом постановлении, боже мой?
— Начать с того, что говорят не «боже мой», а «Верховное существо».
— Виновата, ошиблась. Это по старой привычке.
— Привычка аристократов.
— Постараюсь исправиться, гражданин. Но ты говорил?..
— Я говорил, что постановлением Коммуны запрещено после десяти часов вечера выходить со двора без пропуска. При тебе ли он?
— Нет.
— Ты его забыла у своей родственницы?
— Я не знала, что надо иметь этот пропуск при себе.
— Ну, так пойдем до первого караула, там ты приветливо объяснишься с капитаном, и если он останется доволен тобой, то прикажет двум солдатам проводить тебя до твоего дома, а не то оставит при себе, пока наведут подробные справки. Ну, живо, налево кругом, шагом марш!

Судя по боязливому восклицанию арестованной, начальник добровольцев понял, что бедной женщине эта мера показалась ужасной.

— Ого-го! — сказал он. — Я уверен, что в наших руках какая-то знатная дичь! Ну, ну, вперед, моя красавица!

Начальник схватил арестованную под руку, невзирая на жалобные крики и слезы, и повлек к караулу дворца Эгалитэ.

Конвой уже находился недалеко от заставы Сержан, как вдруг молодой, высокого роста мужчина, закутанный в плащ, вышел на улицу Круа де Птишан в ту самую минуту, когда арестованная пыталась вымолить свободу. Но начальник волонтеров беспощадно тащил свою жертву, не внимая ее словам. Женщина вскрикнула, и в этом крике отразились страх и страдание.

Молодой человек увидел эту борьбу, услышал вопль, мигом перешел с одной стороны улицы на другую и очутился перед небольшим отрядом.

— Что вы делаете с этой женщиной? — спросил он того, который казался начальником.

— Прежде чем допрашивать меня, займись-ка лучше своим делом. Это тебя не касается.

— Кто эта женщина, гражданин, и чего вы от нее хотите? — повторил молодой человек с повелительной интонацией.

— Да ты-то сам кто, чтоб нас допрашивать?

Молодой человек отвернул с плеча плащ и показал блестящие эполеты на военном мундире.

— Я офицер, — сказал он, — как видишь.

— Офицер... чего?

— Гражданской гвардии.

— Ну и что? Нам-то что до нее? — отвечал один из волонтеров. — Зачем нам знать офицеров гражданской гвардии?

— Что он мелет? — спросил другой, растягивая слова, как это делают простолюдины, когда начинают сердиться.

— Он говорит, — парировал молодой человек, — что ежель эполеты не заставят уважать офицера, то сабля заставит уважать эполеты.

И неизвестный защитник молодой женщины, отступив на шаг и высвободив из-под складок плаща широкую и надежную пехотную саблю, блеснул ею при свете фонаря, потом быстрым движением, показавшим привычку обращаться с оружием, схватил начальника волонтеров за ворот карманьолки и, приставив острое сабли к его горлу, сказал:

— Теперь поговорим, как два добрых приятеля.

— Да, гражданин, — сказал начальник волонтеров, пытаюсь освободиться.

— Предупреждаю, что при малейшем движении твоим или твоих людей я насквозь просажу тебя этой саблей.

Между тем двое волонтеров продолжали держать женщину.

— Ты спрашиваешь, кто я? — продолжал молодой человек. — На это ты не имел права, потому что не командуешь патрулем гарнизона. Но это к слову. Скажу тебе, кто я. Меня зовут Морис Лендз; я командовал батареей канониров при деле 10 августа, имею чин поручика национальной гвардии и занимаю пост секретаря в секции Братьев и Друзей. Довольно тебе этого?

— Эх, гражданин поручик, — отвечал начальник, чувствуя на горле острое сабли, — это дело другое. Если ты в самом деле тот, за кого себя выдаешь, значит, ты настоящий патриот.

— Я знал, что мы мигом пойдем друг друга, — сказал офицер. — Теперь отвечай, о чем кричала эта женщина и что вы с нею делали?

— Мы вели ее на гауптвахту.

— А зачем вели на гауптвахту?

— Затем, что у нее нет пропуска, а по последнему приказу Комитета приказано задержать всякого, кто после десяти часов вечера попадется на улице, не имея при себе законного документа. Разве ты забыл, что отечество в опасности и что на ратуше вывешен черный флаг?

— Черный флаг развеивается на башне, и отечество в опасности, потому что двести тысяч солдат готовы вторгнуться во Францию, — возразил офицер, — а не потому, что женщина бежит по улицам Парижа после 10 часов вечера. Но постановление действительно существует, вы правы, и если б сначала сказали мне об этом, то объяснение наше было бы коротким и мирным. Хорошо быть патриотом, но не мешает быть и вежливым. Граждане должны уважать офицеров, которых они сами избирали. Теперь ведите эту женщину, если хотите, вы свободны.

— Ах, гражданин! — схватив руку Мориса, вскричала женщина, все время с беспокойством следившая за распрей. — Ах, гражданин, не оставляйте меня во власти этих грубых и полупьяных людей.

— Хорошо, — сказал Морис, — вот вам моя рука, я провожу вас до караула.

— До караула? — с ужасом повторила женщина. — За что же вести меня туда, если я никому зла не причинила?

— Вас ведут в караул, — сказал Морис, — не потому, что вы причинили зло, не потому, что считали вас способной сделать его, но потому, что постановление Комитета запрещает выходить без пропуска, а у вас его нет.

— Но я этого не знала, сударь.

— Гражданка, в карауле добрые люди, которые будут с вами вежливы, с вниманием выслушают ваши оправдания. Вам нечего их бояться.

— Я уже не боюсь оскорблений, сударь, — сказала молодая женщина, сжимая руку офицера, — я страшусь смерти; если меня отведут в караул, я погибла.

II. НЕЗНАКОМКА

Эти слова были произнесены с таким отчаянием и силой, что Морис невольно вздрогнул. Проникновенные звуки этого голоса с силой электрического разряда отдались в глубине его сердца.

Он обернулся к волонтерам, которые совещались между собой. Стыдясь того, что один человек мог нагнать на них столько страха, они рассуждали, как бы выбраться из этого положения. Их было восьмеро против одного. Трое имели ружья, остальные пики и пистолеты. У Мориса была лишь сабля. Бой был бы неравным.

Даже женщина поняла это; опустив голову на грудь, она тяжело вздохнула.

Что касается Мориса, он, насупив брови и презрительно сжав губы, стоял с обнаженной саблей в двойственном положении человека, которому чувства повелевают защитить женщину, а обязанности гражданина приказывают ее выдать.

Вдруг в конце улицы, как молния, блеснули штыки и послышались мерные шаги патруля, который, увидев скопище, остановился в десяти шагах, и голос капрала прокричал:

— Кто идет?

— Друг! — вскричал Морис. — Иди сюда, Лорен!

Тот, к кому обращался этот отзыв, быстро приблизился.

— А, это Морис! — произнес капрал. — Что ты, повеса, делаешь в эти часы на улице?

— Ты видишь, я только что вышел от Братьев и Друзей.

— Да, чтоб перейти в отделение сестер и приятельниц. Понимаю.

В час туманной ночи,
Только что луна
Взглянет тебе в очи,
Будь ты у окна.
Друг придет твой нежный
Скромною стопой.

Ручкой белоснежной

Дверь ему открой.

Вроде того, и так далее, не так ли?

— Нет, дружище, ты ошибаешься. Я шел прямо домой, как вдруг увидел, что гражданка вырывается из рук этих граждан волонтеров; я побежал узнать, что она сделала и за что ее ведут под стражей.

— Ну так узнаю тебя в этом деле, — сказал Лорен. — «Французских рыцарей вот истинная доблесть!»

Потом обратился к волонтерам.

— А за что вы арестовали эту женщину? — спросил поэтический капрал.

— Мы уже объяснили поручику, — отвечал начальник отряда, — за то, что у нее нет пропуска.

— Ну! — подхватил Лорен. — Вот так важное преступление!

— Стало быть, ты не знаешь постановления, гражданин? — спросил начальник волонтеров.

— Знаю, знаю!.. Да есть и другое, которое уничтожает первое.

— А какое?

— Вот это:

Бог любви всем объявляет,
Что какой бы ни был час,
Он прекрасным позволяет
Оболящать без спросу нас!

— Ну, что ты скажешь об этом постановлении, гражданин? И правильно, и убедительно.

— Так, но оно еще не принято. Во-первых, не помещено в «Мониторе»; к тому же мы не на Пинде и не на Парнасе. Наконец, гражданка может быть немолода и нехороша.

— Бьюсь об заклад, что все это у нее есть! — сказал Лорен. — Гражданка, докажи, что я прав, скинь свое покрывало и предоставь судить всякому, подходишь ли ты под это постановление.

— Ах, сударь, — промолвила молодая женщина, прижимаясь к Морису, — вы защитили меня от ваших неприятелей, теперь защитите от ваших друзей.

— Смотрите, пожалуйста, — сказал начальник волонтеров. — Она же прячется! Мне кажется, что она или сума переносная, или искательница ночных приключений.

— О, сударь, — отвечала молодая женщина, показав при свете фонаря лицо обворожительной красоты и свежести. — Взгляните на меня, похожа ли я хоть на одну из тех, которых здесь называли?

Морис был ослеплен. Еще никогда, даже во сне, не видел он подобной красоты. Незнакомка так же быстро опустила мантилью, как и подняла ее.

— Лорен, — прошептал Морис, — требуй выдачи арестантки, чтоб препроводить ее к твоему посту, ты на это имеешь полное право как начальник патруля.

— Понимаю, — промолвил молодой капрал, — мне достаточно намекнуть.

Затем, обратясь к знакомке:

— Идемте, идемте, красавица, — продолжал он, — так как вы не хотите

доказать нам, что подходите под это постановление, делать нечего, ступайте за нами.

— Как «ступайте за вами»? — подхватил начальник волонтеров.

— Да так, мы отвеем гражданку к городскому замку, где наше караульное помещение, а там соберут о ней справки.

— Нет, — ответил начальник отряда, — она наша и должна быть под нашим присмотром.

— Эх, гражданин, гражданин, — сказал Лорен, — ведь мы того и гляди поспоримся.

— Сердитесь или не сердитесь, черт вас возьми, нам все равно. Мы истинные солдаты республики, и пока вы ходите дозором по улицам, мы идем проливать кровь за границей.

— Берегитесь, чтобы не пролить ее на пути, граждане, а это может случиться, если вы не решитесь быть повежливее.

— Вежливость есть добродетель аристократов, а мы санкюлоты, — отвечали волонтеры.

— Хватит, — сказал Лорен. — При дам*х о таких вещах не говорят. Она может быть англичанка. Не сердись за мое предположение, моя ночная пташечка, — прибавил он, приветливо обратясь к незнакомке, — так сказал один:

Из поэтов из известных,
А я вторю без труда,
Англия страна прелестна
Средь огромного пруда.

— А ты сам себе изменяешь, — сказал начальник волонтеров. — Ага, ты сам же сознаешься, что принадлежишь к числу сторонников Питта, агентов Англии

— Тихе, — сказал Лорен, — тебе чужд язык поэзии, и я вынужден говорить с тобой прозой. Слушай, мы, национальная гвардия, скромны, терпеливы, но все дети Парижа. Если кто затронет нас, с лихвой отплатим.

— Сударыня, — сказал Морис, — вы видите, что происходит, и догадываетесь, что будет дальше. Минут через пять десять или двенадцать человек перережут за вас. Стоит ли дело, за которое берутся ваши защитники, того, чтобы пролилась кровь?

— О, милостивый государь, — отвечала незнакомка, всплеснув руками, — одно только могу сказать вам: если вы допустите, что меня арестуют, это погубит не только меня, но и многих других, и если вы намерены меня покинуть, то умоляю вас оружием, что в руках ваших, оборвите мою жизнь и бросьте в Сену мой труп.

— В таком случае, — отвечал Морис, — я все беру на себя.

И, выпустив руку прекрасной незнакомки, сказал:

— Граждане, как офицер ваш, как патриот, как француз, приказываю вам защитить эту женщину. А ты, Лорен, если эта каналья снова разинет рот, прими его в штыки.

— Товсь*! — скомандовал Лорен.

* Уменьшительное командное слово «изготовься»

— Боже мой, боже мой! — вскрикнула незнакомка, закрывая лицо мантилей и прислоняясь к столбу. — Боже мой! Сохрани его.

Волонтеры попытались обороняться; один даже выстрелил из пистолета и пробил шляпу Мориса.

— На руку! — скомандовал Лорен. «Трах, трах, трах, тара-рах, тах, тах!»

В кромешной темноте началась борьба, более напоминавшая страшную толчею. Раздались даже два залпа из огнестрельного оружия, по улице понеслись проклятия, крики, ругательства. Но никто из жителей не являлся на этот шум, ибо, как мы уже сказали, по городу носились слухи о возможной резне, и горожане, видимо, решили — началось... Два или три окна открылись и тут же заперлись.

Добровольцев было меньше, и вооружены они были хуже. Они не выдержали боя; двое были тяжело ранены, а остальные приперты штыками к стене.

— Вот так-то, — сказал Лорен, — надеюсь, что вы теперь будете кроткими, как ягнята. Что касается тебя, гражданин Морис, поручаю тебе отвести эту женщину на гауптвахту городского замка. Ты понимаешь, что на тебе теперь вся ответственность.

— Да, — отвечал Морис.

Потом шепотом добавил:

— А пароль?

— Ай, чертовщина, — сказал Лорен, почесывая себе ухо, — пароль... видишь ли...

— Может, ты боишься, что я употреблю его во зло?

— Э, черт возьми, делай с ним что хочешь!

— Стало быть, назовешь? — подхватил Морис.

— Сию минуту передам его тебе, только дай разделаться с этими штукарями. Но прежде, чем расстаться, я очень рад буду дать тебе добрый совет.

— Ладно, я подожду.

Лорен отправился к своим национальным гвардейцам, которые все еще держали волонтеров в почтительных позах.

— Ну, теперь довольно ли с вас? — спросил он.

— Да, жирондистская собака! — отвечал начальник.

— Ошибаешься, мой милый, — спокойно возразил Лорен, — мы тоже санкиюты, да еще почище тебя, ибо принадлежим к клубу Фермопилов, у которого никто не оспорит любовь к отечеству. Не беспокойтесь, — продолжал он. — В нас уже не сомневаются.

— А как ни говорите, если это подозрительная женщина...

— Если бы она была такой, то давно бы во время суматохи наострила лыжи, вместо того, чтобы тут дожидаться, как ты видишь, развязки.

— Да, — сказал один из добровольцев, — похоже на правду то, что сказал гражданин Фермопил.

— А, впрочем, мы это разузнаем. Приятель мой отведет ее в караул, а мы пока пойдем выпьем за здоровье нации.

— Пойдем выпьем, — повторил начальник.

— Конечно, у меня ужасная жажда, и я знаю один знатный питейный дом на углу улицы Тома дю Лувр.

— Вон ты какой! Давно бы тебе это сказать, гражданин. Мы очень сожалеем, что усомнились в твоём патриотизме, и в доказательство во имя нации и закона обнимемся.

— Обнимемся, — сказал Лорен.

И волонтеры иступленно стали целоваться с национальной стражей. В то время обнимали и убивали друг друга одинаково легко.

— Идемте, друзья, — гаркнули оба отряда, — на угол улицы Тома дю Луэр!

— А с нами что будет? — жалобно возопили раненные. — Неужели нас оставите?

— Как это можно, — сказал Лорен, — покинуть храбрых, которые пали за отечество, как истинные патриоты, сражаясь с себе подобными, правда, по ошибке! Конечно, сию же минуту вам пришлем носилки, а пока пойте «Марсельезу», это вас развлечет.

Вперед, вперед, дети отчизны!
Нашей славы день настал!

Потом подошел к Морису, который стоял подле незнакомки в конце улицы, между тем как национальные гвардейцы и волонтеры, сплетя руки, тянулись по площади дворца Эгалитэ.

— Морис, — сказал Лорен — я обещал дать тебе совет. Вот он. Пойдем-ка лучше с нами, чем подвергаться пересудам, защищая эту гражданку, которая, правду сказать, прекрасна, на мой взгляд, но тем более заслуживает подозрения, ибо все женщины, которые за полночь шатаются по улицам Парижа, все они ведь прекрасны.

— Милостивый государь, — сказала женщина, — не судите обо мне по внешности, умоляю вас.

— Во-первых, вы говорите «милостивый государь». Это большая ошибка. Слышишь ли, гражданка? Тыфу, пропасть, да и сам я, вместо того чтобы сказать «ты», сказал «вы».

— Ну да, да, гражданин, дай уж твоему приятелю довершить доброе дело.

— Каким образом?

— Проводить меня домой.

— Морис, Морис, — сказал Лорен, — подумай, что ты делаешь. О тебе пойдут страшные сплетни.

— Я это знаю, — отвечал молодой человек, — но как я могу оставить эту бедную женщину? В любой момент дозорные снова остановят ее.

— О, да, точно, с вами же, сударь, с тобою же, гражданин, хотела я сказать, я спасена.

— Ты слышишь, спасена! — сказал Лорен. — Стало быть, она подвергается большим опасностям.

— Послушай, любезный Лорен, — сказал Морис, — будем справедливы. Она или истинная патриотка, или аристократка. Если она аристократка, то нам не следовало ей покровительствовать, если же патриотка, обязанность наша охранять ее.

— Извини, извини, любезный друг, но твоя логика бессмысленна. Ты, как тот, который сказал:

Ириса унесла мой разум
И просят мудрости моей.

— Постой, Лорен, — сказал Морис, — оставь в стороне логику, поговорим серьезно. Дашь ты мне пароль или нет?

— Но ты ставишь меня перед выбором: жертвовать долгом ради друга или пожертвовать другом во имя долга?

— Решайся, мой друг, на то или другое, но ради бога скорей.

— Точно ли ты не используешь пароль во зло...

— Уверю тебя.

— Этого мало... поклянись!

— Да перед чем?

— Перед жертвенником Отчизны!

Лорен, сняв шляпу, подал ее Морису кокардой вперед, и Морис, хотя и понимал, что это очень простодушно, все же без улыбки произнес клятву на импровизированном жертвеннике.

— Теперь, — сказал Лорен, — вот пароль — «Галлия и Лютеция!» Может быть, многие скажут тебе, как и мне: «Галлия и Люкреция»; ничего, пропускай без задержки: и та и другая римлянки.

— Гражданка, — сказал Морис, — теперь я к вашим услугам. Спасибо, Лорен.

— В добрый путь, — сказал Лорен, надевая на голову жертвенник Отчизны; и верный своему анакреонтическому вкусу, удалился, напевая.

III. УЛИЦА ФОССЭ-СЕН-ВИКТОР

Морис, оставшись с молодой женщиной наедине, был в большом затруднении. Боясь оказаться обманутым, обворожительность этой дивной красоты, какое-то безотчетное угрызение совести восторженного республиканца удерживали его от того, чтобы тотчас подать руку молодой женщине.

— Куда вы идете, гражданка? — спросил он.

— Ах, очень далеко, сударь, — отвечала она.

— Однако как?..

— К Ботаническому саду.

— Хорошо, идемте.

— Боже мой, сударь, — сказала незнакомка, — я вижу, что обременяю вас, но если бы не случившееся со мной несчастье и если бы я просто боялась, то никогда бы не воспользовалась вашим великодушием.

— Что об этом говорить, сударыня, — сказал Морис, забыв в беседе своей с глазу на глаз предписанный республикой язык и обратившись к ней как благовоспитанный человек. — Скажите по совести, как это случилось вам так запоздать? Посмотрите, есть ли, кроме нас, хоть одна живая душа?

— Я сказала вам, сударь, что была у знакомых в предместье Руль. Отправившись в полдень, в неведении о том, что происходит, я возвращалась, также ничего не зная, потому что все время провела в одном уединенном доме.

— Да, — проговорил Морис, — в каком-нибудь приюте преждебывших, в вертепе аристократов. Признайтесь, гражданка, что, умоляя меня о покровительстве, вы внутренне смеетесь над моей простотой.

— Я, — воскликнула она, — как это возможно?

— Разумеется. Вы видите республиканца, служащего вам проводником. Этот республиканец изменяет своему долгу, вот и все.

— Но гражданин, — живо подхватила незнакомка, — вы заблуждаетесь, я так же, как и вы, предана республике.

— В таком случае, если вы истинная патриотка, гражданка, то вам нечего скрывать. Откуда вы шли?

— О, сударь, будьте милосердны! — сказала незнакомка.

В этом слове «сударь» отразилась такая нежная, глубокая скромность, что Морис по-своему понял ее чувства.

«Нет сомнения, — подумал он, — что эта женщина возвращается с любовного свидания».

И сам не понимая почему, ощутил сильное стеснение в груди.

С этой минуты он шел молча.

Ночные путники добрались до улицы Веррери, встретив по дороге три или четыре патруля, которые, впрочем, благодаря паролю дали им свободно пройти. Но офицер последнего дозора выказал некоторое упорство.

Тогда Морис счел нужным, кроме пароля, сообщить свое имя и домашний адрес.

— Так, — сказал офицер, — это относится к тебе, а гражданка?

— Гражданка?

— Кто она такая?

— Она... сестра моей жены.

Офицер пропустил их.

— Стало быть, вы женаты, сударь? — проговорила незнакомка.

— Нет, сударыня, а что?

— В таком случае, — сказала она, смеясь, — вам проще было бы сказать, что я ваша жена.

— Сударыня, — сказал, в свою очередь, Морис, — звание жены священно, это звание не должно употреблять без разбора: я не имею чести вас знать.

Тут и незнакомка почувствовала, что сердце ее сжалось. Теперь она замолкла.

Тем временем они перешли мост Марии. Молодая женщина ускорила шаги по мере приближения к своему жилищу.

Прошли и Турнельский мост.

— Вот мы, кажется, и в вашем квартале, — сказал Морис, ступив на набережную Сен-Бернар.

— Да, гражданин, — сказала незнакомка, — и здесь больше всего нужна ваша помощь.

— Странно, сударыня, вы мне приказываете быть скромным, а между тем все делаете, чтобы возбудить мое любопытство. Это невеликодушно. Удостоите меня хоть малейшего доверия. Я, кажется, заслужил его. Не окажете ли вы мне честь сказать, с кем я говорю?

— Вы говорите, сударь, — подхватила незнакомка, улыбаясь, — с женщиной, избавленной вами от величайшей опасности, которой она когда-либо подвергалась, с женщиной, которая на всю жизнь останется вам признательной.

— Это слишком много, сударыня. Я не заслуживаю столь продолжитель-

ной благодарности; довольно бы одного мгновения, за которое вы произнесли бы ваше имя.

— Невозможно.

— Но вы бы назвали его первому офицеру, которому вас сдали бы под стражу.

— Никогда! — вскрикнула незнакомка.

— Тогда вас отправили бы в тюрьму.

— Я готова на все.

— Но тюрьма в нынешние времена...

— Эшафот, я это знаю.

— И вы предпочли бы эшафот?

— Измене... Сказать свое имя — значит изменить!

— Не говорил ли я вам, что вы меня... республиканца, заставляете разыгрывать странную роль.

— Вы играете роль великодушного человека. Вы подаете руку помощи обиженной женщине, не презирая ее, хотя она простого звания. А так как она снова могла подвергнуться оскорблению, вы провожаете ее домой в одну из самых запустелых частей города и тем спасаете от гибели. Вот и все.

— Да, вы были бы правы, и я мог бы вам поверить, если бы не видел вас, не говорил бы с вами. Но ваша красота, ваша речь выдают знатную женщину; эта знатность, несовместимая с вашим одеянием, с этим нищенским кварталом, даже само ваше путешествие в эти часы заставляют меня подозревать тайну... Вы молчите... Не станем более говорить об этом. Далеко ли нам до вашего дома, сударыня?

В это время они вступали с улицы Сены на улицу Фоссэ-сен-Виктор.

— Видите ли это небольшое черное строение? — сказала незнакомка, указывая рукой на один из домов за забором Ботанического сада. — Там вы меня оставите.

— Слушаю, сударыня, приказывайте, я здесь для того, чтобы вам повиноваться.

— Вы сердитесь?

— Нисколько. Впрочем, что вам до того?

— Для меня это очень важно, у меня к вам еще одна просьба?

— Какая?

— Я желаю проститься с вами со всей искренностью и добросердечием... проститься как с другом.

— Проститься как с другом много чести для меня, сударыня. Странен тот друг, который не знает имени своего друга и от которого этот друг скрывает, где он живет, конечно, чтобы избежать скуки новой встречи.

Молодая женщина опустила голову и ни слова не ответила.

— Впрочем, сударыня, — продолжал Морис, — если я коснулся какой-то тайны, не сетуйте на меня, я ее не искал.

— Вот мы и пришли, сударь, — сказала незнакомка.

Они находились против старой улицы Сен-Жак, окаймленной высокими черными домами, уходили в глубину темные аллеи и переулки, занятые кожевниками и их мастерскими. Здесь рядом протекает небольшая речка Бевр.

— Здесь? — спросил Морис. — Как, вы здесь живете?

— Да.

— Не может быть!

— Однако это так. Прощайте! Прощайте, мой храбрый кавалер. Прощайте, мой великодушный защитник!

— По крайней мере, скажите ради моего спокойствия, что вам уже более не угрожает опасность!

— Нет, не угрожает.

— Тогда я удаляюсь.

И, отступив на два шага, Морис холодно поклонился.

Незнакомка не трогалась с места.

— Однако я не желаю так расстаться с вами, — сказала она. — Гражданин Морис, вашу руку.

Морис протянул ее и тотчас почувствовал, что молодая женщина надевает перстень на его палец.

— Ого-го, гражданка, что вы делаете? Вы не замечаете, что теряете один из своих перстней.

— О, сударь, — сказала она, — это дурно с вашей стороны.

— Мне как раз еще не хватало порока — быть неблагодарным, сударыня?

— Послушайте, умоляю вас, сударь... друг мой. Не расставайтесь со мной так холодно. Скажите, что вы хотите, что вам надо?

— Какой платы, не так ли? — скрепя сердце произнес молодой человек.

— Нет, — сказала незнакомка с очаровательным выражением, — нет, чтобы вы простили тайну, которую я вынуждена сохранить.

Морис, видя в темноте отблеск ее прекрасных глаз, увлажненных слезами, чувствуя в своей руке ее трепещущую, горячую ладонь, слыша звуки почти молитвенно звучащего голоса, вдруг сменил гнев на чувство восторга.

— Что мне нужно? — вскричал он. — Мне нужно еще и еще видеть вас.

— Это невозможно.

— Хотя однажды, на час, на минуту, на секунду!

— Невозможно, повторяю вам.

— Как? — спросил Морис. — Вы серьезно говорите, что я никогда вас не увижу?

— Никогда! — раздался голос незнакомки, как скорбное эхо.

— О, сударыня, — сказал Морис, — вы смеетесь надо мной.

Тут он приподнял голову, тряхнув своими длинными волосами, подобно человеку, сбрасывающему с себя чары, которым невольно покорился.

Незнакомка смотрела на него с неизъяснимым выражением. Заметно было, что и она не чужда была того чувства, которое сама внушала.

— Послушайте, — сказала она после непродолжительного молчания, прерванного лишь невольным вздохом, который тщетно старалась заглушить, — послушайте, Морис, поклянетесь ли вы своею честью, что закроете глаза и не откроете, пока не сосчитаете 60 секунд... Даете слово чести?

— А если я поклянусь, что случится со мной?

— Случится то, что я докажу вам свою признательность так, как никому еще не доказывала, хотя отплатить вам чем-то большим, что вы для меня сделали, очень трудно.

— Однако нельзя ли знать?..

— Нет. Доверьтесь мне, и вы узнаете.
— Признаюсь вам, сударыня, я не знаю, ангел вы или демон!
— Клянётесь ли вы?
— Извольте... клянусь.
— Что бы ни случилось с вами, вы не откроете глаз, что бы ни случилось, понимаете ли вы? Если б даже почувствовали удар кинжала.
— Вы изумляете меня вашим требованием, клянусь вам.
— Да клянитесь же, сударь, вы, кажется, ничему тут не подвергаетесь.
— Хорошо, клянусь, что бы ни случилось со мной... — сказал Морис, закрывая глаза.

Он остановился.

— Дайте мне еще, еще раз взглянуть на вас, — сказал он. — Умоляю вас!

Молодая женщина не без кокетства подняла мантилью, и при свете луны, скользившей в это время между облаками, он увидел во второй раз ее длинные, завитые кольцами волосы, черные, как смоль, брови и ресницы, будто нарисованные китайской тушью, два темных, как бархат, глаза, изящный носик и уста, свежие и блестящие, как коралл.

— О, как вы хороши, как вы прекрасны, бесподобны! — вскричал Морис.

— Закройте глаза, — сказала незнакомка.

Морис повиновался.

Молодая женщина схватила его за руки и повернула. Он вдруг ощутил благовонную теплоту, которая, казалось, все ближе и ближе двигалась к его лицу, и нежные уста, слившись с его устами, оставили между губ его тот перстень, от которого он отказался.

Это чувство было быстрым, как мысль, жгучим, как пламя. Морис ощутил что-то похожее на боль, так оно было неожиданно, непонятно, так сильно отдалось в глубине сердца, так потрясло самые глубокие тайники его души.

Он сделал внезапное движение и протянул руки

— А ваша клятва, — произнес уже удалившийся голос.

Морис через силу прикрыл глаза пальцами, чтобы победить искушение нарушить клятву. Он не считал секунды, он ни о чем не думал и стоял молча, неподвижно.

Минуту спустя он услышал как бы скрип затворяемой двери в пятидесяти или шестидесяти шагах от него, и снова все погрузилось в тишину.

Тут он отнял руку, открыл глаза, оглянулся вокруг, как человек, пробудившийся ото сна, а может быть, и подумал бы, не сон ли в самом деле все, что случилось, если бы губы его не сжимали перстень, доказывавший, что все необыкновенное действительно случилось с ним.

IV. ПРАВЫ ВРЕМЕНИ

Когда Морис Лендэ очнулся и глянул вокруг, он увидел лишь глухие и темные переулки, которые тянулись вправо и влево от него. Он пытался как-то сориентироваться в этой глуши, но его рассудок был в смятении; ночь была темна, луна, выглянувшая на мгновение, чтобы осветить прелестное лицо

незнакомки, снова скрылась за облака. Молодой человек, после ужасной минуты недоумения, побрел к своему дому, находившемуся на улице Руль.

Достигнув улицы Сент-Авуа, Морис удивился множеству патрулей, разъезжавших в квартале Тампля.

— Что тут случилось, сержант? — спросил он начальника одного из патрулей, очень занятого и только что сделавшего осмотр на улице Фонтен.

— Что случилось? — повторил сержант. — А вот что, господин офицер. Нынешней ночью хотели похитить жену Капета и все ее семейство.

— Кто же?

— Патруль из аристократов, как-то узнавший пароль, пробрался в Тампль в мундирах национальной гвардии и намеревался их увести. К счастью, тот, кто исполнял роль капрала, назвал караульного офицера «сударь»; аристократ сам себя выдал!

— Черт возьми! — сказал Морис — А задержали злоумышленников?

— Нет, патруль сумел выбраться на улицу, а там и след его простыл.

— А есть ли надежда поймать всех этих молодцов?

— О, достаточно было бы схватить их главаря, высокого, сухощавого... который втерся между гвардейцами муниципальной стражи. Уж заставил же он нас побегать за собой, разбойник! Вероятно, он пробрался через задние двери и бежал переулком Маделонет.

В других обстоятельствах Морис на всю ночь остался бы с патриотами, оберегавшими благоденствие республики. Но уже с час любовь к отечеству перестала быть его единственной мыслью. Итак, он продолжал свой путь. Новость мало-помалу рассеивалась в его мыслях, все больше заслонялись события, случившиеся с ним. К тому же эти мнимые попытки похищения стали так часты, что сами патриоты поняли — кое-кто начал их использовать как политическое средство. Так что новость несколько не потревожила молодого республиканца.

Вернувшись домой, Морис застал своего служащего — в эту эпоху не было слуг, — спящим; ожидая его, тот во сне громко храпел.

Он разбудил его со всей внимательностью, которую должно иметь к себе подобному, велел снять с себя сапоги и отпустил спать, чтоб служащий не отвлек его мысли. Лег в постель и, так как было уже поздно, то, в свою очередь, несмотря на тревожные мысли, заснул спокойно — сном молодости.

Утром он увидел письмо на ночном столике

Оно было написано мелким, красивым и незнакомым ему почерком. Он взглянул на печать, на ней было вырезано лишь одно английское слово, служившее девизом, — «Nothing» — «Ничего».

Он распечатал письмо; в нем были эти слова:

«Благодарю!

Вечная признательность взамен вечного забвения».

Морис позвал слугу. Истинные патриоты не заставляли их являться по звонку — звонок напоминал рабство; к тому же многие из «служащих», вступая в должность, оговаривали это условие.

Служащий Мориса за тридцать лет до того получил при святом крещении имя Жан, но в 92-м году взял и раскрестился, имя Жан попахивало аристократизмом и девизом; он назвал себя Сцеволой.

— Сцевола, — спросил Морис, — не знаешь ли ты, что это за письмо?

- Нет, гражданин.
- Кто тебе его передал?
- Привратник.
- А ему кто принес?
- Конечно, посыльный; на нем нет штемпеля.
- Спустись к привратнику и попроси его сюда.

Привратник поднялся по лестнице лишь потому, что его позвал Морис, которого любили все служащие, с которыми он общался, но заявил, однако, что если б позвал его любой из жильцов, то он попросил бы того самого спуститься к нему.

Привратника звали Аристид.

Морис расспросил его. Выяснил, что письмо было принесено около восьми часов утра человеком, ему неизвестным. Напрасно молодой человек задавал все новые вопросы, пытаясь хоть что-то еще выудить из привратника, тот ничего больше не смог добавить. Морис попросил его принять десять франков и в случае, если неизвестный опять явится, незаметно проследить за ним, вызнать, где тот живет, а потом прийти и рассказать об этом.

Поспешим добавить, что к величайшему удовольствию Аристида, несколько оскорбленного предложением следить за себе подобным, незнакомец больше не возвращался.

Морис, оставшись один, с досадой смял письмо, снял с пальца перстень, положил его возле измятого письма на стол, повернулся к стене с безумной надеждою снова заснуть, но не прошло часа, как он очнулся от своего притворства, стал целовать перстень и перечитывать письмо. Перстень был с дорогим сапфиром. А письмо было, как мы уже сказали, небольшой записочкой, на расстоянии благоухавшей аристократией.

Пока Морис предавался созерцанию, отворилась дверь. Молодой человек поспешно надел перстень, а записочку сунул под подушку. Была ли это скромность возрастающей любви или стыдливость патриота, который не хочет, чтоб знали о его общении с людьми, довольно неосторожно позволившими себе написать подобную записку, одно лишь благоухание которой могло выдать и руку писавшего и адресата.

В комнату вошел молодой человек в одежде патриота, но патриота, изысканного в своем наряде. На нем была тонкого сукна карманьолка, казимировая сорочка и узорчатые шелковые чулки. Что же касается его фригийской шапочки, она устыдила бы самого Париса своей изящной формой и ярким багровым цветом.

Сверх того за поясом его торчала пара пистолетов бывшей королевской версальской фабрики и прямая коротенькая сабля, как у воспитанников военного училища.

— А, ты спишь, Брут, — сказал вошедший, — а отечество в опасности. Не стыдно ли?!

- Нет, Лорен, — со смехом отвечал Морис, — я не сплю, а мечтаю.
- Да, понимаю.
- А я так ровно ничего.
- Как же! А прекрасная Евхариса?
- О ком ты говоришь? Какая такая?
- Да ну та женщина!

— Какая?

— Женщина с улицы Сент-Онорэ, наткнувшаяся на патруль, одним словом, та неизвестная, за которую мы вчера вечером чуть не расплатились головами.

— Ах, да, — сказал Морис, который очень хорошо понимал, о чем хотел поговорить его друг, но прикидывался непонимающим, — та незнакомка!

— Ну кто же она?

— Не знаю.

— Хороша собой?

— Ну!.. — сказал Морис, презрительно сморщив губы.

— Какая-нибудь бедняжка, забывшаяся в любовном свидании.

...Какие слабые созданыя!..

Везде, всегда любовь — вот в чем наши мечтания.

— Может быть, — проговорил Морис, которому эта мысль показалась сейчас до того отвратительной, что он лучше желал бы видеть незнакомку бунтовщицей, нежели влюбленной.

— А где она живет?

— Не знаю.

— Ну, полно, пожалуйста, ты не знаешь... Этого быть не может.

— Почему?

— Ведь ты ее провожал?

— Она ушла от меня на Марийском мосту.

— Ушла от тебя! — вскрикнул Лорен со смехом. — Чтоб женщина так отделалась от тебя?

Когда же голубь сизокрылый

Спасти́сь от ястреба умел?

Когда же кролик тупорылый

Пред диким волком не робел?

— Лорен, — сказал Морис, — приучишься ли ты когда-нибудь говорить так, как все? Меня дрожь пробирает от твоей ужасной поэзии.

— Как! Говорить, как все? Мне кажется, что я говорю лучше всех! Я говорю, как гражданин Дюмурье, — и прозой и стихами. Что касается моей поэзии, любезный, я знаю одну Эмилию, которая находит, что она не совсем дурна. Но вернемся к твоей.

— К моей поэзии?

— Нет, к твоей Эмилии.

— Разве у меня есть Эмилия?

— Ну, полно, полно! Видно, твоя серна обратилась в тигрицу и показала тебе зубы, а ты хоть не рад, да влюблен.

— Я влюблен! — сказал Морис, покачав головой.

— Да, ты влюблен.

Безумен тот, кто страсть скрывает!

Кого он этим проведет?

Амур все в сердце попадает,

Юпитер промахн дает.

— Лорен, — сказал Морис и схватил ключ, который лежал на ночном столике, — объявляю тебе, что ты больше ни одного стиха не скажешь, потому что я заглушу его свистом.

— Ну, так давай поговорим о политике. Начну с того, что я затем и пришел. Знаешь ли ты новость?

— Слышал, что вдова Капета хотела улизнуть.

— Это что... пустяки.

— Что же еще?

— Знаменитый кавалер Мезон Руж в Париже.

— В самом деле? — вскричал Морис, вскочив с постели.

— Он, собственной персоной.

— Когда же он заявился?

— Вчера вечером.

— Как?

— Переодетый егерем национальной гвардии. Женщина, в которой подозревают аристократку, переодетую в простонародное платье, вынесла ему мундир за заставу. Какое-то время спустя они возвращались под руку, как ни в чем не бывало. Подозрение пробудилось в часовом только тогда, когда они уже миновали его; он вспомнил, что эта женщина прошла в первый раз с узлом и одна, а во второй — под руку с каким-то военным и без узла; это было нечисто. Он сразу подал сигнал, их пустились догонять. Но они исчезли в каком-то доме на улице Сент-Онорэ, дверь которого растворилась как бы по волшебству. Этот дом имел другой выход на Елисейские поля. Ну и прощай! Кавалера Мезон Ружа и его сообщницы как не бывало; дом сотрут с лица земли, владелец его погибнет на эшафоте, но это не мешает кавалеру начать свою попытку, которая не удалась в первый раз, месяца четыре тому назад, а во второй раз вчера.

— И его не арестовали? — спросил Морис.

— Как же!.. Лови-ка Протея, лови его, любезный. Ты знаешь, сколько бед перенес Аристей, гоняясь за ним.

Pastor Aristaeus fugiens Peneia tempe.

— Смотри, — сказал Морис, поднеся ключ к губам, — берегись!

— Сам ты берегись, черт возьми! На этот раз ты освищешь не меня, а Вергилия.

— Ты прав, и пока ты не будешь переводить его, я — ни слова. Но вернемся к кавалеру Мезон Ружу.

— Да, согласимся, что он рискованный человек.

— Как ни говори, чтоб предпринимать подобные штуки, надо много смелости.

— Или пылать сильной любовью.

— Неужели ты веришь, что кавалер влюблен в королеву?

— Верить не верю, а скажу, что и все. К тому же нет ничего мудреного, что она вскружила ему голову. Ведь носился же этот слух про Барнава!

— А ведь у кавалера должны быть соучастники в самом Тампле.

— Может быть:

Любовь смеется над преградой
И над каменной оградой.

— Лорен!

— Ах, виноват!

— Стало быть, ты веришь, как и все?

— Почему бы и нет?

— По-твоему, у королевы было двести обожателей?

— Двести, триста, четыреста. На это она была хоть куда. Я не говорю, чтоб она всех их любила; но они к ней были неравнодушны. Все видят солнце, но солнце не всех видит.

— Так ты говоришь, что кавалер Мезон Руж?..

— Я говорю, что его теперь ловят, и если он уйдет от республиканских ищеек, то он хитрая лиса.

— Что же предпринимает Коммуна?

— Она скоро издаст постановление, по которому вменено будет в обязанность пробить снаружи каждого дома список всех жильцов и жилищ. Это осуществление сновидений древних. Жаль, что в сердце человека нет отверстия, в которое всякий мог бы заглянуть и узнать, что в нем делается.

— О, превосходная мысль! — вскричал Морис.

— Что?.. Пробить отверстие в сердце?

— Нет... вывесить списки у ворот каждого дома.

В самом деле Морис подумал, что это средство поможет ему отыскать незнакомку или, по крайней мере, даст возможность обнаружить ее следы.

— Я уже бился об заклад, — сказал Лорен, — что это мера доставит нам сотен пять аристократов. Кстати, сегодня утром явилась к нам в клуб депутация волонтеров, под предводительством наших супостатов прошедшей ночи, которых я оставил совершенно пьяными. Они явились с гирляндами и венками, сплетенными из васильков.

— В самом деле! — воскликнул Морис со смехом. — А сколько их было?

— Человек тридцать; они все были выбриты, у каждого букет цветов в петлице. «Граждане клуба Фермопилов, — сказал вития, — как истинные сыны отчизны мы желаем, чтоб дружба французов не была потревожена каким-нибудь недоразумением, и потому мы снова пришли побрататься».

— Тогда?..

— Тогда мы опять стали целоваться, и многократно. Сделали Жертвенник отчизны из секретарского стола, на который поставили два графина с воткнутыми в них букетами цветов. Так как ты был герой праздника, то тебя три раза вызывали. Ты не отозвался, а так как надо было что-нибудь украсить венком, то увенчали бюст Вашингтона. Вот так совершился обряд.

Пока Лорен оканчивал свой рассказ, в котором для того времени не было ничего странного, на улице послышался шум и приближающийся барабанный бой.

— Это что такое? — спросил Морис.

— Провозглашение постановления общины, — сказал Лорен.

— Бегу в секцию! — сказал Морис, соскочил с постели и призвал своего служащего, чтобы одеться.

— А я отправлюсь спать, — сказал Лорен. — Мне этой ночью двух часов не удалось поспать благодаря твоим бешеным волонтерам. Если драка будет незначительная, не буди меня, а случится что-нибудь серьезное, то приди за мною.

— Ради кого же ты так нарядился? — спросил Морис, окинув взглядом Лорена, который встал и собрался уйти.

— Потому что по пути к тебе я прохожу улицей Бетизи, а на улице Бетизи есть на третьем этаже окно, которое открывается всякий раз, как я прохожу мимо.

— И ты не боишься, что тебя сочтут щеголем?

— Щеголем? Вот тебе на! Я известен, напротив, как самый истый санкюлот. Ведь надо чем-нибудь жертвовать ради прекрасного пола. Дань отчизне не лишает права отдавать дань любви, напротив — одно повелевает поддерживать другое.

Наше теперь правление
Дало такое повеление:
Всем служить народу,
Милых обожать,
А не обижать!

Осмелся это освистать, я сейчас же выдам тебя, как аристократа, и тебе так причешут затылок, что ты никогда парика не наденешь. Прощай, друг.

Лорен дружески протянул руку Морису, которую молодой секретарь так же дружески пожал, и вышел, насвистывая какую-то песню.

V. КТО ВЫ, ГРАЖДАНИН МОРИС ЛЕНДЭ

Пока Морис Лендэ, поспешно одевшись, отправился на улицу Лепелетье, где он, как мы уже сказали, был секретарем секции Коммуны, попытаемся изложить для всеобщего сведения биографию этого человека, заслужившего известность одним из порывов, свойственных мощным и возвышенным сердцам.

Молодой человек, накануне отвечая за незнакомку, честно сообщил свое имя, фамилию и место жительства. Он мог бы добавить, что он дитя той полуаристократии, какой считались люди чиновного мира. Его предки более двухсот лет отличались вечной парламентской оппозицией, прославившей имена Моле и Мону. Его отец, добряк Лендэ, всю жизнь вопил против деспотизма; когда же 4 июля 1789 года Бастилия попала под власть народа, он умер от ужаса и страха, видя, что деспотизм сменило буйное своеволие, и оставил после себя единственного сына, независимого по состоянию и республиканца по взглядам.

Революция, которая быстро последовала за этим большим событием, застала Мориса зрелым, полным сил, присущих атлету, вступающему в жизнь; его республиканское образование оказалось вполне законченным благодаря усердному посещению клубов и чтению всех памфлетов текущего времени. Одному господу известно, сколько их пришлось перечитать. Он твердо усвоил глубокое и совершенно осмысленное презрение к иерархии, философию уравнивания всех элементов, входящих в состав тела, полное отрицание всякого иного благородства, кроме личного, беспристрастно оценивал прошлое, пылко воспринимал новые идеи, любовь к народу, соединенную с самым возвышенным здравомыслием. Такова была нравственная сторона героя этого повествования, которого выбрали не сами, а дали нам газеты той эпохи.

Рост Мориса Лендэ был пять футов восемь дюймов, лет ему было двадцать пять — двадцать шесть, он был сложен как Геркулес и обладал красотой чистокровного французского типа — ясным челом, синими глазами, каштановыми вьющимися волосами, розовыми щеками и белыми как слонобая кость зубами. Такова была его внешность.

Набросав портрет, обратимся к его социальному положению. Морис если и не богатый, то вполне независимый. Морис, носивший уважаемую и популярную фамилию, Морис, известный как человек, воспитанный в духе либерализма, а еще более как либерал по убеждению, Морис стал главарем целой отдельной партии, состоявшей из молодых мешан-патриотов. Быть может, санкюлотам он казался недостаточно пылким, а для секционеров несколько раздушенным; но первые прощали ему недостаток пыла за то, что он ломал самые толстые суковатые дубины, как простые прутья, а вторые прощали изысканность его костюма за то, что Морис добрым тычком в нос заставлял любого секционера лететь кубарем шагов на двадцать, стоило этому господину осмелиться косо взглянуть на Мориса.

Теперь ко всем вышеприведенным его достоинствам, нравственным, физическим и социальным, следует прибавить еще то, что он был при взятии Бастилии, участвовал в Версальском деле, как лев, дрался 10 августа, и действительно в тот достопамятный день он уложил на месте столько же патриотов, сколько и швейцарцев, по той причине, что равно не выносил как убийцу в карманьолке, так и врага республики в красной одежде.

Это он бросился на жерло пушки, из которой парижский артиллерист только что собрался стрелять для того, чтобы вынудить защитников замка сложить оружие и прекратить кровопролитие; он первый ворвался в Лувр через окошко, невзирая на пальбу по нему пятидесяти швейцарцев и такого же количества бывших в засаде дворян; к тому времени, как он заметил, что враги начали сдаваться, его страшная сабля уже успела рассечь более десятка мундиров; тогда увидев, что его друзья принялись избивать пленников, которые, бросая оружие, простирали к ним руки с мольбой о пощаде, он яростно принялся рубить друзей, и это составило ему репутацию, достойную славных дней Греции и Рима.

После объявления войны Морис добровольцем отправился за границу в звании лейтенанта с 1500 первых волонтеров, которых город послал против вторгшихся неприятелей; за ними ежедневно должны были следовать такие же отряды.

В первом же сражении, под Жеманном, он был ранен пулей, которая пробила его стальные мышцы и расплющилась о кость. Представитель народа, зная Мориса, отправил его в Париж на излечение. Целый месяц Морис, страдаемый лихорадкой, томился на госпитальном одре, но январь застал его снова на ногах, занятым делами по службе. Вот каким был человек, пробиравшийся 11 марта на улицу Лепелетье. Наше повествование придает ему более блеска на фоне уже описанных подробностей бурной жизни того времени.

Около 10 часов Морис прибыл в секцию, в которой он был секретарем.

Волнение там было сильное. Следовало проголосовать представление Конвенту о разрушении замыслов жирондистов. Мориса ждали с нетерпением.

Только и было разговоров, что о возвращении кавалера Мезон Ружа, о дерзости этого упорного злоумышленника, явившегося вторично в Париж, где, как ему было известно, за его голову назначена плата. Этому возвращению приписывали попытку, сделанную накануне в Тампле, и каждый изъявлял свое негодование и свою ненависть к изменникам и аристократам.

Но Морис, вопреки ожиданиям, был равнодушен и молчалив, искусно составил прокламацию и за три часа окончил всю работу. Потом спросил, начался ли сбор голосов, услышав утвердительный ответ, взял шляпу, вышел и побрел к улице Сент-Онорэ.

Париж показался ему новым. Он увидел конец улицы Кок, где минувшей ночью прекрасная незнакомка предстала перед ним, вырывающаяся из рук солдат. Он двинулся по улице Кок до Маринского моста, той же дорогой, которую прошел с ней, останавливаясь там, где патрули задержали их. Только теперь было двенадцать часов дня, и солнце, светившее во время этой прогулки, воспламеняло на каждом шагу воспоминания прошедшей ночи.

Морис, перейдя мост, пошел на улицу Виктор, как тогда называли ее.

— Бедная женщина! — проговорил Морис. — Не подумала вчера, что ночь длится не более двенадцати часов и что ее тайна не продлится дольше ночи. — При свете дня я отыщу дверь, в которую она ускользнула, и, почему знать, может быть, увижу ее у какого-нибудь окна.

Тогда он вошел на старую улицу Сен-Жак, остановился в том же положении, в каком незнакомка оставила его накануне. Он на минуту закрыл глаза; безумец думал, может быть, что вчерашний поцелуй снова опалит его уста. Но они ничего не ощутили, кроме воспоминания. Правда, и воспоминание еще жгло.

Морис открыл глаза, увидел два переулка — один направо, другой налево. Они были грязны, плохо вымощены, перерезаны мостками, переброшенными через ручей. Виднелись какие-то своды из перекладин, закоулки, двадцать дверей, кое-как навешенных и полусгнивших. Это была грубая работа, нищета во всей своей наготе. Там и сям сады, обнесенные где плетнем, где частоколом, некоторые — забором. Кожи, разложенные для просушки под навесами, издавали ужасную вонь. Морис искал, обдумывал около двух часов и ничего не нашел, ничего не отгадал; десять раз углублялся он в этот лабиринт, десять раз возвращался, чтоб осмотреться, но все его попытки были тщетны, все поиски бесполезны. Следы молодой женщины, казалась, стерли дождь и туман.

«Кой черт, — молвил про себя Морис, — я, видно, во сне видел все это. Могла ли эта помойка хоть на мгновение стать убежищем для моей оборотительной волшебницы этой ночи!»

В этом суровом республиканце было более истинной поэзии, нежели в его друге, анакреоническом певце; ибо он возвратился домой, сроднившись с этой мыслью, чтобы не омрачить ослепительную красоту незнакомки. Правда, он возвратился в отчаянии.

— Прости, — сказал он, — таинственная красавица! Ты поступила со мною, как с глупцом и ребенком. В самом деле, пришла бы она сюда со мной, если бы точно жила здесь? Нет! Она только проскользнула, как лебедь, по смрадному болоту, и неприметен след ее, как полет птицы в воздухе.

VI. ТАМПЛЬ

В тот же день, в тот же час, когда Морис, разочарованный, мрачный, возвращался по Турельскому мосту, несколько муниципалов, предводимые Сантером, начальником Парижской национальной гвардии, делали строгий обыск в громадной башне Тампли, превращенной в тюрьму с 15 октября 1792 года.

Этот осмотр с особой тщательностью проводился на третьем этаже, состоявшем из трех комнат и передней.

В одной из комнат находились две женщины, одна девица и ребенок лет девяти — все в траурной одежде.

Старшей из женщин могло быть лет тридцать шесть — тридцать семь. Она сидела у стола и читала.

Вторая занималась рукодельем — ей было двадцать восемь или двадцать девять лет.

Девочке было лет четырнадцать. Она стояла около ребенка, который лежал больной, с закрытыми глазами, как будто спал, хотя вряд ли можно было заснуть при шуме, производимом муниципалами.

Одни двигали кровати, другие ворошили белье, иные, наконец, окончившие обыск, устремляли наглые взгляды на несчастных невольниц, упорно потупивших глаза — одна в книгу, другая в свою работу, третья на брата.

Старшая из женщин была высокого роста, бледна, но прекрасна. Она, казалось, полностью углубилась в чтение, хотя не вникала в смысл строк, лишь пробегала их глазами.

Тогда один из муниципалов подошел к ней, грубо вырвал книгу из ее рук и швырнул на середину комнаты.

Узница протянула руку к столу, взяла другой том и продолжала читать.

Монтаньяр так же жестоко вырвал и этот том. Это движение заставило вздрогнуть сидевшую за шитьем у окна, а девушка подбежала к пленнице, обняла руками ее голову и, рыдая, прошептала:

— О, бедная, несчастная мама! — и поцеловала ее.

Тогда узница коснулась устами уха девушки, будто желая ее поцеловать, и шепнула:

— Мария, в печи есть записка, убери ее.

— Ну, ну, — сказал муниципал, оттащив девушку, — долго ли вам целоваться?

— Милостивый государь, — отвечала Мария, — разве Конвент воспрещает ласки детей и их родителей?

— Нет, но он предписывает наказывать изменников и аристократов; вот почему мы здесь допрашиваем вас. Ну-ка, Антуанетта, отвечай!

Та, к которой относились эти слова, даже не взглянула на муниципала. Она отвернулась, и легкий румянец скользнул по ее бледным щекам, поблекшим от горя, изборожденным слезами.

— Быть не может — продолжал этот человек, — чтобы ты не знала о покушении нынешней ночью. Откуда оно?

Узница ничего не ответила.

— Говори, Антуанетта, — сказал, приблизившись к ней, Сантер, не

заметив ужаса, охватившего и девушку при виде того самого человека, который 21 января утром пришел за Людовиком XVI, чтобы из Тампля увести его на эшафот. — Отвечайте. Нынешней ночью был заговор против республики; целью этого заговора было выкрасть всех вас из плена, пока злодеяние ваше еще не наказано волей народа. Скажите, знали ли вы об этом?

Мария вздрогнула от этого голоса, от которого, казалось, она удалялась, отодвигая стул свой, сколько могла. Но и она ничего не отвечала ни на этот, ни на прежние вопросы Сантера и прочих муниципалов.

— Так вы не хотите отвечать? — сказал Сантер, топнув ногой.

Пленница взяла со стола третий том.

Сантер повернулся. Зверская власть человека, под начальством которого находилось 80 тысяч солдат, который одним движением заставил грохотом барабанов заглушить голос умирающего Людовика XVI, пасовала тут перед величием несчастной пленницы. Он мог и ее отправить на эшафот, но не в силах был заставить склониться перед ним.

— А ты, Елизавета, — обратился он к другой женщине, которая оставила на время работу и сложила руки, чтобы молить не этих людей, а бога, — будешь ли ты отвечать?

— Я не знаю, о чем вы спрашиваете, и поэтому не могу отвечать.

— Э, черт возьми! Гражданка Капет, — сказал нетерпеливо Сантер, — я, кажется, довольно ясно выразился. Я говорю, что вчера была попытка выпустить вас всех отсюда и что вы должны знать виновников.

— Мы ни с кем за стенами тюрьмы не связаны, сударь, и поэтому не можем знать, что делается для нас, как и того, что делается против нас.

— Ладно, — сказал муниципал, — посмотрим, что скажет твой племянник.

И он подошел к постели юного дофина.

При этой угрозе Мария-Антуанетта вдруг встала.

— Мой сын болен и спит, сударь, — сказала она... — Не будите его.

— Так отвечай!

— Я ничего не знаю.

Муниципал подошел к постели юного принца, который притворился, как мы сказали, спящим.

— Ну, ну, вставай, Капет, — сказал он, грубо тряхнув его.

Ребенок открыл глаза и улыбнулся.

Тогда муниципалы откружили его кровать.

Королева, объятая страданием и страхом, подала знак своей дочери, которая, воспользовавшись этой минутой, скользнула в соседнюю комнату, отворила заслонку, вынула из печки записку, и сожгла ее, затем вернулась в комнату и взглядом успокоила свою мать.

— Чего вы хотите от меня? — спросил ребенок.

— Узнать, не слышал ли ты чего ночью?

— Ничего, я спал.

— Ты очень любишь спать, кажется?

— Да, когда я сплю, мне снится.

— А что тебе снится?

— Я вижу отца моего, которого вы убили.

— Так ты ничего не слышал? — живо произнес Сантер.

— Ничего.

— Эти волчата удивительно согласны с волчицей, — сказал негодующе муниципал. — Как вы хотите, а заговор есть.

Королева улыбнулась.

— Она еще смеется над нами, австриячка! — вскричал муниципал. — Постой же! Раз так, исполним со всей точностью приказ Коммуны. Вставай, Капет!

— Что вы хотите делать? — в самозабвении вскрикнула королева. — Разве вы не видите, что сын мой болен, что у него лихорадка? Вы хотите его уморить?

— Твой сын, — сказал муниципал, — есть непрестанный предмет тревоги Тампльского совета. Он цель всех заговорщиков. Всех вас надеются спасти. Пусть попробуют. Тизон!.. Пошлите сюда Тизона!

Тизон был сторож, отвечавший за все хозяйство тюрьмы. Он явился.

Это был человек лет сорока, смугловатый. В лице его было что-то грубое и дикое. У него были черные кудрявые волосы, нависшие на брови.

— Тизон, — сказал Сантер, — кто приносил вчера пищу заключенным? Тизон произнес какое-то имя.

— А кто приносил им белье?

— Моя дочь.

— Стало быть, твоя дочь прачка?

— Разумеется.

— И ты ей предоставил работу на арестантов?

— Почему бы и нет? Пусть лучше ей достается плата за работу, чем другим. Теперь деньги идут от нации, потому что за них платит нация.

— Тебе приказано осматривать белье как можно строже.

— Ну и что? Разве я не исполняю свои обязанности? Вчера на одном из платков было завязано два узла; я в ту же минуту доложил об этом совету, который приказал моей жене развязать узлы, разглядить платок и отдать его мадам Капет, ни слова не говоря о том.

При упоминании о двух узлах, сделанных на одном из платков, королева вздрогнула, зрачки ее расширились, и она обменялась взглядом с принцессой Елизаветой.

— Тизон, — сказал Сантер, — твоя дочь такая гражданка, которую никто не подозревает в измене, но с этого дня ей запрещается входить в Тампльскую тюрьму.

— Боже мой, — воскликнул испуганный Тизон, — что это вы говорите! Как! Я только во время отлучек из Тампля смогу видеть мою дочь!

— Ты вовсе не будешь выходить, — сказал Сантер.

Тизон повел вокруг себя мутным взглядом, не останавливая его ни на одном предмете, и вдруг:

— Я не выйду! — вскрикнул он. — Коли так, увольте меня совсем! Я подаю в отставку. Я не изменник, не аристократ, чтобы меня насильно держали в тюрьме! Я вам говорю, что хочу выйти!

— Гражданин, — сказал Сантер, — повинуйся приказаниям Коммуны — и ни слова; или худо тебе будет, я тебе говорю. Оставайся здесь и смотри за всем, что происходит. Предупреждаю тебя, что следят и за твоими поступками.

Между тем королева, полагая, что о ней забыли, мало-помалу пришла в себя и стала поудобнее укладывать своего сына в кровати.

— Позови-ка свою жену, — сказал муниципал, обращаясь к Тизону.

Последний повиновался беспрекословно. Угрозы Сантера обратили его в ягненка.

Пришла жена Тизона.

— Пойди сюда, гражданка, — сказал Сантер. — Мы выйдем в переднюю, а ты обыщи арестанток.

— Послушай, жена, — сказал Тизон, — они не хотят пускать нашу дочь в Тампль.

— Как это! Они не хотят пускать нашу дочь? Стало быть, мы теперь не увидим ее?

Тизон покачал головой.

— Что вы тут выдумали?

— Я говорю, что мы донесем совету Тампля, и что решит совет, то и будет, а то того...

— А до того я хочу видетсья с моей дочерью.

— Потихе, — сказал Сантер, — тебя призвали сюда, чтобы обыскать арестанток, так обыскивай, а там мы увидим.

— Все это так, — сказала женщина, — но все-таки...

— Ого! — вскричал Сантер, насупив брови. — Дело портится, как видно.

— Делай то, что приказывает тебе гражданин начальник; делай, женка, а после ты увидишь... Он говорит, увидишь...

И Тизон взглянул на Сантера с покорной улыбкой.

— Ладно, — сказала женщина, — ступайте, я готова их обыскать.

Они вышли.

— Милая мадам Тизон, — сказала королева, — поверьте...

— Я ничему не верю, гражданка Капет, — сказала неистовая женщина, оскалив зубы, — разве одному только, что ты причина всех несчастий народа. Уж только бы найти мне у тебя что-нибудь подозрительное, и ты увидишь!

Четыре человека остались у дверей, на случай, если бы королева вздумала сопротивляться и жена Тизона потребовала бы помощи.

Начали с королевы.

Нашли у нее платок с тремя узлами, который, к несчастью, казался приготовленным ответом на узлы, найденные накануне Тизоном, карандаш, ладанку и сургуч.

— Ну, так и есть, — сказала жена Тизона, — что я сказывала муниципалам, то и случилось. Она пишет, австриячка! Намедни я нашла каплю сургуча на огарке, который вынесла от нее.

— Ах, сударыня, — сказала королева умоляющим голосом. — Покажите только ладанку...

— Как бы не так! — сказала женщина. — Не сжалиться ли над тобой?.. Меня не пожалели... у меня отнимают дочь.

На принцессе Елизавете и на юной принцессе Марии ничего не нашли.

Жена Тизона позвала муниципалов, которые вошли во главе с Сантером; она подала им все вещи, найденные ею у королевы; вещи эти переходили из рук в руки и сделались предметом бесконечных предположений. Особенно три узла на платке долго волновали воображение производивших обыск.

— Теперь, — сказал Сантер, — мы прочитаем тебе приговор Конвента.
— Какой приговор? — сказала королева.
— Приговор, по которому ты будешь разлучена с сыном.
— Неужели правда, что этот приговор существует?
— Да... Конвент слишком заботится о здоровье ребенка, вверенного его попечению народом, чтобы оставить сына в сообществе такой беспечной матери, как ты...

Глаза королевы засверкали, как молния.

— По крайней мере, скажите, в чем меня обвиняете, лютые тигры!

— Черт возьми! Это немудрено сделать, — сказал муниципал. — Да вот...

И он произнес одно из ужаснейших обвинений, подобное тому, которым Светоний обвинил Агриппину.

— О, — воскликнула королева, встав со своего места, бледная и полная величественного негодования, — зываю к сердцам всех матерей!

— Полно, полно, — сказал муниципал. — Все это прекрасно, но мы тут уже более двух часов; не целый же день нам здесь киснуть. Вставай-ка, Капет, и ступай за нами.

— Никогда, никогда! — воскликнула королева, бросившись между муниципалом и юным Людовиком, готовясь защитить кровать, как тигрица свое логово. — Никогда не позволю похитить моего ребенка!

— О, господа, — воскликнула принцесса Елизавета, с мольбой сложив руки, — господа, ради самого неба сжальтесь над двумя матерями!

— Говорите, — сказал Сантер, — назовите людей, сознайтесь в намерениях ваших единомышленников, объясните, что означают эти узлы, завязанные на платке, принесенном в белье дочерью Тизона, и на том, который найден в вашем кармане, тогда оставим вам вашего сына.

Взор принцессы Елизаветы, казалось, умолял королеву принести эту ужасную жертву.

Но последняя, гордо утерев слезу, которая, как светлый алмаз, повисла на кончике ее ресницы, сказала:

— Прощай, мой сын, не забывай никогда о твоём отце, который теперь на небесах, о твоей матери, которая скоро соединится с ним; читай каждый вечер и всякое утро ту молитву, которой я научила тебя. Прощай, мое дитя!

Она в последний раз обняла сына и встала, твердая и непоколебимая.

— Я ничего не знаю, господа, — произнесла она, — делайте что хотите.

Но королеве надо было больше сил, чем могло вместить сердце женщины и особенно сердце матери. Она в изнеможении упала на стул, пока уносили ребенка, который плакал и протягивал к ней ручонки, но не вскрикнул ни разу.

Дверь затворилась за муниципалами, уносившими королевское дитя, и три женщины остались одни.

Была минута молчаливого отчаяния, прерываемая только рыданиями.

Королева первая нарушила его.

— Дочь моя, — воскликнула она, — а записка?

— Я сожгла ее, как вы приказали, матушка.

— Не прочитай?

— Не прочитай.

— Прощай, последний луч надежды, — проговорила принцесса Елизавета.

— О, вы правы, вы правы, сестрица. Это страдание слишком жестоко.

Потом обратилась к дочери:

— По крайней мере, ты запомнила почерк, Мария?

— Да, матушка, немного.

Королева встала, подошла к двери, чтобы убедиться, не подглядывают ли за нею, и, вынув из волос шпильку, приблизилась к стене, выцарапала из щели лоскуток бумажки, свернутый вчетверо, и, показав его принцессе, сказала:

— Вспомни хорошенько, прежде чем отвечать, дочь моя. Почерк письма сохден с этим?

— Да, да, маменька, — воскликнула принцесса, — я его узнаю!

— Слава богу! — промолвила королева, опустившись на колени. — Если он смог написать утром — это знак, что он сплсся. Благодарю тебя, господи, благодарю тебя! Столь благородный друг достоин твоих чудес.

— О ком говорите вы, маменька? — спросила принцесса. — Кто этот друг? Назовите его имя, чтоб и я могла упоминать о нем в молитвах!

— Да, ты права, моя дочь; не забывай никогда это имя; оно принадлежит дворянину, исполненному чести и храбрости; он предан не из честолюбия, он выказал себя только в дни несчастья. Еще ни разу не случилось ему видеть королеву Франции, или, лучше сказать, никогда королева Франции не видела его, и он жертвует своей жизнью, чтобы ее защитить. Может быть, он будет награжден, как награждают ныне всякую добродетель, то есть жестокой смертью... но... если суждено ему умереть... О, там, там!.. Я возблагодарю его... Он называется...

Королева с беспокойством оглянулась и, понизив голос, произнесла:

— Его зовут кавалер де Мезон Руж... Молитесь за него!

VII. КЛЯТВА ИГРОКА

Попытка похищения, как ни рискованна она была, потому что совершили ее без тщательной подготовки, возбуждала негодование в одних и участие в других. Достоверность этого события подтверждалась тем, что Комитет общественного спасения дознал, что около трех недель назад толпы эмигрантов вторглись со всех сторон во Францию. Очевидно было, что люди, рисковавшие своими головами, подвергали себя опасности не бесцельно; вероятнее всего, они стремились вызволить из неволи королевскую семью.

Уже по предложению члена Конвента Осселена был обнародован ужасный закон, которым присуждался к смерти всякий эмигрант, изобличенный в возвращении во Францию, всякий француз, изобличенный в намерении оставить свое отечество, всякое частное лицо, изобличенное в содействии побегу или возвращению эмигранта, попытке оставить отечество, наконец, всякий гражданин, изобличенный в укрывательстве эмигранта.

Этот ужасный закон наводил страх. Недоставало только применения его к подозреваемым.

Кавалер Мезон Руж был слишком деятельный и предприимчивый враг, чтоб возвращение его в Париж и появление в Тампле не вынудили предпринять наистрожайшие меры. Во многих домах сделаны были такие строгие обыски, каких еще не бывало. Но кроме найденных нескольких женщин-эмигранток, которые нисколько не сопротивлялись, когда их арестовали, и нескольких стариков, не оспаривавших у своих палачей ту малость дней, которую им осталось прожить, поиски ни к чему не привели.

Секции Коммуны, как должно думать, вследствие этого происшествия были очень заняты. Поэтому у секретаря отделения Лепелетье — одного из самых главных — не было времени думать о незнакомке.

Сначала, как он и решил, покинув улицу Сен-Жак, попытался все это предать забвению. Но как сказал приятель Лорен:

Чем более мыслишь позабыть,

Тем более припоминаешь.

Однако Морис ничего не сказал ему, ни в чем не сознался. Он скрыл в сердце своем все подробности приключения, в которые очень хотелось проникнуть его другу. Последний, знавший Мориса веселым и от природы откровенным парнем, теперь, видя его все время задумчивым, ищущим удивления, не сомневался, как он и говорил, что тут вмешался плутишка Купидон.

Надо заметить, что за все восемнадцать столетий во Франции не было года до такой степени мифологического, как 1793 год.

Однако кавалер не было пойман; о нем стихли слухи. Королева, ставшая вдовой, осиротевшая после потери сына, заливалась слезами, когда оставалась наедине с дочерью и сестрой.

Юный дофин, вверенный чеботарю Симону, терпел муки, которые позже, через два года, соединили его с отцом и матерью. Водворилось непродолжительное спокойствие.

Вулкан монтаньяров отдыхал, как бы накапливая силы, чтобы истребить жирондистов.

Мориса тяготила эта предгрозовая тишина; не зная, как бороться с апатией, поражавшей его тело тем больше, чем сильнее становилось чувство если не любви, то похожее на нее, он перечитывал письмо, целовал драгоценный сапфир и решился, вопреки данной себе клятве, сделать последнюю попытку, заверяя себя, что после этого уж ничего не предпримет.

Молодой человек думал об одном — отправиться в секцию Ботанического сада и там разузнать что-нибудь от секретаря, своего сотоварища. Но останавливала мысль, что его прекрасная незнакомка замешана в каком-нибудь политическом заговоре. Мысль, что малейшая неосторожность с его стороны может бросить эту восхитительную женщину под гильотину и эта ангельская головка может пасть на эшафот, страшной дрожью проносилась по всем жилам Мориса.

Он решился довериться случаю и попытать счастье один, без всяких справок. Впрочем, план его был очень прост. Выставленные на всех дверях списки помогут навести его на первый след, потом строгие расспросы дворников должны разъяснить тайну. В качестве секретаря секции Лепелетье он вправе был чинить допросы.

Хотя Морису неизвестно было имя незнакомки, им должны были руководить разные соображения. Быть не может, чтобы имя такого очаровательного существа не согласовалось с ее внешностью; она должна носить имя какой-нибудь сильфиды, волшебницы или даже ангела — ибо при появлении ее на землю все должны были приветствовать появление существа необыкновенного.

Итак, имя должно было непременно направить его на след.

Морис натянул карманьолку темного толстого сукна, украсился красной праздничной шапкой, и отправился на розыски, никого не предупредив о том.

Он держал в руке суковатую дубину, названную «конституцией», у этого оружия в могучей руке был такой же внушительный вид, как у Геркулесовой палицы. В кармане его покоилось письменное удостоверение о его должности. Все это вместе заключало в себе и опору и поруку нравственную.

Он опять пустился по улицам Сен-Виктор, Сен-Жак, читая при свете угасающего дня все имена, написанные более или менее искусной рукой на каждой двери.

Морис подходил уже к сотому дому и, следовательно, к сотой росписи, но пока так и не встретил ничего, что бы могло навести его на след незнакомки, который он упрямо искал только в воображаемом сходстве имени и образа, как вдруг добряк-сапожник, видя выражение нетерпения на его лице, отворил дверь, вышел с ремнем и шилом и, поглядывая на Мориса поверх очков, проговорил:

— Не хочешь ли ты разузнать что-нибудь о живущих в этом доме, гражданин? — сказал он. — Так говори, я готов отвечать.

— Благодарю, гражданин, — пробормотал Морис, — я так... ишу имя одного приятеля.

— Так скажи это имя, гражданин, я всех знаю в этом квартале. Где проживает этот приятель?

— Он жил, помнится мне, на старой улице Сен-Жак, но боюсь, не переехал ли.

— Но как его звать? Мне надо же знать его имя.

Морис, удивленный неожиданным вопросом, был некоторое время в нерешительности; наконец произнес первое имя, пришедшее ему на память.

— Рене, — сказал он.

— А ремесло его?

Морис был окружен кожевными мастерскими.

— Кожевник, — сказал он.

— В таком случае, — сказал прохожий, остановившийся и смотревший на Мориса добродушно, но немного подозрительно, — надо бы спросить хозяина.

— Это так! Что правда, то правда, — сказал привратник. — Хозяева знают имена своих работников. Да вот, кстати, гражданин Диксмер. У него кожевенная фабрика да работников более пятидесяти. Он может тебе сказать...

Морис обернулся и увидел добродушного человека среднего роста, в богатой одежде, говорившей о достатке хозяина.

— Только одно скажу, как и гражданин привратник, — продолжал прохожий, — надо прежде всего знать фамилию этого друга.

— Я сказал — Рене.

— Рене имя по крещению, а я спрашиваю прозвище. Все работники у меня записаны по фамилии.

— Ну, — сказал Морис, которому эти вопросы начинали надоедать. — Прозвания его я не помню.

— Как? — сказал хозяин кожевни с улыбкой, в которой почудилось Морису больше иронии, чем было в самом деле. — Как, гражданин, ты не знаешь фамилию твоего приятеля?

— Нет.

— В таком случае ты, вероятно, его не отыщешь.

И прохожий, вежливо поклонившись Морису, отошел на несколько шагов и скрылся в одном из домов старой улицы Жак.

— В самом деле, если ты не знаешь его прозвища... — сказал привратник.

— Ну, что ж, и не знаю, — сказал Морис зло, ему хотелось ссоры, чтобы излить свое негодование и скрыть неловкость.

— Что делать, гражданин, что делать; если ты не знаешь прозвища твоего приятеля, то, вероятно, как и сказал тебе гражданин Диксмер, вряд ли его отыщешь.

И гражданин-привратник, пожав плечами, ушел в свою каморку.

Морису очень хотелось поколотить привратника, но тот был стар, и это спасло его. Был бы тот лет на двадцать моложе, Морис доказал бы, что закон-то равняет всех, но сила равенства не знает.

Притом день клонился к закату, и оставалось едва несколько минут света. Он воспользовался ими, чтобы пробраться сперва в правый переулок, там в левый, осматривал каждую дверь, каждый закоулок, заглядывал через заборы, смотрел сквозь решетки, даже в замочные скважины, стучался у двери каждого пустого склада, но не получил ответа. Он истратил около двух часов на эти бесполезные поиски.

Пробило девять часов вечера. Стемнело; уже не слышно и не приметно было никакого движения в этой глухой части города, где жизнь, казалось, кончилась со светом дня.

Морис в отчаянии уже хотел удалиться, как вдруг у одного темного входа блеснул огонек. Он в одно мгновение бросился в проход, не примечая, что в то время, когда он пробирался туда, из гущи деревьев, высившихся над стеной, уже более четверти часа два любопытных глаза следили на всеми его действиями. Вдруг они исчезли за стеной.

Через несколько минут после того, как наблюдатель скрылся, три человека, выйдя из маленькой двери, пробитой в той же стене, бросились в проход, в котором был Морис, а четвертый, для большей безопасности, прикрывал вход.

Морис нашел в конце аллеи двор, в конце которого светился огонек. Он постучался в дверь убогого и уединенного домика, но при первом же ударе свет погас. Морис постучал громче, но на его призыв не было ответа, и видя, что ему решили вовсе не отвечать, понял, что стучаться бесполезно; он прошел через дверь и вернулся в аллею.

В то же время дверь дома тихо повернулась на петлях, вышли три человека и раздался свист.

Морис обернулся и увидел три тени на расстоянии двойной длины его дубинки.

В ночной темноте, в слабом отражении того света, который сквозит во мраке и к которому постепенно привыкают глаза, сверкнули синеватым отблеском три клинка.

Морис понял, что окружен. Он хотел приготовиться к защите, но проход был так тесен, что его дубинка задевала за стены. В то же мгновение сильный удар по голове ошеломил его. Это неожиданно напали четыре человека, выпешдние из двери. Семеро разом кинулись на Мориса и, несмотря на отчаянное сопротивление, сшибли его с ног, спутали ему руки и завязали глаза.

Морис не крикнул и не призвал на помощь. Сила и мужество всегда стараются защитить сами себя и даже стыдятся просить чьей-либо помощи.

Впрочем, если б Морис и крикнул, в этой глухой части города никто бы не явился на помощь.

Итак, Морис был связан и скручен, но не произнес ни малейшей жалобы.

Он сообразил, между прочим, что если ему завязали глаза, то это, конечно, не для того, чтобы сию минуту убить. В возрасте Мориса всякое промедление — надежда.

Итак, он собрал все присутствие духа и ждал.

— Кто ты такой? — спросил голос, взволнованный борьбой.

— Я человек, которого убивают, — отвечал Морис.

— Мало того — ты не останешься живым, если громко заговоришь, начнешь кричать или звать на помощь.

— Если бы я счел нужным кричать, то зачем бы молчал до сих пор?

— Готов ли ты отвечать на мои вопросы?

— Спрашивайте, а там я увижу, стоит ли отвечать.

— Кто послал тебя сюда?

— Никто.

— Ты, значит, пришел по доброй воле?

— Да.

— Лжешь.

Морис попытался освободить руки, но это было невозможно.

— Я никогда не лгу, — сказал он.

— Во всяком случае, сам ли по себе пришел или послан кем-то, ты лазутчик.

— А вы подлецы.

— Кто, мы подлецы?

— Да, вас семеро против одного и еще связанного, и вы издеваетесь над ним. Подлецы, трусы!

Это восклицание Мориса, вместо того, чтобы разозлить еще больше его противников, казалось, смягчало их. Самая дерзость доказывалась, что молодой человек не был тем, за кого его принимали. Истинный шпион задрожал бы и просил пощады.

— Тут нет ничего обидного, — проговорил один из них не менее грубым, но вместе с тем более повелительным голосом. — В наши времена можно быть

шпионом, нисколько не сделавшись бесчестным. Одним только рискуешь — жизнью.

— Привет тому, кто произнес эти слова. Я отвечу ему прямо и правдиво.

— Зачем вы пришли в этот квартал?

— Я искал женщину.

Недоверчивый ропот встретил это оправдание. Ропот усилился и превратился в бурю.

— Ты лжешь, — подхватил тот же голос. — Мы понимаем, о каких женщинах ты говоришь. В этом квартале таких женщин нет. Сознайся в твоём замысле, где то тебе смерть.

— Полноте, — сказал Морис. — Вы не убьете меня ради удовольствия убить человека, если только вы не настоящие разбойники.

И Морис вновь неожиданно повторил попытку высвободить руки от стягивавшей их веревки. И вдруг холодная и острая боль пронзила его грудь.

Морис невольно подался назад.

— Ага, ты это чувствуешь, — сказал один из мужчин. — Так знай же, что есть в запасе еще восемь вершков таких, как ты попробовал.

— Ну, так прикончите, — сказал Морис покорно. — По крайней мере, разом отделаетесь.

— Кто ты? Говори скорей, — сказал кроткий и вместе с тем повелительный голос.

— Вы хотите знать мое имя, что ли?

— Да, твое имя.

— Меня зовут Морис Лендэ.

— Как! — вскричал кто-то. — Морис Лендэ, бунтов... патриот! Морис Лендэ, секретарь секции Лепелетье?!

Эти слова были произнесены с таким жаром, что Морис не усомнился в их решительности. Он ответа зависело — умереть или жить.

Морис не способен был на подлость; он выпрямился и с твердостью, достойной истинного спартанца, произнес:

— Да, я Морис Лендэ, да, Морис Лендэ, секретарь секции Лепелетье. Да, Морис Лендэ, патриот, революционер, якобинец. Морис Лендэ, наконец, для которого счастливейший день настанет тогда, когда он умрет за отечество!

Мертвая тишина встретила этот ответ.

Морис Лендэ выпятил грудь, ожидая ежеминутно, что приставленное к груди лезвие пронзит его насквозь.

— Правда ли это? — спросил спустя несколько минут другой голос, изменивший себе от волнения. — Полно, молодой человек, не лги.

— Залезьте в мой карман, — сказал Морис, — и вы найдете там удостоверение моей личности. Раскройте мою грудь, и, если кровь ее не залила, вы найдете две начальные буквы М. и Л., вышитые на рубашке.

В то же мгновение Морис почувствовал, что он мощными руками поднят с земли. Его отнесли на недалекое расстояние. Тут он услышал, как растворилась сперва одна дверь, потом другая. Вторая была уже первой, ибо в нее едва могли протиснуться те, кто его нес.

Говор и шепот не прерывались.

«Я погиб, — подумал Морис, — они привяжут мне камень на шею и бросят в какой-нибудь омут Бьевры».

Но спустя несколько минут он почувствовал, что те, которые несли его, стали подниматься по лестнице. Лицо его ощутило теплый воздух, его посадили на стул. Двойные запоры задвинулись, и слышно было, как удалились шаги. Ему показалось, что его оставили одного. Он стал прислушиваться с напряженным вниманием человека, участь которого зависит от одного слова, и ему послышалось, что тот же самый голос, который поражал слух его своей мягкостью и решительностью, говорил другим:

— Это надо обсудить.

VIII. ЖЕНЕВЬЕВА

Прошла четверть часа, показавшаяся Морису вечностью. Нет ничего естественнее. Человек молод, прекрасен собой, силен, пользуется поддержкой ста преданных друзей, с которыми и с помощью которых он мечтал иногда об осуществлении великих замыслов; и вдруг он почувствовал, что в любое мгновение рискует лишиться жизни, попав в подлые сети.

Он понимал, что его заперли в какой-то комнате, но был ли он под присмотром?

Он решился на новую попытку разорвать путы; железные мышцы его напряглись, но веревка лишь еще сильнее впилась в тело, не лопнула.

Хуже всего то, что руки его были связаны за спиной и он не мог стащить с глаз повязку; если б он видел, то, может быть, сумел бы убежать.

Впрочем, все эти попытки не вызвали ни сопротивления, ни малейшего шума, из чего он заключил, что находится в комнате один.

Ноги его опирались на что-то мягкое. Это мог быть песок или земля; острый и пронзительный запах поражал обоняние и подсказывал, что вокруг него растения. Морис подумал, что он в оранжерее или вроде того. Он сделал несколько шагов, коснулся стены, повернулся, нащупал руками сельскохозяйственные инструменты и вскрикнул от радости.

С неимоверным трудом сумел он ощупать все эти инструменты один за другим. Спасение зависело от времени. Если случайность или providение даруют ему пять минут и если между этими инструментами найдется хоть один с острием, он спасен.

Он нашел лопатку.

Морис был так скручен, что ему стоило бесконечного труда перевернуть лопатку так, чтобы острое ребро ее было направлено вверх. Этим железом, которое прижимал к стене спиной, он перерезывал или, лучше сказать, перетирал веревку, связывавшую руки. Операция была продолжительна, железо лопаты медленно перетирало пеньку. На лбу его выступил пот; ему послышался как бы приближающийся шум шагов. Он сделал последнее решительное усилие, и полуистертая веревка лопнула.

Теперь он вскрикнул от радости. По крайней мере, ему можно защититься, и он даром не отдаст свою жизнь.

Морис сорвал повязку с глаз.

Он не ошибся. Он был не в оранжерее, а в беседке, в которой сберегались нежные деревья, неспособные зимовать на открытом воздухе.

В одном углу лежали эти садовые инструменты, один из которых оказал ему такую великую услугу. Напротив было окно. Морис выглянул в него. Оно было с решеткой, и вооруженный карабином мужчина стоял за ним на часах.

С другой стороны сада, на расстоянии почти тридцати шагов, возвышался небольшой павильон, подобный тому, в котором находился он сам. Штора была опущена, но сквозь нее виден был огонь.

Он подошел к двери и стал прислушиваться; другой караульный ходил взад и вперед за этой дверью. Шаги отдавались в его ушах.

Из коридора доносился невнятный гул голосов. Спокойный разговор перерос в спор. Морис не мог расслышать все, о чем говорилось; однако он разобрал несколько слов, и среди этих слов прозвучало: «шпион», «кинжал», «смерть».

Видимо, в глубине коридора отворилась какая-то дверь, и он теперь лучше мог все расслышать.

— Да, — говорил один голос, — да, это шпион. Он разнюхал что-то и теперь, без сомнения, послан подслушать наши тайны. Освободив его, мы рискуем, что он нас выдаст.

— А его слово! — сказал другой голос.

— Его слово! Ему так же легко дать его, как и изменить. Разве он дворянин, что можно положиться на его слово?

Морис заскрежетал зубами при мысли, что есть еще люди, которые убеждены, что можно верить только слову дворянина.

— Но знает ли он наши имена, чтоб нас выдать? Нет, разумеется, он их не знает и не знает также, чем мы занимаемся, но ему известен наш адрес, и он опять придет сюда с порядочной свитой.

Вывод показался неоспоримым.

— Что же, — сказал голос, уже несколько раз поразивший Мориса своей повелительностью, — стало быть, решено?

— Да, сто раз да, и я вас не понимаю, любезный, ваше великодушие. Если бы мы попали в руки Комитета общественного спасения, посмотрели бы, как они стали бы с вами церемониться.

— Стало быть, вы настаиваете на вашем решении, господа?

— Без сомнения, надеюсь, что и вы не будете ему сопротивляться.

— На моей стороне один голос, господа. Я полагал дать ему свободу. На вашей шесть, и все шесть голосов обрекли его на смерть. Так пусть же будет ему смерть!

Капли пота, катившиеся по лицу Мориса, вдруг охладели.

— Он станет кричать, вопить, — сказал голос. — По крайней мере, удалили бы мадам Диксмер.

— Она далеко, в павильоне, и ни о чем не догадывается.

— Мадам Диксмер, — прошептал Морис. — Теперь начинаю понимать. Я нахожусь у хозяина кожаного заведения, который говорил со мной на старой улице Сен-Жак и, удаляясь, смеялся над тем, что я не сумел назвать фамилию отыскиваемого мной приятеля. Но какую, черт возьми, выгоду доставит хозяину кожанки моя смерть?

Морис огляделся вокруг и увидел железный прут с деревянной ручкой.

— Во всяком случае, — проговорил он, — прежде, чем меня убьют, я убью одного из них.

И он бросился к невинному инструменту, который в его руках должен был превратиться в страшное оружие.

Потом он вернулся к двери и стал таким образом, чтоб, растворившись, она прикрыла его.

Сердце его так билось, что слышно было в тишине каждый удар.

Вдруг Морис вздрогнул. Один голос сказал:

— Послушайте меня, разбейте стекло и выстрелите в него сквозь решетку из карабина!

— О, нет, нет, не надо шума, можно попасться. А, вы здесь, Диксмер. Ну, что ваша жена?

— Минуту назад я заглянул сквозь шторы, она ничего не подозревает и спокойно читает книгу.

— Диксмер, разрешите наши сомнения. Как вы полагаете, что лучше — выстрелить в него из карабина или отправить на тот свет добрым ударом кинжала?

— Лучше кинжал. Обойдемся по возможности без огнестрельного оружия.

— Ну, кинжал так кинжал.

— Идемте! — повторили разом пять или шесть голосов.

Морис был сын революции, одаренный железной силой воли, ни во что не верующей душой, каких много было в то время. Но при слове «идемте», произнесенном за дверью, единственным барьером отделявшей его от смерти, он вспомнил о том крестном знамении, которому научила мать, заставляя его на коленях лепетать молитвы, когда он еще был ребенком.

Шаги раздавались все слышнее и вдруг стихли. В замочной скважине заскрипел ключ, и дверь медленно растворилась. В течение этой минуты Морис подумал:

«Если я потеряю время на нанесение ударов, то буду убит; но бросившись на убийц, я их поражу внезапно, проскользну между ними, выберусь в сад, потом в переулок и тогда, может быть, спасусь».

В то же мгновение он с быстротой льва и с диким ревом, в котором слышалось больше угрозы, нежели страха, опрокинул первых двух мужчин, убежденных, что найдут свою жертву со скрученными руками и с завязанными глазами, и не ожидавших встретить подобное нападение. Он растолкал всех и в минуту отбежал футов на полсотни. Он увидел в конце коридора растворенную дверь в сад, бросился в нее, перескочил десять ступеней и, внимательно осмотревшись, побежал к калитке.

Калитка оказалась запертой двумя замками. Морис дернул запоры, хотел отворить замок, но не было ключа.

Между тем преследователи добрались до площадки лестницы и увидели свою жертву.

— Вот он! — вскрикнули они. — Стреляйте по нему, Диксмер, стреляйте!

Морис издал вопль. Сад был заперт. Он измерил глазом высоту стены; она подымалась на десять футов.

Убийцы бросились вдогонку.

Между ними и Морисом было около тридцати шагов; он оглядывался вокруг, как утопающий, жаждущий ухватиться за любую соломинку.

Павильон, штора, а за нею свет бросились ему в глаза.

Одним скачком он прыгнул к окну, ухватился за штору, сорвал ее, разбил окно, пролез в него и упал в освещенную комнату, где около камина сидела женщина и читала книгу.

Испуганная, она вскоčila, вскрикнула и стала звать на помощь.

— Посторонись, Женева, посторонись! — закричал голос Диксмера. — Дай мне убить его!

И Морис увидел направленное в него дуло карабина.

Но женщина, взглянув на Мориса, вдруг пронзительно вскрикнула, и вместо того, чтобы посторониться, как приказывал ей муж, бросилась между ним и дулом ружья.

Это движение сосредоточило внимание Мориса на великодушном создании, первым движением которого было его защитить.

Он, в свою очередь, вскрикнул.

Эта женщина была незнакомкой, которую он так искал.

— Это вы!.. Вы!.. — вскричал он.

— Тише! — сказала она.

Потом, обратившись к убийцам, которые с разным оружием приблизились к окну, она вскричала:

— О, вы не убьете его!

— Это шпион, — проинес Диксмер, кроткое спокойное лицо которого вдруг приняло выражение решительности. — Это шпион, и он должен умереть.

— Кто? Он шпион? — сказала Женева. — Он шпион? Подите сюда, Диксмер. Мне стоит сказать только одно слово, и я докажу, что вы странным образом ошибаетесь.

Диксмер подошел к окну, Женева приблизилась к нему и, наклонившись к его уху, шепотом произнесла несколько слов.

Хозяин-кожевник живо приподнял голову.

— Он? — сказал Диксмер.

— Он самый, — отвечала Женева.

— Ты уверена?

Молодая женщина ничего не отвечала на этот раз, но, оборотившись к Морису, с улыбкой протянула ему руку.

Тогда черты лица Диксмера приняли странное выражение кротости и хладнокровия. Он опустил приклад карабина.

— Ну, это дело другое! — сказал он.

Потом, сделав знак товарищам, чтоб они следовали за ним, он отошел в сторону и сказал им несколько слов, после которых они удалились.

— Спрячьте этот перстень, — проговорила между тем Женева, — все его здесь знают.

Морис поспешно снял перстень и сунул в карман жилета.

Спустя некоторое время дверь павильона распахнулась и Диксмер уже без оружия подошел к Морису.

— Виноват, гражданин, — сказал он. — Жалею, что не узнал прежде, скольким я вам обязан! Но жена моя, припоминая услугу, оказанную вами вечером 10 марта, забыла ваше имя. Поэтому мы не знали, с кем имели дело.

Не то, поверьте мне, ни минуты не сомневались бы ни в вашей честности, ни в ваших намерениях. Итак, еще раз простите меня.

Морис был изумлен и лишь каким-то чудом сохранил спокойствие. Голова его кружилась, он готов был упасть и прислонился к камину.

— Однако, — сказал он, — за что хотели вы меня убить?

— Тут тайна, гражданин, — сказал Диксмер, — и я уверяю ее вашей чести. Я, как уже известно вам, кожевник и хозяин здешнего заведения. Большая часть кислот, употребляемых мною для выделки кож, запрещена. Контрабандистам, доставляющим мне этот товар, известно, что на них подан донос в главный совет. Видя, что вы собираете справки, я струхнул, контрабандисты еще более меня испугались вашей красной шапки и в особенности вашего решительного взгляда; теперь, не скрою, вы были обречены на смерть.

— Я это очень хорошо знаю, — отвечал Морис, — и вы не новость открываете мне. Я слышал ваше совещание.

— Я уже просил у вас прощения, — подхватил Диксмер с трогательным простодушием. — Поймите же и то, что благодаря беспорядкам наших времен я и мой товарищ Моран скопили огромное состояние. Мы подрадились поставлять в армию ранцы, и каждый день их выдывается у нас от полутора до двух тысяч. Благодаря благодетельному порядку вещей нашего времени муниципальное правление, очень озабоченное другими проблемами, не имеет времени точно проверять наши счета; итак, надо сознаться, что мы в мутной воде рыбу удим, тем более что приготовленные материалы, которые, как я уже сказал вам, мы добываем контрабандным путем, дают нам барыш до двухсот процентов.

— Черт возьми, — сказал Морис, — мне кажется, что это довольно честный барыш, и я понимаю ваше опасение, чтоб донос с моей стороны не прекратил его; но теперь, узнав меня, вы успокоились, не так ли?

— Теперь, — сказал Диксмер, — я даже не прошу вашего честного слова.

Потом положил ему руку на плечо и устремил взгляд с двусмысленной улыбкой.

— Послушайте, — сказал он, — теперь мы, можно сказать, на дружеской ноге. Скажите, зачем вы забрели сюда, молодой человек? Само собой разумеется, — прибавил кожевенный заводчик, — ежели вы захотите молчать, это в вашей воле.

— Мне кажется, я вам уже сказал, — проговорил Морис.

— Да, женщина, — сказал кожевник, — я знаю, что-то вы говорили о женщине!

— Извините меня, гражданин, — сказал Морис, — я понимаю, что должен все объяснить. Извольте видеть. Я отыскивал женщину, которая прошлым вечером под маской сказала мне, что проживает в здешнем квартале. Мне не известно ни ее имя, ни ее сословие, ни ее адрес. Знаю только одно, что я влюблен в нее, как безумный, и что она невысокого роста...

Женевьева была высокого роста.

— ...что она блондинка, что она очень осторожна!..

Женевьева была черноволосая, с большими задумчивыми глазами.

— ...одним словом, гризетка, — продолжал Морис, — и я, желая понабраться ей, нарядился в это простонародное платье.

— Вот теперь все ясно! — сказал Диксмер, и взгляд его показал, что он искренне поверил.

Женевьева покраснела и, почувствовав жар в лице, отвернулась.

— Бедный гражданин Лендэ, — со смехом сказал Диксмер, — какие ужасные минуты заставили мы вас пережить! А между тем вы последний, кому хотел бы я причинить зло; такому доброму патриоту... брату!.. Но, право же, я думаю, что какой-нибудь злонамеренный воспользовался вашим именем.

— Оставим этот разговор, — сказал Морис, понявший, что уже пора расставаться, — покажите мне дорогу и забудем о случившемся.

— Показать дорогу! — вскричал Диксмер. — Вас отпустить! Нет, нет! Я или, лучше сказать, мой товарищ и я угощаем сегодня ужином добрых приятелей, которые только что хотели удавить вас. Я намерен пригласить вас поужинать с нами, чтобы вы убедились — они не настолько люты, как кажутся.

— Но, — сказал Морис вне себя от радости, что может провести еще несколько часов близ Женевьевы, — право, не знаю... можно ли мне принять... ваш...

— Как, можно ли вам принять? — сказал Диксмер. — Кажется, что можно. Все они истинные патриоты, как вы, а притом я только тогда поверю, что вы простили меня, когда вы отведаете моего хлеба и соли.

Женевьева молчала. Морис терзался.

— Я боюсь вас обеспокоить, гражданин, — проговорил молодой человек. — Этот наряд... само лицо мое... расстроенное...

Женевьева с робостью взглянула на него.

— Мы приглашаем вас от чистого сердца, — сказала она.

— С удовольствием, гражданка, — отвечал Морис, поклонившись.

— Так я пойду успокою наших собеседников, — сказал кожаный заводчик. — Погрейтесь покамест, любезный друг. Жена, займи его!

Он вышел. Морис и Женевьева остались одни.

— Ах, сударь, — сказала молодая женщина, тщетно стараясь придать своему голосу выражение упрека. — Вы изменили вашему слову.

— Как, сударыня, — вскрикнул Морис, — я вас скомпрометировал? О, в таком случае, простите меня, я отсюда навсегда удалюсь.

— Боже мой, — вскрикнула она, вставая, — вы ранены в грудь, вся ваша рубашка в крови!

В самом деле, на тонкой и белой рубашке Мориса, составляющей такую разительную противоположность с его грубой одеждой, расплылось красное пятно, которое уже засохло.

— О, не беспокойтесь, сударыня, — сказал молодой человек. — Один из контрабандистов уколол меня кинжалом.

Женевьева побледнела и протянула ему руку.

— Простите меня, — проговорила она, — за все, что вам сделали. Вы мне спасли жизнь, а я чуть не стала причиной вашей смерти.

— Разве я не достаточно вознагражден тем, что отыскал вас? Надеюсь, вы ни минуты не думали, что я не вас, а кого-нибудь другого искал?

— Пойдемте со мной, — прервала Женевьева, — я вам дам чистое белье... Наши гости не должны вас видеть в таком положении... Это был бы для них слишком жестокий упрек.

— Я вам причиняю хлопоты, — со вздохом возразил Морис.

— Нисколько, я исполню долг.

И прибавила:

— И даже исполню его с удовольствием.

Тогда Женестьева отвела Мориса в просторную комнату, убранную с такой роскошью и вкусом, которых он не мог ожидать в доме кожевенного заводчика. Правда, что этот кожевник казался миллионером.

Потом она растворила все шкафы.

— Возьмите все, что вам нужно, будьте как дома.

И она удалилась.

Когда Морис вошел, он нашел Диксмера, который уже возвратился.

— Идемте, идемте за стол, ожидают только вас.

IX. УЖИН

Когда Морис вошел с Диксмером и Женестьевой в столовую, находившуюся в той части строения, куда привели его сначала, ужин уже был на столе, но зал еще был пуст.

Один за другим вошли шестеро мужчин

Все они были приятной наружности, большей частью молоды, одеты по моде тогдашнего времени; двое или трое из них были даже в карманьолках и красных шапках.

Диксмер представил им Мориса, перечисляя все его звания и качества.

Потом обратился к Морису.

— Вы видите здесь, гражданин Лендэ, — сказал он, — всех помогающих мне в торговле. Благодаря временам, в которые мы живем, благодаря нынешним порядкам, при которых сравнивались все состояния, все мы живем как равные; каждый день обед и ужин соединяет нас здесь, и я очень рад, что вам угодно разделить с нами семейную трапезу. За стол, граждане, за стол...

— А гражданин Моран, — робко произнесла Женестьева, — разве мы не подождем его?

— В самом деле! — отвечал Диксмер. — Гражданин Моран, о котором я говорил вам, гражданин Лендэ, совладелец кожевни. На нем лежит вся нравственная часть дома, если так можно выразиться; он ведает делопроизводством, в его руках касса, проверка фактур, прием и передача денег; поэтому, из-за того, что занят больше всех, он иногда запаздывает. Но я велю ему сказать.

В эту минуту растворилась дверь, и вошел гражданин Моран.

Это был человек невысокого роста, черноволосый, с густыми бровями, в зеленых очках, которые обычно носят люди, утомившие зрение за работой. Очки эти скрывали черные глаза, но не препятствовали им сверкать. По первому произнесенному им слову Морис узнал тот тихий и вместе с тем повелительный голос, который постоянно держался кротких мер в смуте, жертвой которой он оказался. На нем была темного цвета одежда с большими пуговицами, белый шелковый жилет, во время ужина он все время поправлял очень тонкие манжеты рубашки рукой, белизне и нежности которой удивлялся Морис, конечно же, потому, что она принадлежала торговцу юфтяным товаром.

Сели за стол. Гражданин Моран поместился по правую, а Морис по левую сторону Женевьевы. Диксмер сел напротив жены; прочие собеседники расселись как попало за продолговатый стол.

Ужин был изысканный. Диксмер ел как труженик и угощал с большим простодушием. Мастеровые или те, которые казались ими, вторили ему во всем. Гражданин Моран говорил мало, ел еще меньше, почти ничего не пил и изредка смеялся. Морис, увлеченный, может быть, воспоминаниями, подсказанными его голосом, вскоре почувствовал к нему живейшее влечение; он никак не мог понять, сколько Морану лет, и это сомнение тревожило. Иногда тот казался лет сорока или сорока пяти, а иногда молодым человеком.

Диксмер, садясь за стол, счел себя обязанным объяснить собеседникам, почему посторонний допущен в их тесный круг. Он объяснил это как человек прямой, не любивший лгать. По-видимому, не много надо было, чтоб вразумить товарищей, ибо вопреки всей той неловкости, с которой приглашен был кожевником молодой человек речь, Диксмера всех удовлетворила.

Морис взглянул на него с удивлением.

«Право, — думал он, — мне кажется, что я сам себя обманываю. Тот ли это самый человек, который с огненным взором, с угрозами преследовал меня с карабином в руке и хотел убить четверть часа назад? В это время я бы счел его или за героя, или за разбойника. Черт возьми, как любовь к кожевному ремеслу меняет человека!»

Хотя Морис был занят этими наблюдениями, сердце его сильно волновали то скорбь, то радость, так что он сам не мог разгадать, в каком состоянии находится его душа. Наконец, он был рядом с той незнакомкой, которую так долго искал; он не обманулся в своих догадках, она носила нежное для слуха имя. Он был в упоении, чувствуя ее близ себя, он ловил каждое ее слово, звуки голоса потрясли тайные глубины его сердца; но это сердце сокрушалось от того, что видело.

Женевьева была та же, что и в первый раз, когда он ее увидел; сновидения бурной ночи почти не изменили действительности. Это была та же изящная женщина с томным взором, с высоким челом; с ней как будто случилось то, что нередко случалось в последние годы, предшествовавшие этому достопамятному 93-му году. Это была, вероятно, юная девица знатного рода, вынужденная из-за тягот, выпавших на долю дворянства, вступить в брак с разночинцем или торговцем. Диксмер казался честным человеком, он был бесспорно богат, обращение его с Женевьевой доказывало, что он старался устроить счастье своей жены. Но это добродушие, это богатство, эта изысканная внимательность разве могли заполнить огромное расстояние, которое существовало между женой и мужем, между юной поэтической девушкой с возвышенными чувствами, одаренной красотой, и простолюдином, посвятившим себя ремеслу, подсчету барышей? Какими же чувствами Женевьева заполняла эту пропасть? Увы, случайность высказывала это Морису — любовью. И он должен был вернуться к прежнему мнению об этой женщине, то есть, что в тот вечер, когда он встретился с нею, она возвращалась с какого-нибудь любовного свидания.

Мысль, что Женевьева любит кого-то, терзала сердце Мориса.

Тогда он стал вздыхать, сожалея, что пришел испить еще сильнейшую дозу того яда, что зовут любовью.

Но внимая этому нежному, чистому, звучному голосу, вопрошая этот светлый взор, который, казалось, не страшился, что через него можно было проникнуть в ее душу, Морис возвращался к мысли, что невозможно представить подобное существо в роли обманщицы; и тогда его осадил горестная мысль, что этот стан и все остальные прелести принадлежат добряку с честной улыбкой, простодушными шутками и никогда другому принадлежащим не будут.

Заговорили о политике. Иначе и быть не могло. О чем говорить в такую эпоху, когда политика примешивалась ко всему? Ее рисовали на тарелках, ею покрывали стены, о ней беспрестанно кричали и объявляли на улицах.

Вдруг один из собеседников, до сих пор молчавший, спросил о заключенных о Тампле.

Услышав этот голос, Морис невольно вздрогнул. Он узнал любителя крайних мер, который уколол его кинжалом и потом требовал смертной казни.

Однако этот человек, честный кожевник, как уверял Диксмер, скоро развеселил Мориса своими патриотическими высказываниями и самыми революционными принципами. Морис в известных случаях не отказался бы от сильных мер, которые в то время были в большом ходу. Он не убил бы человека, если бы тот показался ему шпионом, но зазвал бы его в сад и там, дав ему саблю, сразился с ним, как на поединке, без пощады и милости. Вот как поступил бы Морис. Но он скоро понял, что нельзя же требовать от простого кожевника таких поступков, как от себя.

Любитель крайних мер, по-видимому, и в частной жизни не расставался с жестокой теорией, которой следовал в политических проблемах. Говоря о Тампле, он удивлялся, что надзор за пленниками поручен бессменному совету, который легко подкупить, и городским чиновникам, которых уже не раз соблазняли.

— Да, их соблазняли, — сказал гражданин Моран, — но надо сознаться, что до сих пор во всех случаях поведение городских чиновников вполне оправдало доверие к ним нации; история скажет, что не один Робеспьер заслужил прозвище бескорыстного.

— Разумеется, согласен, — отвечал любитель крайних мер, — но нелепо было бы заключить, что беда никогда не может случиться только потому, что она еще не случилась. Вот, например, национальная гвардия... Роты разных частей города поочередно направляются охранять Тампль и при этом не делается никакого отбора. А ведь может оказаться в отряде, состоящем из двадцати или двадцати пяти человек, десяток решительных молодых... Они выберут ночку, пережут часовых и освободят пленных.

— Ну, — сказал Морис, — ты знаешь, гражданин, что это средство очень плохое. Его хотели пустить в дело три недели или с месяц назад, и попытка не удалась.

— Правда, — возразил Моран, — но почему не удалась? Потому что один из аристократов, составлявших патруль, поступил непростительно: сказал кому-то «сударь»!

— И еще потому, — прибавил Морис, желавший доказать надежность парижской полиции, — и еще потому, что уже знали о появлении кавалера Мезон Ружа в Париже.

— Да... — пробормотал Диксмер.

— Разве знали, что Мезон Руж был здесь? — хладнокровно спросил Моран. — Может быть, знали и то, как он пробрался сюда?

— Разумеется.

— Бесподобно! — сказал Моран, наклонясь вперед и всматриваясь в Мориса. — Мне бы очень хотелось знать об этом. Но вы, гражданин, должны все знать как секретарь одной из важнейших секций Парижской коммуны.

— Разумеется, — отвечал Морис, — и потому все, что скажу вам, сушая правда.

Все гости и даже Женестьева принялись слушать молодого человека с величайшим вниманием.

Морис продолжал:

— Кавалер Мезон Руж приехал, кажется, из Вандеи. Обычное его счастье провело через всю Францию. К Рульской заставе подъехал он днем и ждал тут до вечера. В девять часов вечера женщина, переодетая простой крестьянкой, вышла за заставу и вынесла ему мундир егеря национальной гвардии; минут через десять она воротилась вместе с кавалером в город. Часовой, увидевший ее одну, удивился появлению мужчины, поднял тревогу; караул тотчас выбежал, и преступники, видя, что дело идет о них, скрылись в дом, из которого вышли на Елисейские поля. Кажется, патруль, преданный тиранам, ждал кавалера на углу улицы Бар-дю-Бек. Все остальное вам уже известно.

— Вот что! — сказал Моран. — Очень любопытно.

— И вполне верно, — прибавил Морис.

— Да, похоже на правду; но что же случилось с женщиной?

— Исчезла!.. Не знают ни кто, ни что она...

Товарищи гражданина Диксмера и сам гражданин Диксмер вздохнули свободнее.

Женестьева выслушала весь рассказ бледная, неподвижная и безмолвная.

— Но, — сказал гражданин Моран с обыкновенным своим хладнокровием, — кто говорил, что кавалер де Мезон Руж был в патруле, который поднял на ноги весь Тампль?

— Один из моих друзей, дежуривший в Тампле в тот день, узнал кавалера Мезон Ружа.

— Так он знал его приметы?

— Нет, видал прежде.

— А каков из себя этот кавалер де Мезон Руж? — спросил Моран спокойно.

— Человек лет тридцати пяти или шести, низенький, белокурый, лицо приятное, глаза чудные, зубы — прелесть.

Все замолчали.

— Послушайте, — начал опять Моран, — если ваш друг узнал этого кавалера де Мезон Ружа, то почему же не арестовал?

— Во-первых, потому, что не знал о прибытии кавалера в Париж и боялся ошибиться в сходстве; а во-вторых, друг мой немного холоден и поступил, как люди благоразумные и рассудительные; сомневаясь, он не решился действовать.

— А вы, гражданин, поступили бы не так? — спросил вдруг Диксмер, громко захохотав.

— Признаюсь, — отвечал Морис, — по-моему, лучше попасть впросак, чем выпустить такого опасного человека, как Мезон Руж.

— Так что бы вы сделали? — спросила Женевьева.

— Что бы я сделал, гражданка?.. Я приказал бы запереть все выходы из Тампля; подошел бы прямо к патрулю, схватил бы кавалера и сказал ему: «Кавалер де Мезон Руж, я арестую вас как изменника отечеству», а уж если бы я наложил на него руку, так, уверяю вас, он бы не вырвался.

— И что потом? — спросила Женевьева.

— Потом судили бы его и его сообщников, и ему уже отрубили бы голову, вот и все.

Женевьева вздрогнула и с трепетом взглянула на соседа.

Но гражданин Моран, казалось, не заметил этого взгляда, спокойно выпил стакан вина и сказал:

— Гражданин Лендэ прав. Так следовало бы поступить; к несчастью, этого не сделали.

— А куда же девался этот кавалер де Мезон Руж? Что знают о нем? — спросила Женевьева.

— Ну, — пробормотал Диксмер, — он, верно, не долго раздумывая и увидев, что попытка сорвалась, тотчас удалился из Парижа.

— Может быть, выехал из Франции, — прибавил Моран.

— О, нет, нет! — отвечал Морис.

— Как! Он так неблагоразумен, что решился остаться в Париже? — спросила Женевьева.

— Не двинулся с места!

Общее изумление встретило слова Мориса.

— Но это только предположение ваше, гражданин, — сказал Моран, — не более как простая догадка.

— Нет, все верно.

— Признаюсь, — сказала Женевьева, — я никак не могу поверить вашему рассказу, гражданин. Какая непростительная неосторожность!

— Вы женщина, гражданка, и поймете, что могло заставить такого человека, как кавалер де Мезон Руж, действовать вопреки личной безопасности.

— Но что может заглушить страх, внушаемый смертью на эшафоте?

— Что? Любовь, — ответил Морис.

— Любовь! — повторила Женевьева.

— Разумеется. Неужели вы не знаете, что кавалер де Мезон Руж влюблен в Марию-Антуанетту?

Слушатели рассмеялись недоверчиво, но тихо и принужденно. Диксмер пристально взглянул на Мориса, как бы желая разглядеть его насквозь. У Женевьевы навернулись слезы; дрожь, замеченная Морисом, пробежала по ее телу. Гражданин Моран, подносивший стакан к губам, пролил вино; его бледность испугала бы Мориса, если бы в эту минуту все внимание молодого человека не было обращено на Женевьеву.

— Вы дрожите, гражданка! — прошептал Морис.

— Не вы ли сами сказали, что я все пойму, потому что я женщина? Нас, женщин, трогает всякая преданность, как бы ни была она противна нашим правилам.

— А преданность кавалера де Мезон Ружа, — продолжал Морис, — тем удивительнее, что он никогда не говорил с королевой.

— Послушай-ка, гражданин Лендэ, — сказал любитель крайних мер. — Мне кажется... позволь говорить откровенно... ты чересчур снисходителен к этому кавалеру...

— Милостивый государь, — отвечал Морис, употребляя, может быть, намеренно этот титул, вышедший из употребления, — я люблю людей великодушных и храбрых; но это не мешает мне сражаться с ним, когда встречаю их в рядах врагов. Не отчаиваюсь встретить когда-нибудь кавалера...

— И... — начала Женевьева.

— И если встречу, сражусь с ним.

Ужин кончился. Женевьева, вставая, дала знать, что пора разойтись.

В эту минуту часы начали бить.

— Полночь! — спокойно сказал Моран.

— Уже полночь! — живо повторил Морис.

— Ваше восклицание мне очень приятно, — сказал Диксмер. — Оно показывает, что вы не скучали с нами, и подает надежду, что мы снова увидимся. Вы в доме настоящего патриота и, надеюсь, скоро убедитесь, что для вас это дом друга.

Морис поклонился, повернулся к Женевьеве и спросил:

— И вы тоже позволяете мне прийти?

— Не только позволяю, но и прошу, — отвечала Женевьева с живостью. — Прощайте, гражданин.

И она вышла.

Морис простился с собеседниками; особенно раскланялся с Мораном, который очень ему понравился; пожал руку Диксмеру и вышел, ошеломленный разными событиями, волновавшими его в этот вечер, более веселый, чем печальный.

— Какая досадная встреча! — сказала Женевьева, заливаясь слезами, когда муж вошел в ее комнату.

— Ну, гражданин Морис Лендэ — известный патриот, секретарь городской секции, безукоризненный, любимый народом, — это же находка для бедного кожевника, который скрывает контрабанду, — отвечал Диксмер с улыбкой.

— Так ты думаешь, друг мой?.. — робко спросила Женевьева.

— Я думаю, что это даст нашему дому привилегию патриотизма, наложит на него печать отличия; и полагаю, что с сегодняшнего вечера даже кавалер де Мезон Руж мог бы жить у нас в безопасности.

Диксмер, поцеловав жену в лоб, с любовью более отцовской, чем супружеской, оставил ее в маленьком павильоне, ей принадлежавшем, и пошел в другие комнаты к гостям, которых мы уже видели у него за столом.

Х. ЧЕБОТАРЬ СИМОН

Наступил май; чистый воздух освежил людей, уставших дышать холодным зимним туманом, и лучи тепла и животворного солнца освещали черную стену Тампля.

У внутренних дверей, отделявших башню от сада, смеялись и курили караульные солдаты.

Но несмотря на прекрасную погоду, несмотря на предложение пленницам выйти из башни и погулять в саду, все они отказались; со времени смерти супруга королева упорно сидела в своей комнате; она не хотела проходить мимо дверей тех комнат второго этажа, где жил король.

Если ей и случалось дышать чистым воздухом после рокового дня 21 января, то лишь когда она выходила на крышу башни; тут отверстия между зубцами были заколочены досками.

Караульные национальные гвардейцы, получив уведомление, что трем пленницам позволено погулять, прождали целый день, но те и не подумали воспользоваться разрешением.

Часов в пять из башни вышел человек и подошел к сержанту, начальнику караула.

— Ага, вот и дедушка Тизон, — сказал сержант, человек по виду очень веселый.

— Да, я сам, гражданин; я принес тебе от секретаря Мориса Лендэ, твоего друга — он сидит там, наверху, — вот это разрешение, данное Тампльским советом моей дочери, она может сегодня вечером повидаться с матерью.

— И ты уходишь в ту самую минуту, как должна прийти дочь твоя, бессердечный отец? — спросил сержант.

— Ах, ухожу против воли, гражданин сержант. И я надеялся поцеловать дочку, которую не видал целых два месяца... хотел поцеловать крепко, как всегда отец целует дочь. Но как бы не так! Служба, проклятая служба гонит вон! Надобно отпраляться в общину с рапортом. У ворот ждет меня извозчик с двумя жандармами... и именно в ту минуту, как должна прийти сюда моя бедная София.

— Несчастный отец! — сказал сержант.

Любовь отечества
Потушит крови глаз;
Ну что за молодечество,
Когда...

— Послушай, Тизон, если найдешь рифму на «глас», так скажи мне: а то ничего на ум не приходит.

— А ты, гражданин сержант, пропусти мою дочь, когда она придет повидаться с матерью... Ведь жена моя почти умирает от того, что не видит дочери.

— Разрешение написано по форме, как следует, — отвечал сержант, в котором читатель, вероятно, уже узнал друга нашего Лорена. — Что ж тут толковать? Когда твоя дочь придет, так и пройдет.

— Спасибо, храбрый Фермопил, прощай, — сказал Тизон.

И он отправился с рапортом в Коммуну, повторяя: «Как жена будет счастлива!.. Как она будет счастлива!»

— Послушай-ка, сержант, — сказал национальный гвардеец, посматривая вслед Тизону и слушая его последние слова, — послушай-ка, волосы дыбом становятся.

— Отчего, гражданин Дево? — спросил Лорен.

— Как отчего? — продолжал сострадательный национальный гвардеец. — Вот человек, такой грубый с виду, с железным сердцем, неумолимый сторож королевы, уходит со слезами на глазах и от радости, и от горя, мечтая,

что жена увидит дочь его, а он не увидит любимицы своей!.. Не следует слишком много рассуждать об этом, сержант, потому что поистине сердцу становится больно...

— Разумеется, вот почему не рассуждает даже этот человек, а только уходит со слезами на глазах.

— О чем же ему еще думать?

— Как о чем? Да о том, что своего сына три месяца не видела та женщина, с которой он сам обходится чрезвычайно жестоко. Он не думал о ее горе; толкует только о своей печали, вот и все. Правда, женщина эта была королевой, — продолжал сержант таким насмешливым тоном, который объяснить было бы очень трудно, — а ведь с королевами никто не обязан быть столь же учтивым, как с женами помощников.

— Как бы то ни было, все это очень печально, — сказал Дево.

— Печально, не необходимо, — прибавил Лорен, — лучше всего, как ты говоришь, вовсе не рассуждать.

И он запел рассеянно:

И вот Нисета,
Томна, бледна,
Среди лужайки,
Сидит одна.

Лорен не успел допеть буколический куплет, как вдруг послышался страшный шум слева от караульни. Проклятия смешивались с угрозами и воплями.

— Что там такое? — спросил Дево.

— Детский голос, — отвечал Лорен, прислушиваясь.

— В самом деле, — продолжал национальный гвардеец, — бьют какого-то мальчика. О, сюда надобно посылать только таких людей, у которых нет семьи.

— Ну, пой же! — кричал грубый пьяный голос.

И тот же голос запел, заставляя кого-то запомнить и потом повторить:

Госпожа Вето обещала
Перерезать весь Париж...

— Нет, — отвечал мальчик, — не стану петь.

— Пой, пой, тебе говорят!

И тот же голос начал снова:

Госпожа Вето обещала...

— Не стану, — твердил мальчик, — не стану, не стану!

— Ах ты мерзавец! — сказал грубый голос.

В воздухе раздался свист ремня, и мальчик протяжно застонал от боли.

— Черт возьми! — вскричал Лорен. — Подлец Симон опять бьет маленького Капета.

Иные из национальных гвардейцев пожали плечами; человека два или три попробовали улыбнуться. Дево встал.

— Я уже говорил, что отцы семейства не должны входить сюда.

Вдруг отворилась дверь, и хорошенький мальчик, преследуемый бичом своего сторожа, выбежал на двор; но едва пробежал он несколько шагов, как что-то тяжелое полетело за ним на мостовую и сильно ударило ему по ноге.

— Ай, ай, ай! — закричал мальчик.

Ноги у него подкосились, и он упал на колено.

— Принеси мне колодку, чудовище, а не то...

Мальчик встал и мотнул отрицательно головой.

— А, вот как! — закричал тот же голос. — Так погоди же, вот мы увидим, погоди!

И чеботарь Симон выскочил из своей каморки, как дикий медведь из берлоги.

— Послушай-ка! — закричал Лорен, нахмутив брови. Куда ты так бежишь, почтеннейший Симон?

— Наказать медвежонка, — отвечал чеботарь.

— А за что? — спросил Лорен.

— Как за что?

— Да, за что?

— За то, что эта дрянь не хочет ни петь, как следует доброму патриоту, ни работать, как следует доброму гражданину.

— А тебе какое дело до этого? — возразил Лорен. — Разве народ поручил тебе Капета для обучения пению?

— А ты что вмешиваешься, гражданин сержант? — сказал удивленный Симон.

— Почему я вмешиваюсь? Потому что это дело касается каждого честного человека. Бесчестно честному человеку смотреть, как бьют ребенка, и не остановить такое дело.

— Да он сын тирана!

— Да ведь он ребенок!.. Ребенок не участвовал в преступлениях отца; ребенок этот ни в чем не виноват и потому его не следует наказывать.

— А по-моему, мне его дали для того, чтобы я делал из него что мне угодно. Я хочу, чтобы он пел песню про поспожу Вето, и он будет петь.

— Но, жалкий человек, подумай, что госпожа Вето — мать этого мальчика, неужели ты захочешь, чтобы твоего сына заставили петь, что ты каналья?

— Разве я каналья? — прорычал Симон. — Ах ты аристократ проклятый!

— Нельзя ли без ругательств! — сказал Лорен. — Ведь я не Капет, и меня насильно петь не заставишь.

— Прикажу арестовать тебя...

— Арестовать, в самом деле? Попробуй-ка посадить под арест, меня, Фермопила.

— Хорошо, хорошо, посмотрим, чья возьмет... Эй, Капет, подними колодку и дошивай башмак или, черт возьми, берегись!..

Лорен страшно побледнел, стиснул зубы, сжал кулаки, шагнул вперед и сказал:

— А я говорю, что он не поднимет твою колодку, говорю, что он дошьет башмак. Слышишь, мерзавец? А! На тебе висит длинная сабля, но я боюсь ее так же, как и тебя самого! Попробуй, обнажи ее!

— Будь ты проклят! — закричал Симон, побледнев от бешенства.

В эту минуту во дворе показались две женщины; одна из них держала бумагу и подошла к часовому.

— Сержант, — закричал часовой, — вот дочь Тизона пришла повидаться с матерью!

— Тампльский совет позволил, пропусти, — сказал Лорен, не желая повернуть голову, чтобы Симон не воспользовался этим движением и не прибил мальчика.

Часовой пропустил женщин; но едва поднялись на четвертую ступеньку по мрачной лестнице, как встретили Мориса Лендэ; он шел во двор.

Наступила ночь, так что было почти невозможно различить черты их лиц

Морис остановил их.

— Кто вы, граждане? — спросил он. — И что вам надо?

— Я София Тизон, — отвечала одна из женщин. — Мне разрешили увидиться с матерью, и я ради этого пришла сюда.

— Да, — сказал Морис, — но позволено тебе одной, гражданка.

— Я взяла с собой приятельницу, чтобы не быть одной среди солдат.

— Это прекрасно; но приятельница не пойдет с тобой.

— Как вам угодно, гражданин, — сказала София Тизон, пожимая руку своей приятельнице, которая, прижавшись к стене, казалось, была поражена удивлением и ужасом.

— Граждане часовые, — закричал Морис, приподняв голову и обращаясь к караульным, которые расставлены были на всех этажах, — пропустите гражданку Тизон; но приятельница ее не может с ней пройти. Она подождет на лестнице. Смотрите, чтобы ее не обидели.

— Слушаем, гражданин, — отвечали часовые.

— Ступайте, — сказал Морис.

Обе женщины прошли.

Морис спустился по четырем или пяти остальным ступеням и вышел во двор.

— Что тут такое, — сказал он национальным гвардейцам, — и откуда этот шум? Крики ребенка слышны даже в передней арестанток.

— А то, — сказал Симон, который привыл уже к муниципалам и решил, что Морис пришел к нему на помощь, — а то, что этот изменник, этот аристократ, этот преждебывший* не дает мне бить Капета.

И он указал кулаком на Лорена.

— Да, черт возьми, я не позволяю ему это делать, — сказал Лорен. — А если ты еще раз осмелишься назвать меня изменником, аристократом или преждебывшим, то я проткну тебя саблей насквозь.

— Угрозы? — вскричал Симон. — Караул! Караул!

— Я караульный, — сказал Лорен, — поэтому не зови меня. Если я только подойду к тебе, то уничтожу.

— Ко мне, гражданин муниципал, ко мне! — закричал Симон, сильно испугавшийся Лорена.

— Сержант прав, — хладнокровно отвечал муниципал, которого Симон призвал к себе на помощь. — За что ты бьешь ребенка?

* Преждебывший, прежний (ci-devant) — так называли тогда аристократов, в ознаменование того, что аристократия отжила свой век. — Прим. перев.

— А понимаешь ли ты, за что он его бьет, Морис? За то, что ребенок не хочет петь «мадам Вето», за то, что сын не хочет оскорблять свою мать.

— Мерзавец! — сказал Морис.

— И ты так же! — отвечал Симон. — Да я, стало быть, окружен изменниками?

— Ах, мошенник, — сказал муниципал, схватив Симона за горло и вырвав у него плетку, — подумай только доказать, что Морис Лендэ изменник! И он изо всей силы ударил чеботаря плеткой по плечу.

— Благодарю вас, сударь, — сказал ребенок, смотревший на эту сцену, — но ведь он потом выместит зло на мне.

— Поди сюда, Капет, — сказал Лорен, — поди, мое дитя. Если он еще раз тронет тебя, призови на помощь, и его накажут, этого палача. Ну, теперь ступай, маленький Капет, ступай себе.

— Зачем вы называете меня Капетом, вы, который покровительствуете мне? — сказал ребенок. — Ведь вы очень хорошо знаете, что Капет не мое имя.

— Разве это не твое имя? — сказал Лорен. — Но как же тебя зовут?

— Меня зовут Людовиком-Карлом Бурбоном. Капет имя одного из моих предков. Я знаю историю Франции, меня учил ей мой отец.

— А ты хочешь учить ребенка тачать подошвы, ребенка, которого король учил истории Франции! — воскликнул Лорен. — Полно!

— О, будь спокоен, — сказал Морис, обращаясь к ребенку, — я представляю рапорт.

— Я также, — прибавил Симон. — Я скажу, между прочим, что вместо одной женщины, получившей разрешение войти в башню, вы пропустили двух.

В эту минуту в самом деле из замка выходили две женщины. Морис подбежал к ним.

— Ну, что, гражданка, — сказал он, обращаясь к той, которая стояла ближе к нему, — виделась с матерью?

София Тизон прошла в ту же минуту между муниципалом и своей подругой.

— Да, гражданин, благодарю, — сказала она.

Морису хотелось взглянуть на подругу девушки или хоть услышать ее голос; но она была закутана в свою мантилью и, как видно, решила ни слова не говорить ему; даже показалось, будто она дрожит.

Этот страх возбудил подозрение в Морисе.

Он поспешно поднялся по лестнице и, войдя в первую комнату, увидел сквозь стеклянную дверь, что королева прятала в карман нечто вроде записки.

— Ого, — сказал он, — уж не подвели ли меня?

Он позвал своего товарища.

— Гражданин Агрикола, — сказал он — войди к Марии-Антуанетте и не спускай с нее глаз.

— Э, разве?..

— Войди, говорю тебе, не теряя ни минуты, ни секунды.

Муниципал вошел к королеве.

— Позови жену Тизона, — сказал он одному из стражей национальной гвардии.

Через пять минут жена Тизона вбежала с веселым лицом.

— Я видела дочь.

— Где? — спросил Морис.

— Вот здесь, в передней.

— Хорошо. А дочь твоя не просила, чтобы ты ей дала возможность взглянуть на королеву?

— Нет!

— Она не входила к ней?

— Нет.

— А пока ты разговаривала с дочерью, никто не выходил из комнаты арестанток?

— Откуда мне знать?.. Я смотрела на дочь, которую не видела целых три месяца.

— Вспомни хорошенько...

— Ах, да, кажется... припоминаю.

— Что!..

— Молодая девушка выходила.

— Мария-Тереза?

— Да.

— И разговаривала с твоей дочерью?

— Нет.

— Твоя дочь ничего ей не передавала?

— Нет.

— Она ничего с полу не поднимала?

— Кто? Моя дочь?

— Нет, дочь Марии-Антуанетты?

— Нет, поднимала платок.

— Ах, несчастная! — вскрикнул Морис.

И он бросился к веревке колокола и сильно его потряс. Это был вестовой колокол.

XI. ЗАПИСКА

Вбежали два дежурных муниципала, за ними следовал отряд из караула. Двери были заперты, у каждого входа поставили по два часовых.

— Что вам угодно, сударь? — спросила королева у вошедшего в ее комнату Мориса. — Я только что хотела лечь в постель, как минут пять назад гражданин муниципал (и королева указала на Агриколу) вдруг бросился в эту комнату, не сказав, что ему угодно.

— Сударыня, — сказал Морис, поклонившись, — не товарищу моему нужны вы, а мне.

— Вам, сударь? — спросила Мария-Антуанетта, глядя на Мориса, вежливое обхождение которого внушало ей некоторую признательность. — А что вам угодно?

— Чтобы вы изволили отдать записку, которую спрятали в ту минуту, как я вошел.

Старшая дочь короля и принцесса Елизавета вздрогнули. Королева очень побледнела.

— Вы ошибаетесь, сударь, — сказала она, — я ничего не прятала.
— Врешь, австриячка! — вскрикнул Агрикола.
Морис живо положил руку на плечо своего сослуживца.
— Постой, товарищ, — сказал он, — дай мне поговорить с гражданкой.
Я немного разбираюсь в судейских делах.
— Так действуй. Но, черт возьми, не щади ее!
— Вы спрятали записку, гражданка, — строго произнес Морис. — Надо отдать нам эту записку.
— Да какую записку?
— Ту, которую принесла вам дочь Тизона и которую, гражданка, дочь ваша (Морис указал на юную принцессу) подняла со своим носовым платком. Все три женщины с испугом взглянули друг на друга.
— Да это хуже всякой тирании, сударь, — произнесла королева. — Мы женщины, женщины!
— Не будем смешивать, — твердо сказал Морис. — Мы не судьи, не палачи, мы надсмотрщики, то есть ваши же сограждане, которым поручен надзор за вами. Нам дано приказание, нарушить его — значит изменить. Гражданка, пожалуйста, отдайте спрятанную вами записку.
— Господа, — с важностью отвечала королева, — если вы надсмотрщики, ищите и не давайте нам спать эту ночь, как и всегда..
— Избави нас бог поднять руку на женщин. Я пошлю доложить Коммуне, и мы дождемся ее приказаний: но только вы не ляжете в постель, а уснете в креслах, если вам угодно, а мы вас будем стеречь... Если на то пошло, начнем обыск.
— Что тут такое? — спросила жена Тизона, сунув в дверь свою голову истукана.
— А то, гражданка, что ты, подав руку измене, лишилась навсегда права видеть свою дочь.
— Видеть мою дочь!.. Что ты говоришь, гражданин? — спросила Тизон, еще не совсем понимая, почему не увидит более своей дочери.
— Я говорю, что дочь твоя приходила сюда не для свидания с тобой, а чтобы доставить записку гражданке Капет, и что она больше не вернется сюда.
— Но если ее не пустят сюда, так я ее не увижу! Нам запрещено выходить.
— На этот раз пеняй только на себя, ты сама виновата, — сказал Морис.
— О, — проворчала несчастная мать, — я виновата! Что ты говоришь, я виновата! Я отвечаю тебе, что ничего не было. О, если бы я только была уверена, что случилось что-нибудь, горе тебе, Антуанетта, ты мне за это дорого заплатишь!
— Не угрожай никому, — сказал Морис. — Лучше кротостью добейся того, что мы требуем; ты женщина и гражданка, Антуанетта, и как мать, надеюсь, сжалишься над матерью. Завтра возьмут твою дочь: завтра посадят ее в тюрьму... а там, ежели откроется что-нибудь, а ты знаешь, если захотят, так всегда откроют, твоя дочь пропала и ее подруга тоже.
Тизон, слушавшая Мориса с возрастающим ужасом, повернула мутный взгляд на королеву.
— Ты слышишь, Антуанетта? Моя дочь!.. Ты будешь причиной гибели моей дочери!

Королева, в свою очередь, казалась смущенной не от угроз, которые искрились в глазах ее тюремщицы, но от отчаяния, которое в них можно было прочесть.

— Подойдите сюда, мадам Тизон, — сказала она, — мне надо с вами поговорить.

— Ну нет! Нежности в сторону! — вскричал товарищ Мориса. — Мы здесь не лишние, черт возьми!.. При муниципалах, всегда все при муниципалах.

— Оставь их, гражданин Агрикола, — сказал Морис, наклонясь к уху этого человека, — что нам за дело, каким путем дойдет к нам истина.

— Ты прав, гражданин Морис, но...

— Выйдем за стеклянную дверь, гражданин Агрикола. Послушайте меня. Станем к ней спиной. Я уверен, что то лицо, которому мы окажем эту снисходительность, не заставит нас раскаиваться.

Королева слышала эти слова, умышленно сказанные. Она бросила молодому человеку признательный взгляд. Морис беспечно повернул голову и прошел за стеклянную дверь. Агрикола последовал за ним.

— Видел эту женщину? — сказал он Агриколе. — Она преступница, но она высокой и дивной души.

— Черт побери, как ты лихо говоришь, гражданин Морис! — отвечал Агрикола. — Любо послушать тебя и твоего друга Лорена. — А что, ведь это ты сказал какие-то стихи?

Морис улыбнулся.

В течение этого разговора сцена, которую предвидел Морис, происходила по ту сторону стеклянной двери.

Жена Тизона подошла к королеве.

— Мадам Тизон, — сказала ей последняя, — ваше отчаяние раздирает мне душу. Я не хочу лишать вас вашего детища, это слишком тяжело. Но подумайте, исполнив требование этих людей, ваша дочь не пострадает ли также?

— Делайте, что вам велят! — вскричала женщина.

— Сначала узнайте, в чем дело.

— В чем дело? — спросила тюремщица с диким любопытством.

— Ваша дочь пришла с подругой.

— Да, с такой же работницей, как она; ей не хотелось прийти одной, опасаясь солдат.

— Эта подруга отдала вашей дочери записку, которую та обронила; Мария, проходя, подняла ее. Эта бумажка, без сомнения, ничтожна, но люди неблагонамеренные могут истолковать ее по-своему. Не сказал ли ваш муниципал, что ежели захотят что найти, так отыщут?

— Дальше что? Дальше?

— Вот и все. Вы требуете, чтобы я отдала эту бумажку; вы хотите, чтобы я принесла в жертву друга. Но вместе с тем не лишу ли я вас, может быть, вашей дочери?

— Делайте, что вам велят! — кричала женщина. — Делайте, что вам велят!

— Но эта бумажка подвергает опасности вашу дочь, — сказала королева, — поймите же это!

— Моя дочь такая же настоящая патриотка, как я! — вскричала

озлобленная женщина. — Благодаря богу, Тизоны довольно известны!
Делайте, что вам велят!

— Боже мой, — сказала королева, — как бы я желала вас убедить.

— Мою дочь! Отдайте мне мою дочь! — перебила Тизон, топая ногами. — Отдай записку, Антуанетта, отдай!

— Вот она, сударыня!

И королева протянула несчастному созданию записку, которую та радостно приподняла над головой, крича:

— Сюда, сюда! Граждане муниципалы! Записка в моих руках. Возьмите ее и возвратите мне мою дочь!

— Вы отдаете в жертву наших друзей, сестрица? — сказала принцесса Елизавета.

— Нет, сестрица, — печально отвечала королева, — я приношу в жертву только нас. Записка никому не может повредить.

На крик Тизон Морис и его товарищ подошли к ней, и она в ту же минуту протянула им записку. Они развернули ее.

«На востоке еще сторожит друг».

Морис, едва взглянув на записку, вздрогнул. Ему знаком был этот почерк.

«О, боже мой, неужели это рука Женевьевы! Нет, это невозможно. Я безумец! Нет сомнения, что сходство большое, но что может быть общего между Женевьевой и королевой?»

Он повернулся и увидел, что Мария-Антуанетта смотрит на него. Что же касается Тизон, то в ожидании своей участи она пожирала Мориса глазами.

— Ты совершила доброе дело, — сказал он Тизон. Потом обратился к королеве. — А вы, гражданка, дело похвальное!

— Ежели так, сударь, — сказала Мария-Антуанетта, — последуйте моему примеру — сожгите эту записку, и вы совершите благое дело.

— Ты шутишь, австриячка! — сказал Агрикола. — Сжечь записку, которая доставит нам, может быть, возможность накрыть целое гнездо аристократов! Нет, черт возьми, это было бы слишком глупо!

— А что, в самом деле, сожгите ее, — сказала жена Тизона. — Это может повредить моей дочери.

— Разумеется, твоей дочери и другим еще, — сказал Агрикола, взяв из рук Мориса записку, которую тот, возможно, и сжег бы, если был бы один.

Минут десять спустя записка уже лежала на присутственном столе Коммуны. Ее в ту же минуту прочли, и начались разные толки.

— «На востоке еще сторожит друг», — произнес голос. — Что за дьявольщина! Какой тут смысл?

— Понятно, — отозвался какой-то географ. — На востоке. Это ясно. Восток называется также Лориан. А Лориан небольшой городок в Бретани, лежащий между Ванном и Кемпером. Черт побери, следовало бы сжечь город, если правда, что в нем есть аристократы, которые желают еще вызволить австриячку.

— Это тем более опасно, — сказал другой, — что Лориан приморский город — можно сообщаться с Англией.

— Я предлагаю, — сказал третий, — отправить в Лориан комиссию и там произвести розыск.

Меньшая часть улыбнулась этому предложению, но большинство воспламенилось, решили послать комиссию в Лориан для наблюдения за аристократами.

Морис был извещен о постановлении.

«Я подозреваю, где восток, о котором говорится, — подумал Морис. — Но уж, конечно, не в Бретани».

На другой день королева, которая, как мы уже сказали, не спускалась в сад, чтоб не проходить мимо комнат, где был заключен ее супруг, просила позволения взойти с дочерью и принцессой Елизаветой на башню подышать воздухом.

Просьба ее в ту же минуту была исполнена; но за ней последовал Морис, и, остановившись за надстройкой вроде будочки, к которой примыкала лестница, безмолвно дождался объяснения записки, перехваченной накануне.

Сначала королева прохаживалась без цели с принцессой Елизаветой и дочерью; потом, отстав, она остановилась, обернулась на восток и стала внимательно смотреть на один дом, в окнах которого показалось несколько лиц. Чья-то рука держала белый платок.

Морис вынул из кармана подзорную трубу, но, пока ее наводил, королева сделала движение, как бы увещевая любопытных отойти от окна. Морис успел приметить бледного белокурого мужчину, поклон которого был почтителен до унижения.

За этим молодым человеком — ибо он казался не старше двадцати пяти — двадцати шести лет — стояла женщина, наполовину им заслоненная. Морис навел на нее подзорную трубу, ему показалось, что это была Женеьева, сделавшая движение, которое ее напоминало. В ту же минуту женщина, также державшая подзорную трубу, поспешно отступила от окна, увлекая за собой молодого человека. Была ли это в самом деле Женеьева? Узнала ли она Мориса? Отошла ли эта чета любопытных по одному только предупреждению королевы?

Морис постоял несколько минут в ожидании, не покажутся ли снова у окна молодой человек и молодая женщина. Но видя, что окно пустое, он поручил строжайшее наблюдение товарищу своему Агриколе; сам же поспешно сошел с лестницы, побежал на улицу Портфуан и остановился на углу, предполагая, что те люди выйдут из дома. Ожидание было напрасным, никто не показался.

Тогда, не сумев преодолеть подозрение, которое щемило ему сердце с той минуты, как подруга дочери Тизон упорно закрывалась и безмолствовала, Морис бросился на старую улицу Сен-Жак и прибежал туда, волнуемый самыми страшными догадками.

Когда он вошел, Женеьева в белом пеньюаре сидела в жасминовой беседке, куда ей обычно подавали завтрак. Она сказала привычное приветствие Морису и пригласила выпить с нею чашку шоколада.

Вскоре вошел Диксмер, который выказал особенную радость видеть Мориса в столь неожиданное время дня. И пока Морис не взял еще чашку шоколада, которую ему предложили, кожевник, гордившийся своей работой и успешной торговлей, упросил друга взглянуть на мастерские; Морис согласился.

— Узнайте, любезный Морис, — сказал Диксмер, ухватив молодого человека под руку и увлекая его, — узнайте одну очень важную новость.

— Политическую? — спросил Морис, погруженный в свои мысли.

— Э, любезный гражданин, — отвечал Диксмер улыбаясь, — когда нашему брату заниматься политикой?.. Нет, новость относительно промышленности. Благодаря богу почтенный друг мой Моран, который, как вам известно, знаменитейшей химик, нашел секрет, как делать алый сафьян, такой, которого до сих пор еще не выдвали, то есть невыцветающий. Этот способ крашения хочу показать вам. Притом вы увидите Морана за работой. Вот это настоящий художник!

Морис не постигал, как можно попасть в художники, занимаясь окраской сафьяна. Несмотря на это, он принял предложение, последовал за Диксмером, прошел по мастерским и, войдя в отдельную рабочую комнату, увидел гражданина Морана за делом; на нем были очки с зелеными стеклами, рабочая куртка: он казался как нельзя более увлеченным процессом превращения в алый цвет грязно-белой бараньей шкуры. Рукава рубашки были засучены по локоть, а руки в пунцовой краске. Он всем сердцем и всей душой, как говорил Диксмер, был погружен в работу.

Моран кивнул молодому человеку.

— Ну, гражданин Моран, — спросил Диксмер, — что мы скажем?

— А то, что мы выручим сто тысяч ливров в год только благодаря этому способу крашения, — сказал Моран. — Но вот уже более недели, как я не сплю. Мне сожгло глаза кислотами.

Морис оставил Диксмера с Мораном и отправился к Женеьеве, думая про себя: «Надо сознаться, что можно одуреть от ремесла муниципала. Пробыв всего неделю в Тампле, сочтешь себя за аристократа, и сам выдашь себя как изменника. Добрый Диксмер! Благородный Моран! Очаровательная Женеьева! И я посмел их подозревать!»

Женеьева дождалась Мориса с кроткой улыбкой, чтобы не оставить в нем даже следов подозрения, которые у него возникли. Она была, как всегда, мила, приветлива и очаровательна.

Истинное существование Мориса продолжалось лишь в те часы, которые он проводил у Женеьевы. Остальное время его пожирала лихорадка, которую по всей справедливости можно бы назвать лихорадкой 93-го года, разделившей Париж на два лагеря и превратившей жизнь в ежечасную борьбу.

Около двенадцати часов Морис должен был, однако, оставить Женеьеву и возвратиться в Тамбль.

В конце улицы Сент-Авуа он встретил Лорена, сменившегося с караула, тот, отделясь от своего отряда, подошел к Морису, на лице которого отражалось все еще счастье, которое вливалось в его сердце присутствием Женеьевы.

— А, — сказал Лорен, дружески пожав руку своего друга.

Тревоги сердца ты не скроешь,
Твои желания известны;
Безмолвен ты, а все вздыхаешь,
И наяву ты видишь сны!

Морис сунул руку в карман, чтобы достать ключ. Это было придуманное

им средство свистом избавлять себя от поэтического вдохновения своего друга. Но тот, заметив это движение, удалился со смехом.

— Кстати, Морис, — сказал Лорен, отойдя на несколько шагов, — ты еще три дня будешь держать караул в Тампле! Поручаю тебе маленького Капета.

XII. ЛЮБОВЬ

И точно, Морис был очень счастлив и одновременно очень несчастлив с некоторых пор. Так всегда бывает в начале сильной страсти.

Утренние заседания в своей секции, вечерние посещения старой улицы Сен-Жак, случайные явления в клубе Фермопилов заполняли все дни.

Он сознавал, что видеть Женевьеву каждый вечер — то же, что питать любовь безо всякой надежды.

Женевьева была одна из тех женщин, робких и на первый взгляд уступчивых, которые со всей искренностью протягивают руку дружбе и с невинной доверчивостью сестры и девы приближают чело к устам, но слова любви кажутся для них насмешкой, а плотское желание преступлением.

Если бы в порыве чистейшего вдохновения несравненная кисть Рафаэля решила изобразить на полотне Мадонну с улыбкой на устах, со светлым взором, отражающим небо, дивный ученик Перуджино мог бы взять за образец черты Женевьевы.

Среди цветов, полных свежести и благоухания, чуждая занятиям своего мужа и чуждая даже самому мужу Женевьева всякий раз, как видел ее Морис, представлялась ему живой загадкой, смысла которой он не мог доискаться и не смел спросить.

Однажды вечером, когда он, как обычно, беседовал с нею наедине и оба они сидели у того окна, в которое он влезал когда-то ночью с такой быстротой и шумом, когда благоухание распустившейся сирени разносилось по теплему воздуху после роскошного заката солнца, Морис после продолжительного молчаливого наблюдения за благоговейным и внимательным взглядом Женевьевы, пристально взиравшей на блестящую серебристую звездочку в лазури неба, отважился спросить ее, как это случилось, что она так молода, а муж ее уже миновал средние лета жизни, что она так образованна, в то время как все указывало в муже на его грубое воспитание и низкое происхождение; что она так исполнена поэзии, наконец, а ее муж занимается тщательным взвешиванием, растягиванием и окраской кож на своей фабрике?

— Как могли попасть к кожевнику, — сказал Морис, — эта арфа, это фортепиано, эти рисунки, над которыми вы трудились? К чему, наконец, весь этот аристократизм, который я ненавижу у других и нахожу уместным у вас? Женевьева устремила на Мориса взгляд, полный кротости.

— Благодарю вас, — сказала она, — за этот вопрос; он доказывает, что вы очень деликатный человек и что вы никогда обо мне ни у кого не спрашивались.

— Никогда, сударня, — сказал Морис. — У меня есть преданный друг, готовый умереть за меня, сто товарищей, которые пойдут всюду, куда я их поведу, но из всех этих сердец, когда дело идет о женщине, особенно о такой, как Женевьева, я знаю лишь одно, на которое могу положиться, — это мое собственное.

— Благодарю вас, Морис, — сказала молодая женщина. — В таком случае я сама расскажу вам то, что вы желаете знать.

— Ваше происхождение прежде всего? — спросил Морис. — Я вас знал только под именем вашего мужа.

Женевьева почувствовала в этом вопросе весь эгоизм любви и улыбнулась.

— Женевьева дю Трельи! — сказала она.

Морис повторил.

— Женевьева дю Трельи?

— Родители мои, — продолжала Женевьева, — разорились в последнюю войну в Америке, в которой отец мой и старший брат приняли участие.

— Оба дворяне? — спросил Морис.

— Нет, нет, — покраснев, отвечала Женевьева.

— Однако вы сказали мне, что до замужества вашего вы назывались Женевьева дю Трельи.

— Без частицы*, гражданин Морис. Мои родители были очень богаты, но не принадлежали к дворянскому роду.

— Вы не доверяете мне, — сказал молодой человек.

— О, совсем нет, — прервала Женевьева. — В Америке отец мой подружился с отцом гражданина Морана, а Диксмер был поверенным в делах Морана. Видя состояние наше расстроенным и зная, что у гражданина Диксмера было независимое положение, гражданин Моран представил его моему отцу, который, в свою очередь, познакомил его со мной. Я догадывалась, что тут устраивается брак; я поняла, что это желание моих родителей. Сердце мое еще не было занято ни тогда, ни прежде, и я согласилась. Уже три года как я замужем за Диксмером, и должна сказать, все это время муж мой до того был добр, обходителен со мной, что, невзирая на эту разницу в возрасте и вкусах, которую вы заметили, я никогда не ощутила минуты сожаления.

— Но когда вы вышли замуж за гражданина Диксмера, — сказал Морис, — он еще не был хозяином этого заведения?

— Нет, мы жили тогда на Блуа. После 10 августа Диксмер купил этот дом вместе с мастерскими, чтоб работники меня не беспокоили и чтобы избавить меня даже от созерцания предметов, которые могли бы оскорбить, как вы выражаетесь, Морис, мое аристократическое зрение, он отвел мне этот павильон. В нем я живу одна уединенно, согласно моим вкусам, моим желаниям и счастлива, когда такой друг, как вы, Морис, навещаете меня, чтобы рассеять или разделить мои мечтания.

И Женевьева протянула Морису руку, которую он с жаром поцеловал.

Женевьева слегка покраснела

— Теперь, друг мой, — сказала она, отнимая руку, — вы знаете, как я стала женой Диксмера.

— Да, — ответил Морис, всматриваясь в Женевьеву, — но вы не сказали мне, как гражданин Моран сделался товарищем гражданина Диксмера?

— О, очень просто, — отвечала Женевьева. — Диксмер, как я уже

* Частица «де» и «дю» перед фамилией французов, как «фон» у немцев, указывает на дворянское происхождение

сказывала вам, имел состояние, но недостаточное, чтобы одному поддерживать такое значительное производство, какое ведется на этой фабрике. Сын его покровителя Морана, друга отца моего, дал половину капитала, и, хорошо зная химию, сам увлекся этой промышленностью и той работой, которую вы видели, и благодаря ему торговля Диксмера, взявшего на себя всю материальную часть этого дела, приняла огромный оборот.

— Но, — сказал Морис, — и гражданин Моран также в числе ваших друзей, не правда ли, сударыня?

— Моран человек благородной души и одарен возвышенными чувствами, которые когда-либо встречались на земле, — серьезно отвечала Женестьева.

— Если единственное доказательство, — сказал Морис, несколько обиженный той оценкой, которую молодая женщина дала товарищу ее мужа, — в том, что он помог господину Диксмеру приобрести эти мастерские и изобрел новое средство окраски сафьяна, то позвольте заметить, что похвала ваша слишком преувеличена.

— Он дал мне другие доказательства, сударь, — сказала Женестьева.

— Но он еще молод, не правда ли? — спросил Морис. — Хотя трудно за очками определить, сколько ему лет.

— Ему 35 лет.

— Давно вы знаете друг друга?

— С детства.

Морис закурил губу, он всегда подозревал Морана в любви к Женестьеве.

— Так, — сказал он, — это объясняет его фамильярность с вами.

— Соблюдаемую в границах, в которых вы его всегда видели, сударь, — с улыбкой отвечала Женестьева. — Мне кажется, что фамильярность эта свойственна другу и не нуждается в объяснении.

— Ах, извините меня, сударыня, вы знаете, что всем сильным страстям сопутствует ревность и дружба моя была завистлива к той, которой вы одариваете гражданина Морана.

Он замолчал. Женестьева тоже хранила молчание. В этот день о Моране больше не вспоминали, и Морис ушел от Женестьевы влюбленнее, чем когда-либо, что доказывалось его ревностью.

Притом, как бы ни был ослеплен молодой человек, какая бы ни была повязка на глазах его, какое бы смущение ни вселила ему страсть в сердце, в рассказах Женестьевы заметно было столько пропусков, запинок, утаек, на которые в ту минуту он не обратил внимания, но которые впоследствии пришли ему на ум и страстно мучили. К тому же его не могло не беспокоить, что Моран был волен разговаривать с Женестьевой так часто и так продолжительно, как ему хотелось, а также и уединение, в котором оба они оставались всякий раз по вечерам. Скажем более, Морис, став ежедневным гостем, не только был совершенно свободен с Женестьевой, которая охранялась ангельской чистотой своей от всех покушений молодого человека, но он даже сопровождал ее в небольших отлучках, которые молодая женщина вынуждена была делать иногда из дома.

Хотя в этом доме с ним общались по-дружески, его все же удивляло то, что чем больше искал он (правда, может быть, и для того, чтобы проще было наблюдать за чувствами, которые он подозревал у Морана и Женестьевы) близкого знакомства с Мораном, который умом своим, несмотря на

предубеждение Мориса, нравился ему больше других, этот странный человек, казалось, сам не хотел сближаться с Морисом. И он горько жаловался на это Женевьеве, не сомневаясь, что Моран угадал в нем соперника и что ревность заставляет его удалиться от него.

— Гражданин Моран ненавидит меня, — сказал однажды он Женевьеве.

— Вас, — отвечала Женевьева, смотря на него с удивлением, — вас ненавидит Моран?

— Да, я в этом уверен.

— А за что ему вас ненавидеть?

— Угодно ли, чтобы я сказал, за что? — вскричал Морис.

— Разумеется, — ответила Женевьева.

— Извольте! За то, что...

Морис остановился. Он чуть было не сказал: за то, что я вас люблю.

— Я не могу вам сказать, за что, — закончил Морис, покраснев.

Свирепый республиканец был робок рядом с Женевьевой и смущался, как молодая девушка.

Женевьева улыбнулась.

— Скажите лучше, — продолжала она, — что между вами нет взаимной симпатии, и тогда я, может быть, поверю вам. Вы от природы пылки, одарены блестящим умом, принадлежите свету. Моран торговец и химик. Он робок и скромн... Эти робость и скромность не позволяют ему сделать первый шаг.

— Да кто же просит его делать первый шаг ко мне? Я их сделал пятьдесят. Он ни одного навстречу. Нет, — продолжал Морис, покачивая головой, — нет, это, наверное, не то.

— Так что же?

На другой день после этого объяснения с Женевьевой он прибыл к ней в два часа пополудни и застал ее готовой выехать.

— А, добро пожаловать, — сказала Женевьева. — Вы не откажетесь быть моим кавалером?

— Куда вы едете? — спросил Морис.

— Я еду в Отейль. Погода прекрасная, мне хотелось бы пройтись. Карета отвезет нас за заставу, где и будет дожидаться, а потом мы пешком проберемся до Отейля, и когда я сделаю все, что мне нужно, мы возвратимся в ней домой.

— О, — сказал восхищенный Морис, — какое очаровательное препровождение дня вы предлагаете мне!

Молодые люди отправились. Проехав Пасси, они вышли из кареты на опушке леса и продолжали прогулку пешком.

Дойдя до Отейля, Женевьева остановилась.

— Подождите меня в конце парка, я возвращусь к вам, когда кончу свои дела.

— К кому вы идете? — спросил Морис.

— К одной приятельнице.

— К которой я не могу вас проводить?

Женевьева покачала головой и улыбнулась.

— Невозможно, — сказала она.

Морис закусил губы.

— Хорошо, — сказал он, — я подожду.

— Что с вами? — спросила Женевьева.

— Ничего. Долго ли вы там будете?

— Если бы я знала, что это может вас расстроить, Морис, что вы сегодня заняты, — сказала Женестьева, — я бы не побеспокоила вас просьбой оказать мне услугу и поехать со мной. Тогда я попросила бы...

— Гражданина Морана, — живо прервал Морис.

— Нет, вы знаете, что гражданин Моран уехал в Рамбулье на завод и только вечером должен возвратиться домой.

— Так вот почему дано мне преимущество!

— Морис, — кротко сказала Женестьева, — я не могу заставить ждать ту особу, которая назначила мне свидание. Если вам затруднительно опять проводить меня, возвратитесь в Париж, только пришлите мне карету.

— Нет, нет, сударыня, — живо сказал Морис, — я к вашим услугам.

И он поклонился Женестьеве, которая вздохнула и пошла в Отейль.

Морис отправился на назначенное место свидания и стал прохаживаться взад и вперед, сбивая хлыстиком верхушки трав, цветов, которые попадались ему; впрочем, избранное им пространство для прогулки было очень ограниченное. Морис проходил несколько шагов и возвращался назад.

Мориса терзало желание знать, любит ли его Женестьева или нет? Она вела себя с молодым человеком как сестра, как друг, но он чувствовал, что этого уже недостаточно. Он ее любил другой любовью. Она сделалась постоянной мыслью его в течение дня, сновидением ночью. Было время, что он одного только желал — увидеть Женестьеву; теперь этого было мало, ему нужно было, чтобы Женестьева любила его.

Женестьевы не было целый час, который показался ему вечностью. Потом он увидел, как она приближается к нему с улыбкой. Но Морис пошел навстречу, насунив брови. Так создано бедное сердце наше; оно старается найти себе горе даже среди счастья.

Женестьева схватила с улыбкой руку Мориса.

— Вот я и вернулась, — сказала она. — Виновата, друг мой, что я заставила вас прождать.

Морис отвечал поклоном головы, и оба они вошли в густую, тенистую, широкую аллею, которая должна была привести их к большой дороге.

Это было в один из тех очаровательных весенних вечеров, когда всякое растение посылает свое благоухание к небу, когда всякая птичка, неподвижно сидящая на ветке или порхающая по кустарникам, посылает свой гимн любви богу; один из тех вечеров, наконец, которому, кажется, предназначено остаться в воспоминаниях.

Морис был молчалив, Женестьева задумчива. Она обшипывала одной рукой цветы букета, который держала в другой, опираясь на руку своего кавалера.

— Что с вами? — вдруг спросил Морис. — И что так опечалило вас сегодня?

Женестьева могла бы ответить ему: мое счастье.

Она взглянула на него своим кротким и поэтическим взглядом.

— Но вы сами, — сказала она, — не печальнее ли обыкновенного?

— Да, — сказал Морис, — у меня есть причина быть печальным; я несчастлив, но вы...

— Вы несчастливы!

— Разумеется. Разве вы не замечаете иногда по дрожи в моем голосе, что я страдаю? Не кажется ли мне, когда я разговариваю с вами или с вашим мужем, что грудь моя как будто готова разорваться?

— Но чему приписываете вы эти страдания? — в замешательстве спросила Женеьева.

— Если бы я был мнительным, — с горьким смехом отвечал Морис, — то сказал бы, что у меня расстроены нервы.

— А теперь вы страдаете?

— Ужасно, — отвечал Морис.

— Поедем домой.

— Как! Уже, сударыня?

— Разумеется.

— Ах, и точно, — проговорил молодой человек, — я было забыл, что гражданин Моран вечером должен вернуться из Рамбулье, а теперь уже смеркается.

Женеьева взглянула на него с упреком.

— О, опять? — сказала она.

— Зачем же вы так расхваливали мне наемни гражданина Морана? — сказал Морис. — Сами виноваты.

— Давно ли запрещено говорить о людях, которых ценишь, о том, что думаешь о человеке, достойном уважения? — спросила Женеьева.

— Уж правда... Очень сильным должно быть уважение, которое заставляет вас так торопиться, как теперь, опасаясь, вероятно, опоздать на несколько минут.

— Вы сегодня решительно несправедливы, Морис. Разве не с вами провела я большую часть дня?

— Вы правы, я в самом деле слишком взыскателен, — пылко подхватил Морис. — Идемте повидаться с гражданином Мораном, идемте.

Досада охватила сердце Женеьевы.

— Да, — сказала она, — идемте повидаться с гражданином Мораном. Это такой друг, который никогда меня не огорчал.

— Такие друзья — сокровище, — сказал Морис, задыхаясь от ревности, — и я желал бы такого себе.

В эту минуту они вышли на большую дорогу. Горизонт заалел, солнце начинало садиться и бросало последние лучи свои на позолоченный купол Дома Инвалидов. Звездочка, первая и та самая, которая однажды вечером уже привлекла к себе внимание Женеьевы, заблестала во влажной лазури неба.

Женеьева с грустной покорностью оставила руку Мориса.

— Что вам так хочется помучить меня? — спросила она.

— А то, — сказал Морис, — что я не так искусен, как иные из моих знакомых, и не умею заставить себя полюбить.

— Морис! — вскрикнула Женеьева.

— О, сударыня, если он постоянно добр, постоянно ровного нрава, это потому, что он не страдает.

Женеьева снова положила беленькую ручку свою на мощную руку Мориса.

— Пожалуйста, — сказала она изнеможенным голосом, — не говорите более, не говорите.

— Почему же?

— Ваш голос терзает меня.

— Так все вам не нравится во мне, даже мой голос?

— Замолчите, умоляю вас.

— Слушаюсь вас, сударыня.

И пылкий юноша провел рукой по лицу, увлажненному холодным потом.

Женевьева видела, что он в самом деле страдает. Натуры вроде Мориса подчиняются неведомым страданиям.

— Вы друг мой, Морис, — сказала Женевьева, взглянув на него с очаровательным выражением. — Друг для меня неоценимый. Сделайте так, Морис, чтобы я не потеряла моего друга.

— О, вы недолго будете жалеть о нем! — вскричал Морис.

— Ошибаетесь, — сказала Женевьева, — я долго буду о вас сожалеть, всегда.

— Женевьева, Женевьева! — вскричал Морис. — Сжальтесь надо мной! Женевьева вздрогнула.

В первый раз Морис произнес это имя так горячо.

— Если так, — продолжал Морис, — и вы догадались, то дайте мне все досказать вам, Женевьева, хотя бы вы убили меня одним взглядом вашим... Я слишком долго молчал... Дайте мне высказать все, Женевьева.

— Я умоляла вас, сударь, — сказала молодая женщина, — именем нашей дружбы не говорить ни слова; умоляю вас если не для себя, то хоть ради меня: ни одного слова более, ради бога, ни одного слова!!

— Дружба, дружба! О, если такова дружба, какую вы питаете ко мне и к Морану, не хочу я вашей дружбы, Женевьева! Мне нужно более, нежели быть другом!

— Довольно, — сказала мадам Диксмер с величественным жестом. — Довольно, гражданин Лендэ. Вот наша карета. Не угодно ли вам отвезти меня к мужу?

Морис дрожал от лихорадки и волнения. Когда Женевьева, чтобы дойти до своего экипажа, который находился в нескольких шагах, положила свою руку на руку Мориса, молодому человеку показалась эта рука обжигающей, как пламя. Они сели в карету, проехали весь город, но ни тот, ни другая ни слова не произнесли.

Только всю дорогу Женевьева прижимала платок к глазам.

Когда она возвратилась домой, Диксмер был занят в своем кабинете; Моран, вернувшийся из Рамбулье, переодевался. Женевьева у входа в свою комнату протянула Морису руку и сказала:

— Прощайте, Морис, вы этого сами хотели.

Морис ничего не ответил, но, подойдя к камину, над которым висела миниатюра, изображавшая Женевьеву, снял, с жаром поцеловал, прижал к сердцу, снова повесил на место и вышел.

Морис не помнил, как добрался домой. Он шел по Парижу, ничего не видя, ничего не слыша; все, что случилось с ним, казалось сном, так что он не отдавал себе отчета ни в действиях, ни в словах, ни в чувствах.

Возвращение Мориса домой было каким-то беспорядочным бегством. Он разделся без помощи своего камердинера, ни слова не ответил кухарке, показавшей приготовленный для него ужин, потом, взяв письма, которые скопились на его столе за день, перечел их, не соображая, одно за другим. Туман ревности, опьянение рассудка еще не рассеялись.

В 10 часов Морис лег в постель, сделав это так же машинально, как и все, что совершал с той минуты, как расстался с Женевьевой.

Если бы в минуты хладнокровия Морису рассказали о подобном странном поведении кого-то другого, он бы решил, что тот человек, совершивший такой отчаянный поступок, не оправданный ни осторожностью, ни доверчивостью, безумен. Сам же почувствовал только жестокий удар, нанесенный Женевьевой по его надеждам, о которых он никогда не отдавал себе отчета и на которых, как ни были они неопределенны, основывались все его мечты о счастье.

Таким образом с Морисом случилось то, что всегда бывает в подобных случаях. Оглушенный полученным ударом, он как только почувствовал себя в постели, заснул или, лучше сказать, лежал до следующего дня как бы лишенным чувств.

Его разбудил стук слуги его, отворившего двери. Он вошел по обыкновению своему, чтобы растворить окна Морисовой спальни, выходявшие в сад, и чтобы принести цветы.

Цветы были очень популярны в 1793 году, и Морис очень любил их; но сегодня он даже не бросил взгляда на них и, полулежа, опустив отяжелевшую голову на руку, старался припомнить случившееся накануне.

Морис спрашивал себя и не мог объяснить причины своей тоски. Наплась одна — это ревность к Морану, но неудачен был выбор времени ревновать к человеку, когда тот был в Рамбулье, а он сам, счастливец, — с глазу на глаз с той женщиной, которую любит, среди окружающей его роскошной природы, пробудившейся в один из первых прекрасных дней весны.

Нельзя сказать, чтобы это было из-за подозрения к тому, что могло происходить в отейльском домике, куда он провожал Женевьеву и где она пробыла более часа. Нет, беспрепятственным мучением его жизни стала мысль, что Моран влюблен в Женевьеву. Странная фантазия, странное сочетание капризов! Никогда ни одно движение, ни один взгляд, ни одно слово Морана не давали повода допустить подобное предположение!

Голос камердинера вывел его из задумчивости.

— Гражданин, — сказал он, указывая на раскрытые письма, лежавшие на столе, — выбрали ли вы те, которые оставляете себе, или можно все сжечь? — Что сжечь? — спросил Морис.

— Да письма, которые гражданин прочел вчера перед тем, как лечь спать.

Морис не помнил, прочел ли хоть одно из них.

— Жги все, — сказал он.

— А вот сегодняшние, гражданин, — сказал слуга.

И он подал пачку писем Морису, а прочтенные им накануне бросил в камин.

Морис взял конверты, почувствовал пальцами толщу сургуча, и как будто почувдился знакомый запах.

Он стал перебирать письма и нашел одно, печать и почерк которого заставили его вздрогнуть.

Этот человек, столь мужественный перед лицом опасности, побледнел при одном запахе письма.

Слуга подошел, чтобы спросить, не случилось ли чего с ним, но Морис жестом приказал ему удалиться.

Морис вертел письмо и так и сяк, он предчувствовал, что в нем таится несчастье для него; он вздрогнул, как дрожат перед неизвестностью.

Однако он, собравшись с силами, вскрыл его и прочел следующее:

«Гражданин Морис!

Мы должны прервать связи, которые с вашей стороны стремятся выступить за пределы дружбы. Вы человек честный, и теперь, когда уже прошла ночь после происшедшего между нами вчера вечером, вы должны понять, что присутствие ваше сделалось невозможным в доме. Я полагаюсь на вас; придумайте какое вам угодно извинение перед моим мужем. По получении сегодня же вашего письма к Диксмеру я буду убеждена, что должна буду жалеть о друге, к несчастью, заблудшем, но которого все приличия общества не позволяют мне принимать.

Прощайте навсегда. Женевьева.

P.S. Податель письма дожидается ответа.

Морис позвонил, камердинер явился.

— Кто принес это письмо?

— Гражданин посыльный.

— Здесь ли он?

— Здесь.

Морис не издал вдоха, не поколебался. Вскочив с постели, он сел за конторку, взял первый попавшийся ему лист бумаги (это был печатный бланк его секции) и написал:

«Гражданин Диксмер!

Я вас любил, люблю и теперь, но видеться с вами более не могу».

Морис долго думал, какую бы найти причину, по которой он не может видеться с гражданином Диксмером, и только одна пришла на ум, такая в эту эпоху пришла бы на ум любому. Итак, он продолжал:

«Носятся слухи о вашей холодности к общественным интересам. Я не хочу осуждать вас, и вы не поручали мне защищать вас. Примите мои сожаления и останьтесь уверенным, что ваши тайны будут погребены в моем сердце».

Морис не хотел даже перечитать письмо, которое написал, как сказали мы, под влиянием первой пришедшей в голову мысли. Нельзя было усомниться в том действии, которое оно должно было произвести. Диксмер, примерный патриот, как мог убедиться Морис из бесед с ним, Диксмер будет раздосадован, получив такое письмо. Жена и гражданин Моран, без сомнения, будут убеждать его сохранить спокойствие, он ничего даже не ответит, и забвение, как черный покров, ляжет на все чары прошедшего, чтобы превратить его в грустное будущее. Морис подписался, запечатал письмо, отдал его слуге, и посыльный отправился.

После этого слабый вздох вырвался из груди республиканца; он взял перчатки, шляпу и отправился в отделение.

Бедняга Брут! Он надеялся обрести свой стоицизм в занятиях общественными делами.

А дела эти были ужасны: готовилось 31 мая. Террор, подобно бурному потоку, стремящемуся с самых высот Горы Конвента, старался смести преграду, которую пытались противопоставить ему жирондисты — эти дерзкие умеренные, осмелившиеся требовать возмездия за сентябрьскую резню и пытавшиеся бороться, чтобы спасти жизнь королю.

В то самое время, когда Морис работал с таким усердием, что лихорадочное состояние, от которого он хотел отделаться, охватило его мозг вместо сердца, посыльный явился на старую улицу Сен-Жак и поверг жителей известного дома в страх и изумление.

Пробежав письмо, Женеьева передала его Диксмеру.

Тот развернул его, прочел и сперва ничего не мог понять; потом он сообщил его содержание гражданину Морану, который склонил на руки свое белоснежное чело.

В том положении, в котором находились Диксмер, Моран и его товарищи, положении, совершенно неизвестном Морису, но понятном нашими читателями, письмо это в самом деле было громовым ударом.

— Честный ли он человек? — с беспокойством спросил Диксмер.

— Честный, — твердо ответил Моран.

— Ну, вот, — подхватил тот, который держался решительных мер, — теперь вы видите, как мы ошиблись, не убив его!

— Друг мой, — сказал Моран, — нашу борьбу против насилия мы могли запятнать преступлением. Что бы ни случилось, а мы хорошо сделали, что не обагрили наши руки кровью, и теперь, повторяю, я уверен, что Морис человек благородной и честной души.

— Да, но эта честная и благородная душа принадлежит восторженному республиканцу, и если только он заметил что-нибудь, может быть, он посчитает преступным не принести в жертву собственную честь, как говорят они, положить ее на жертвенник отгаизны.

— Неужели, — сказал Моран, — вы полагаете, что он что-нибудь знает?

— Разве вы не видите? Он упоминает о тайнах, которые навсегда останутся погребенными в его сердце.

— Эти тайны, очевидно, те самые, которые я повторил ему относительно нашей контрабанды, других тайн он не знает.

— Не подозревает ли он что-то в отейльском свидании? — сказал Моран. — Вы знаете, что он провожал вашу жену.

— Я сам убедил Женеьеву взять Мориса для безопасности.

— Послушайте, — сказал Моран, — мы увидим, оправдаются ли эти подозрения. Очередь заступить на караул в Тампле достается нашему батальону 2 июля, то есть через неделю. Вы в нем капитан, Диксмер, я поручик. Если очередь нашему батальону или даже нашей роте будет отменена, как случилось это намеренно с батальоном де ла Бютт де Мулена, который Сантер заменил батальоном Гравилье, значит, все открылось и нам ничего не остается делать, как бежать из Парижа или умереть с оружием в руках. Но если все пойдет обычным порядком...

— Тогда мы тоже погибли, — возразил Диксмер.

— Почему?

— Не было ли все основано на содействии этого муниципала? Не он ли должен был, сам не зная того, проложить нам путь к королеве?

— Это верно, — отвечал побежденный Моран.

— Вы можете понять из этого, — подхватил Диксмер, насупив брови, — что нам надо во что бы то ни стало возобновить отношения с этим молодым человеком.

— Но если он откажется? Если он побоятся выдать себя? — сказал Моран.

— Послушайте, — прибавил Диксмер, — я спрошу Женевьеву. Она последняя рассталась с ним. Не знает ли она чего?

— Диксмер, — возразил Моран, — больно мне видеть, что вы впутываете Женевьеву во все наши замыслы, не потому, что я опасюсь нескромности с ее стороны, — о, боже избави! — но замыслы наши ужасны, и мне совестно и вместе с тем жаль подвергать опасности голову женщины.

— Голову женщины! — отвечал Диксмер. — В ней столько же веса, сколько в голове мужчины, там, где уловки, чистосердечие и красота могут сделать столько же, а иногда и более, нежели сила, могущество и отвага. Женевьева разделяет наши мысли — пусть разделит и нашу участь.

— Так поступайте как знаете, любезный друг, — отвечал Моран, — я сказал, что думал. Делайте. Женевьева вполне достойна того призвания, которое вы ей назначаете или которое она приняла на себя.

И он протянул свою белую, женоподобную руку Диксмеру, который пожал ее в своих мощных руках.

Потом Диксмер поручил Морану и его товарищам усилить более чем когда-либо бдительность и отправился к Женевьеве.

Она сидела перед столом, глаза ее были устремлены на вышивку, голова опущена.

Услышав шум растворившейся двери, она повернулась к Диксмеру.

— А, это вы, друг мой, — сказала она.

— Я, — отвечал Диксмер с озабоченным и улыбающимся лицом. — Я получил от нашего приятеля Мориса письмо, которое никак понять не могу. Вот оно, прочтите и скажите мне, что вы о нем думаете?

Как ни старалась овладеть собой Женевьева, она не могла унять дрожь в руках, когда взяла письмо и прочла его.

Диксмер зорко следил за нею.

— Ну, что? — спросил он, когда она кончила.

— Я заключаю из этого, что гражданин Морис Лендэ честный человек, — с отменным спокойствием отвечала Женевьева, — и что его нечего опасаться.

— Вы думаете, что он не знает, кого вы навещали в Отейле?

— Я в этом уверена.

— Откуда же эта внезапная решимость? Каким он был вчера, холоднее или живее обычного?

— Нет, — отвечала Женевьева, — кажется, он был таким, как всегда.

— Обдумайте то, что вы мне скажете, Женевьева. Вы должны понять, что ваш ответ будет иметь важное влияние на все наши предприятия.

— Постойте, — сказала Женевьева с волнением, которое прорывалось сквозь все ее усилия сохранить холодность, — постойте...

— Жду! — отвечал Диксмер с едва заметным напряжением мускулов на лице. — Соберите все ваши воспоминания, Женевьева.

— Да, — подхватила молодая женщина, — да, припоминаю. Вчера он был не в духе. Гражданин Морис, — продолжала она с некоторой нерешительностью, — властолюбив в своей дружбе... и мы иногда по целым неделям дулись друг на друга.

— Так это просто негодование? — спросил Диксмер.

— Я полагаю.

— Женевьева, поймите, в нашем положении нужно не предположение, а уверенность.

— Если так, друг мой... я уверена.

— Стало быть, письмо это только предлог, чтобы не бывать у нас в доме?

— Друг мой, как я еще могу это доказать?

— Докажите, Женевьева, докажите, — отвечал Диксмер. — У всякой другой женщины, кроме вас, я бы этого не просил.

— Это предлог, — отвечала Женевьева, опустив глаза.

— Ага! — воскликнул Диксмер.

Потом, после некоторого молчания, отнял от груди своей ладонь, которой пытался сдержать сильное биение сердца, и схватился за спинку стула, на котором сидела жена.

— Окажите мне услугу, друг мой, — сказал он.

— Какую? — спросила Женевьева удивленно.

— Старайтесь предупредить даже тень опасности. Морис постигает, может быть, тайны наши глубже, чем мы подозреваем. То, что вам кажется предлогом, может быть истиной. Напишите ему несколько слов.

— Кто, я? — вздрогнув, произнесла Женевьева.

— Да, вы. Скажите ему, что письмо было распечатано вами и что вы желаете его объяснения. Он явится, вы его допросите и тогда без всякого труда узнаете, в чем дело.

— О, нет, ни за что! — вскричала Женевьева. — Я не могу сделать то, что вы говорите, я этого не сделаю!

— Милая Женевьева, могут ли ничтожные приличия и самолюбие поколебать вашу решимость, когда дело идет о столь важных интересах?

— Я вам сказала свое мнение о Морисе, сударь, — отвечала Женевьева. — Он честен, великодушен, но своенравен; а я не хочу никому быть покорной, кроме мужа.

В этом ответе было столько хладнокровия и твердости, что Диксмер понял, как бесполезно было бы ему настаивать, по крайней мере в эту минуту. Он ни слова более не прибавил, посмотрел на Женевьеву, провел рукой по влажному лбу и вышел.

Моран дождался его с нетерпением. Диксмер рассказал ему слово в слово обо всем, что произошло.

— Хорошо, — отвечал Моран, — остановимся и перестанем думать об этом. Я скорее готов отказаться от всего, чем причинить тень заботы жене вашей или оскорбить самолюбие Женевьевы...

Диксмер положил ему руку на плечо.

— Что вы, обезумели? — сказал он, устремив на него пристальный взгляд, — Или вы несколько не думаете о том, что говорите.

— Как, Диксмер, вы думаете?..

— Я думаю, кавалер, что вы не более меня умеете подчинять долгу влечения сердца. Ни вы, ни я, ни Женевьева не принадлежим себе, мы не что иное, Моран, как средства, призванные на защиту принципа, а принципы опираются на средства.

Моран вздрогнул, но хранил молчание, молчание, исполненное задумчивости и грусти.

Таким образом, они прошли несколько кругов по саду, не обменявшись ни словом.

Потом Диксмер оставил Морана.

— Надо отдать некоторые приказания, — сказал он совершенно спокойным голосом, — я вас оставляю, Моран.

Моран протянул Диксмеру руку и смотрел, как он удалялся.

— Бедный Диксмер, — сказал он, — боюсь, чтобы не пришлось ему более всех потерпеть в этом деле.

В самом деле, Диксмер возвратился в свою мастерскую, отдал некоторые приказания, перечел журналы, приказал раздать хлеб нищим и отправился в свою комнату, чтоб переменить рабочее платье на приличную одежду.

Спустя час Мориса, погруженного в свои думы, как бы разбудил голос прислужника, который, наклонившись к его уху, шепотом сказал:

— Гражданин Лендэ, кто-то пришел к вам и утверждает, что имеет крайнюю нужду вас видеть. Он дожидается.

Морис вышел в приемную и был очень удивлен, найдя в ней Диксмера, который перелистывал журналы.

Увидев Диксмера, Морис остановился на пороге и невольно покраснел. Диксмер встал и с улыбкой протянул ему руку.

— Какая муха укусила вас и что вы мне написали? — спросил он у молодого человека. — Признаюсь, это меня сильно поразило, любезный Морис! Вы пишете, что я слабый и ложный патриот! Полноте, вы не в состоянии повторить мне в глаза подобное осуждение. Сознайтесь лучше, что вы искали придирки ко мне.

— Я сознаюсь во всем, во всем, в чем хотите, любезный Диксмер, ибо вы всегда обращались со мной, как истинно честный человек. Но тем не менее я принял решение, и оно неизменно.

— Как же так? — спросил Диксмер. — В глубине души вы ни в чем не можете нас упрекнуть, а между тем вы оставляете нас!

— Любезный Диксмер, поверьте, есть важные причины, которые заставили меня лишиться такого друга, как вы, и побудили поступить так, как я поступил...

— Так, но, во всяком случае, — с принужденной улыбкой возразил Диксмер, — это причины не те, о которых вы мне писали. Те, о которых вы мне писали, не что иное, как предлог.

Морис на минуту задумался.

— Послушайте, Диксмер, — сказал он, — мы живем в такое время, когда сомнение, вкравшееся в письмо, может и должно нас тревожить. Я это понимаю. Поэтому непросительно было бы честному человеку оставлять вас под бременем подобного беспокойства. Да, Диксмер, причины, которые я изложил, не что иное, как предлог.

Это признание вместо того, чтобы прояснить чело торговца, казалось, напротив, омрачило его.

— Однако в чем настоящая причина? — спросил Диксмер.

— Я не могу вам ее назвать, — возразил Морис. — А между тем, если бы вы ее знали, то согласились бы со мной, я уверен.

Диксмер настоятельно просил его объясниться.

— Вы этого непременно хотите? — сказал Морис.

— Да, — отвечал Диксмер.

— Если так, — продолжал Морис, чувствовавший какое-то облегчение от того, что то, что он скажет, ближе к правде, — то дело вот в чем. Ваша жена молода и прекрасна, и непорочность этой юной и прелестной женщины не помешала клевете коснуться моих посещений вашего дома.

Диксмер несколько побледнел.

— В самом деле? — сказал он. — В таком случае, любезный Морис, супруг должен благодарить вас за зло, которое вы делаете другу.

— Вы понимаете, — возразил Морис, — я не настолько самонадеян, чтобы считать свое присутствие опасным для спокойствия вашего и вашей супруги, но оно может стать источником клеветы; а вы знаете, чем несообразнее клевета, тем ей легче верят.

— Ребячество! — сказал Диксмер, пожав плечами.

— Называйте меня ребенком сколько вам угодно, — отвечал Морис. — Мы останемся теми же друзьями, потому что не в чем нам будет упрекнуть друг друга, тогда как, сближаясь, напротив...

— А сближаясь, что было бы?

— Молва, наконец, подпустила бы яду.

— Неужели вы думаете, Морис, что я мог бы поверить...

— О боже мой! — сказал молодой человек.

— Могли бы объясниться со мной, Морис, вместо того чтобы писать.

— Для того чтобы избегнуть того, что происходит теперь между нами...

— Неужели вы сердитесь, Морис, за то, что я так люблю вас, что пришел просить объяснения? — сказал Диксмер.

— О, совсем напротив! — вскричал Морис. — Клянусь всем, что счастлив снова увидеть вас, прежде чем расстаться с вами навсегда.

— Расстаться навсегда, гражданин! Однако мы вас очень любим, — возразил Диксмер, взяв руку молодого человека и пожав ее.

Морис вздрогнул.

— Моран, — продолжал Диксмер, от которого не ускользнуло это содрогание, — Моран еще сегодня утром повторял не: «Сделайте все что можете, говорил он, чтобы этот милый Морис опять навещал нас».

— Ах, сударь, — сказал молодой человек, нахмутив брови и отнимая руку, — никогда не поверил бы я, что гражданин Моран питает такую ко мне дружбу.

— Вы сомневаетесь? — спросил Диксмер.

— Я, — отвечал Морис, — не скажу, чтобы верил или чтобы сомневался; у меня нет причины углубляться в этот предмет. Когда я бывал у вас, Диксмер, то бывал ради вас и ради вашей жены, но никак не ради гражданина Морана.

— Вы его знаете, Морис, — сказал Диксмер. — Моран одарен прекрасной душой.

— Я не спору, — с горькой улыбкой отвечал Морис.

— Теперь, — продолжал Диксмер, — обратимся к причине, побудившей меня вас навестить.

Морис поклонился как человек, которому нечего сказать и который ждет.

— Так вы говорите, что прошла молва?

— Да, гражданин, — сказал Морис.

— Но послушайте, будем говорить откровенно. К чему обращать внимание на какие-то сплетни праздных соседей? Разве ваша совесть не убеждена в противном, Морис, а для Женевьевы не порука ли ее честь?

— Я моложе вас, — сказал Морис, начинавший удивляться этой настойчивости, — и смотрю, может быть, на вещи более подозрительным взглядом. Вот почему я вам объявляю, что доброе имя такой женщины, как Женевьева, не должно быть омрачено даже ничтожными сплетнями праздного соседа. Итак, позвольте мне, любезный Диксмер, остаться при моем первом решении.

— Положим так, — сказал Диксмер, — и так как дело пошло на откровенность, сознайтесь еще в одном.

— В чем же? — спросил, покраснев, Морис. — В чем хотите вы, чтобы я вам сознался?

— Что не политика и не молва о ваших частых посещениях побудили вас расстаться с нами.

— А что же?

— Тайна, в которую вы проникли.

— Какая тайна? — спросил Морис с видом простодушного любопытства, ободрившим кожевника.

— Контрабанда, о которой вы узнали в тот самый вечер, когда мы так странно познакомились. Вы никогда не могли простить мне этого противозаконного проступка и клеймите меня именем дурного республиканца за то, что я использую английские материалы в моей кожевенной мастерской.

— Любезный Диксмер, — сказал Морис, — клянусь вам, что когда я посещал вас, то мне и в голову не приходило, что я нахожусь у контрабандиста.

— В самом деле?

— В самом деле.

— Так у вас нет иной причины оставить мой дом, кроме той, которую назвали?

— Слово чести.

— Если так, Морис, — подхватил Диксмер, вставая и пожимая руку молодого человека, — я надеюсь, что вы одумаетесь и оставите ваше намерение, которое так всех нас огорчает.

Морис поклонился и ничего не отвечал, что означало последний отказ.

Диксмер вышел, внутренне досадуя, что не удалось ему сохранить с этим человеком отношений, сделавшихся для него по некоторым обстоятельствам не только полезными, но даже почти необходимыми.

Мориса снедали тысячи противоположных желаний. Диксмер убеждал его возвратиться. Женевьева, наверное, простила бы его. Зачем же это отчаяние? Лоран на его месте уже, наверное, почерпнул бы множество афоризмов из своих любимых писателей. Но тут было письмо Женевьевы,

этот решительный отказ, который он носил с собой и который лежал у него на сердце вместе с письмом, полученным от нее вслед за тем, как он освободил ее из рук оскорблявших ее людей; наконец, тут было еще более — тут была ревность молодого человека к этому ненавистному Морану, ставшему причиной разрыва с Женевьевой.

Итак, Морис остался непоколебим в своем решении.

Но надо сказать, что прекращение ежедневных посещений улицы Сен-Жак было для него нестерпимо. И когда наступало время, в которое он привык пробираться в квартал Сен-Виктор, им овладевало глубокое уныние.

Каждое утро, пробуждаясь, он лелеял себя надеждой получить письмо от Диксмера, и он, устояв против уговоров, сознавался себе, что склонился бы перед его письмом; каждый день он выходил с надеждой встретить Женевьеву и заранее придумывал, если встретит ее, тысячи причин, чтобы с ней заговорить. Каждый вечер он возвращался домой с надеждой найти у себя посланного, который однажды утром принес ему, сам не зная того, горесть, сделавшуюся с тех пор его неразлучной подругой.

Сколько раз в смутные минуты отчаяния это могучее создание приходило в исступление от того, что ощущает подобное терзание и не может отомстить виновнику; а первый, кто был причиной его горестей, — это Моран. Тогда он замышлял искать ссоры с Мораном. Но товарищ Диксмера был так тщедушен и беззащитен, что оскорбить или вызвать его на поединок было низко для такого силача, как Морис.

Правда, Лорен старался развлечь своего друга и делал все, что только мог в теории и на практике, чтобы возратить отечеству это сердце, истомленное любовью.

Хотя обстоятельства были так внушительны, что при всяком ином расположении духа они непременно вовлекли бы Мориса в политический вихрь, теперь они не могли вернуть молодому республиканцу тот первый заряд энергии, который сделал его героем событий 14 июля и 10 августа.

И действительно, обе партии, которые в течение целых десяти месяцев только соперничали между собой, теперь готовились к жесточайшей схватке не на жизнь, а на смерть. Эти две партии, исчадие самой Революции, были: партия умеренных, представителями которой являлись жирондисты — Бриссо, Петيون, Верньо, Валахэ, Ланхжэоинэ, Барбару и т. д., и т. д., и партия Террора и Горы в лице Дантона, Робеспьера, Шенье, Фабра, Марата, Колло д'Эрбуа и т. д., и т. д.

После 10 августа большое влияние, казалось, приобрела партия умеренных. Кабинет министров был сформирован из оставшихся членов старых министерств с придачей новых. Были приняты старые министры Ролан, Сервьен и Клавьер; из новых министров были приглашены Дантон, Монж и Лебрен. Все эти министры принадлежали к партии умеренных, за исключением одного из них, который представлял в среде своих коллег весьма энергичный элемент.

Когда мы говорим умеренные, то понятно, что это выражение относительное.

Но 10 августа отозвалось и за границей, и коалиция поторопилась прийти на помощь не Людовику XVI лично, а поколебленному в основании королевскому принципу. Тогда-то раздались угрожающие слова герцога

Брауншвейгского, и, как страшное оправдание им, Лонгви и Верден попали под власть врага. Тогда наступила реакция — террор; тогда у Дантона возникла мысль о сентябрьских днях, и он осуществил эту кровавую мысль, показавшую врагу, что вся Франция, как один человек, составила заговор о чудовищном убийстве, что она готова бороться за свое унижительное существование со всей энергией отчаяния. Сентябрь спас Францию и вместе с тем поставил ее вне закона.

Но когда Франция оказалась спасенной, энергия, естественно, стала излишней, влияние умеренных снова стало расти. И поэтому их партия вознамерилась дать свою оценку тем ужасным дням. Произнесены были слова: «убийца» и «злодей». Даже появился новый термин в национальном словаре — «сентябрист».

Дантон стал отважно употреблять его. Подобно Хлодвигу, он на некоторое время склонил голову под кровавым крещением, но сделал это только для того, чтобы поднять ее еще выше и в более угрожающей позе. Созревал другой повод к повторению прежнего террора; поводом стал процесс короля. И вот вступили в борьбу насилие и воздержанность, хотя то была борьба не столько личностей, сколько принципов. Практический опыт насилия был произведен над пленником-королем. Умеренность была побеждена, и голова Людовика XVI скатилась на эшафот.

Подобно 10 августа 21 января вернуло коалиции всю ее энергию. Ей противопоставлен был тот же самый человек, но с другим результатом. Дюмурье, успехи которого были сорваны беспорядком, царившим во всех органах власти, который мешал доходить до армии подкреплениям, деньгам и людям, вдруг объявил себя противником якобинцев, которых он обвинил в этой дезорганизации, перешел на сторону жирондистов и погубил их, объявив себя их другом.

Тогда поднимается Вандея, начинаются угрозы департаментов; несчастья влекут за собой измены, а измены имеют своим последствием несчастья. Якобинцы обвиняют умеренных и собираются нанести им удар 10 марта, то есть в тот именно вечер, с которого начинается наше повествование. Но их спасает слишком большая поспешность со стороны противников, а может быть, и тот дождь, который заставил сказать Нетиона, этого глубокого анатома парижского духа:

Идет дождь, в эту ночь ничего не будет.

Но, начиная с этого 10 марта, все становится предзнаменованием неудач для жирондистов. Марат, которого обвинили, был оправдан. Примиряются между собой Робеспьер и Дантон так, как мвярятся тигр и лев для того, чтобы задушить вдвоем быка, которого они намерены сожрать; Анрио-сентябрьбреборец становится во главе национальной гвардии — словом, все служит предзнаменованием того ужасного дня, который должен был, подобно урагану, снести последнюю преграду, противопоставленную Революцией Террору.

Вот те великие события, в которых, при всяких иных обстоятельствах, Морис принял бы самое деятельное участие, движимый сознанием своей физической силы и восторженным патриотизмом. Но, к счастью его или к несчастью, ни увещания Лорена, ни страшные приговорения на улицах, ничто не могло изгнать из ума его ту единственную мысль, которая преследовала Мориса день и ночь, и когда наступило 31 мая, то оно застало

свирепого сокрушителя Бастилии и Тюильри лежащим в постели, в том лихорадочном состоянии, которое убивает самые сильные организмы и для исцеления от которого достаточно иногда бывает одного только взгляда или слова.

ХІІІ. 31 МАЯ

Утром того достопамятного дня, когда набат и тревога раздавались с раннего утра, батальон предместья Сен-Виктор вступал в караул в Тампльскую тюрьму.

Когда все обычные формальности были соблюдены и караулы расставлены, вызвали дежурных муниципалов и подвезли четыре орудия в подкрепление батареям, уже поставленным у ворот Тампля.

В одно время с орудиями показался Сантер в своих желтошерстяных эполетах и мундире, на котором огромные сальные пятна демонстрировали его патриотизм.

Он осмотрел батальон и нашел его в порядке. Потом пересчитал муниципалов, которых было только трое.

— Почему три муниципала и кого недостает? — спросил он. — Кто четвертый?

— Тот, которого недостает, гражданин генерал, не из числа голодных, — отвечал наш старый знакомец Агрикола, — ибо это секретарь секции Лепелетье, начальник храбрых Фермопилов, гражданин Морис Лендэ.

— Так, так, — сказал Сантер, — я признаю, как и ты, патриотизм гражданина Мориса Лендэ, что не помешает записать его в число отсутствующих, если он не явится через 10 минут.

И Сантер отправился далее.

В нескольких шагах от генерала в ту минуту, как он произнес эти слова, были егерский капитан и солдат; один стоял, опершись на ружье, другой сидел на лафете.

— Вы слышали? — вполголоса сказал капитан, обращаясь к солдату. — Морис еще не явился.

— Да, но он еще будет, успокойтесь, разве только он изменил.

— Если бы он пришел, — сказал капитан, — я бы вас поставил караулить на лестнице, и так как, вероятно, она пойдет на башню, то вам удалось бы сказать ей слово.

В эту минуту показался мужчина, которого по трехцветному шарфу признали за муниципала; но только этот мужчина не был известен ни капитану, ни егерю, что и заставило их устремить на него пристальный взгляд.

— Гражданин генерал, — сказал новопришедший, обратившись к Сантеру, — прошу принять меня на место гражданина Мориса Лендэ, который болен. Вот свидетельство врача; мне достается быть в карауле через неделю; я меняюсь с ним; через неделю он будет нести мою службу так точно, как я понесу его службу сегодня.

— Да, если только Капеты и Капетки проживут еще неделю, — заметил один из муниципалов.

Сантер на эту шутку усердного служаки многозначительно улыбнулся, потом, обращаясь к заместителю Мориса, проговорил:

— Ладно, пойдй распишись вместо Мориса Лендэ и внеси в столбец примечаний причины этой перемены.

Однако капитан и егерь взглянули друг на друга с радостным удивлением.

— Через неделю, — сказали они друг другу.

— Капитан Диксмер, — крикнул Сантер, — расположитесь с вашей ротой в саду!

— Идемте, Моран, — сказал капитан, обращаясь к егерю, своему товарищу.

Раздался барабанный бой, и рота, предводительствуемая кожевником, удалилась по назначенному ей направлению.

Ружья поставили в пирамиды, и рота разделялась по группам, которые стали прогуливаться взад и вперед.

Местом прогулки их был тот самый сад, в котором еще при жизни Людовика XVI королевская фамилия иногда гуляла.

Этот сад был оголен, тощ, заброшен, без цветов, деревьев и зелени.

На расстоянии почти 25 шагов от стены, выходящей на улицу Порт-Фуан, возвышался род каюты, которую позволила поставить предусмотрительность муниципального правления для удобства национальной гвардии, когда она держит караул в Тампле, и которая могла получить там в дни тревоги, когда запрещалось выходить, питье и пищу. Много было охотников стать хозяином этого маленького домашнего рестораничка. Наконец, оно было отдано одной примерной патриотке, муж которой был убит 10 августа и которая откликнулась на имя Плюмо.

Эта небольшая хижина, построенная из досок и кокор, находилась на открытом месте. Следы загородки из низенького кустарника еще и теперь видны. Она состояла из квадратной комнаты со стороной в 12 футов, под которой находился погреб, куда сходили по грубо вытесанным ступеням. Там вдова Плюмо хранила свои вина и съестные припасы, за которыми она и дочь ее — девочка 12 — 13 лет — наблюдали поочередно.

Разбив свой бивак, национальная гвардия разбрелась, как мы уже сказали, по саду; иные прохаживались, другие разговаривали с привратниками, а кто-то разглядывал разные изображения, начертанные на стене.

В числе последних находились капитан и егерь, которых мы уже заметили.

— А, капитан Диксмер, — сказала содержательница буфета, — какое у меня есть сомюрское винцо...

— Ладно, гражданка Плюмо, но сомюрское вино, по моему мнению, ничего не стоит без брийского сыра, — отвечал капитан, который, прежде чем предложить это меню, тщательно осмотрел буфет и заметил между прочими съедобными вещами, хвастливо разложенными на прилавке, отсутствие этого лакомства, которое он так ценил.

— Ах, капитан, последний кусок, как нарочно, сию минуту исчез.

— А если нет сыра, так не надо и сомюрского вина; а вместе с тем заметьте и то, гражданка, что потребление его принесло бы выгоду, ибо я имел намерение угостить роту.

— Капитан, прошу тебя повременить пять минут, и я сбегая к гражданину привратнику, который снабжает меня им и у которого всегда есть

запас; я заплачу за него подороже, но ты отличный патриот, верно, меня не обидишь.

— Ладно, ладно, ступай, — отвечал Диксмер, — а мы между тем сойдем в погреб и сами выберем вино.

— Распоряжайся, как в своем доме, капитан.

И вдова Плюмо во всю прыть пустилась бежать к привратнику, между тем как капитан и егерь, запасшись свечой, спустились в погреб.

— Так, — сказал Моран после некоторого обзора. — Погреб вырыт в направлении улицы Порт-Фуан. Глубина его от 9 до 10 футов; плотничной работы нет.

— Какая тут почва? — спросил Диксмер.

— Суглинок. Все это наносная земля; эти сады уже несколько раз были изрыты; камней быть не может.

— Скорее, — сказал Диксмер, — я слышу деревянные башмаки нашей торговки. Возьмите две бутылки вина и пойдемте.

Они уже оба показались из погреба, когда возвратилась вдова Плюмо со знаменитым брийским сыром, затребуемым так настоятельно.

За ней шли несколько егерей, привлеченных приятной внешностью сыра.

Диксмер угощал сыром и велел подать бутылок до двадцати вина своей роты, между тем как гражданин Моран рассказывал о преданности Курция, бескорыстия Фабриция и патриотизме Брута и Кассия. Все эти исторические рассказы были оценены не менее брийского сыра и анжуйского вина, которыми потчевал Диксмер.

Пробило одиннадцать часов. В половине двенадцатого была смена.

— Как обычно прогуливается австриячка, от двенадцати до часу? — спросил Диксмер, обращаясь к проходившему мимо хижинны Тизону.

— Именно от двенадцати до часу.

И он запел:

*Madame monte a sa tour,
Mironton, tonton, mirontaine.
(Мадам поднимается на свою башню,
Миронтон, тонтон, миронтэн.)*

Эта новая выходка была встречена единодушным взрывом хохота национальных гвардейцев.

Тогда Диксмер сделал перекличку тех людей своей роты, которым пришла очередь стоять на часах от половины двенадцатого до половины второго, торопил завтракавших и пригласил Морана взять оружие, чтобы поставить его, как условлено, в верхнем этаже башни, на том самом месте, где Морис скрывался в тот день, когда он подметил поданные королеве знаки из одного окна на улице Порт-Фуан.

Если бы взглянули на Морана в ту минуту, как он получил это очень обыкновенное приказание, то могли бы заметить, как покрылось бледностью все лицо его до самых волос.

Внезапно раздался глухой шум около Тампльской тюрьмы, а в отдалении слышен был ураган криков и неистовых возгласов.

— Что там происходит? — спросил у Тизона Диксмер.

— О, — отвечал тюремщик, — так, пустое, вероятно, восстание приверженцев Бриссо перед прогулкой на гильотину.

Шум страшно усиливался, раздался залп артиллерии, и толпа людей пробежала мимо Тампля с неистовыми криками:

«Да здравствуют отделения! Да здравствует Анрио! Долой бриссотепов! Долой роландистов! Долой госпожу Вето!»

— Славно, славно! — заговорил Тизон, потирая себе руки. — Я сейчас открою дверь к госпоже Вето, чтобы она могла беспрепятственно наслаждаться выражениями той любви, которую чувствует к ней ее народ.

— Эй, Тизон! — закричал страшный голос.

— Что прикажет генерал? — отвечал последний, внезапно остановившись.

— Сегодня нет выхода, — сказал Сантер. — Заключенные не выйдут из своей комнаты.

— Ладно, — сказал Тизон, — меньше хлопот.

Диксмер и Моран обменялись неизъяснимо грустными взглядами, потом, в ожидании смены, сделавшейся теперь бесполезной, оба они пошли по направлению к хижине и стене, выходявшей на улицу Порт-Фуан. Тут Моран стал мерными шагами определять расстояние.

— Сколько? — спросил Диксмер.

— Шестнадцать шагов, — отвечал Моран.

— Много ли потребуется дней?

Моран задумался, начертил на песке палочкой несколько геометрических линий, которые в ту же минуту стер.

— Нужно будет по крайней мере семь дней, — сказал он.

— Через неделю очередь Мориса, — проговорил Диксмер. — До этого времени нам непременно надо с ним помириться.

Пробило полчаса. Моран со вздохом взял свое ружье и, предводительствуемый капралом, пошел сменить часового, который прохаживался по платформе на высоте башни.

XIV. ПРЕДАННОСТЬ

На другой день после рассказанных нами происшествий, то есть 1 июня в 10 часов утра, Женевьева сидела на своем обычном месте близ окна; она спрашивала себя, отчего вот уже три недели дни сменяются для нее так грустно, проходят так медленно и, наконец, зачем, вместо того чтобы быть веселой в ожидании вечера, она встречает его с каким-то унынием?

Как печальны особенно ночи ее; эти ночи, которые некогда были так очаровательны; эти ночи, которые проходили в мечтаниях о том, что было накануне, и о том, что предстоит на другой день.

В эту минуту глаза ее остановились на прекрасном ящике пестрой и пунцовой гвоздики, которую она брала в продолжение всей зимы в той теплице, где Морис был заключен, чтобы дать цветам распуститься и цвести в своей комнате.

Морис научил ее, как лелеять их в этом продолговатом красного дерева ящике, в котором они были заключены. Она их сама поливала, подвязывала,

берегла все время, пока Морис навещал ее, и когда он приходил вечером, она с каким-то восторгом показывала ему успехи, благодаря которым прелестные цветы расцветали в течение ночи. Но с тех пор как Морис перестал ходить, бедные гвоздички лишились ухода, и вот осиротевшие отростки их, за недостатком ухода и внимания, поблекли; бутоны, желтея, склонили свои головки за стенку, на которой повисли, полузавядшие.

По одному этому Женестьева поняла причину своей грусти. И подумала, что цветам суждена та же участь, как и некоторым сердечным опущениям, питаемым, лелеемым со страстью. Как весело тогда на душе! Потом однажды утром своенравие или несчастье подрезывает дружбу у самого корня, и сердце, которое оживлялось этой дружбой, сжимается, томится и увядает.

Тогда молодая женщина ощутила всю мучительность томления сердца; чувство, которое она хотела преодолеть и которое тщетно старалась победить, боролось в глубине ее души. Тогда ею мгновенно овладело отчаяние. Росло сознание, что борьба эта будет ей не под силу; она тихо опустила головку, поцеловала один из поблекших цветков и заплакала.

Муж ее вышел в ту самую минуту, когда она утирала глаза.

Но Диксмер так был занят своими собственными мыслями, что не заметил этого болезненного перелома, совершившегося в жене, и не обратил внимания на красноту ее век, которая могла ее изблечить.

Правда, Женестьева, увидев мужа, поспешно встала и побежала к нему так, чтобы, оборотясь спиной к окну, она могла быть в полусвете.

— Ну что? — сказала она.

— Все то же, ничего нового! Никакой возможности подойти к ней, никакой возможности ничего передать и даже ее увидеть.

— Как, — вскричала Женестьева, — при всем том шуме, который был в Париже!

— Этот-то шум и усугубил бдительность надзора. Боялись, чтобы не воспользовались общим волнением и не покусились на Тампльскую тюрьму, и в то время как ее величество намеревалась подняться на платформу, Сантером отдано было приказание не выпускать ни королеву, ни принцессу Елизавету, ни королевскую дочь.

— Бедный кавалер, как это было ему досадно!

— Он был в отчаянии, когда увидел эту неудачу, и до того побледнел, что я принужден был скорее вывести его, чтобы он не выдал себя.

— Стало быть, в Тампле не было ни одного муниципала из ваших знакомых? — с робостью спросила Женестьева.

— Один должен был прийти, но не пришел.

— Кто это?

— Гражданин Морис Лендэ, — сказал Диксмер с притворным равнодушием.

— А почему он не пришел? — спросила Женестьева, также силясь не выдать себя.

— Он был болен.

— Как, он болен?

— Да, и вероятно, довольно опасно, если при всем патриотизме был вынужден другому уступить свою очередь.

— Досадно.

— О, боже мой! Да хоть бы и был он, Женевьева, — подхватил Диксмер, — вы понимаете, что это одно и то же. Находясь со мной в таких отношениях, он, может быть, избегал бы разговора со мной.

— Мне кажется, друг мой, — сказала Женевьева, — что вы преувеличиваете серьезность положения. Гражданин Морис может из-за какой-то прихоти не ходить сюда больше, из-за ничтожной причины не видаться с вами, но он все равно не враг нам. Холодность не исключает вежливости и, увидев, что вы первый подходите к нему, я уверена, он бы запросто с вами поговорил.

— Женевьева, — сказал Диксмер, — мы ожидали от Мориса более чем учтивости, и даже не излишней была бы искренняя и глубокая дружба. Эта дружба разрушилась; стало быть, с этой стороны нет никакой надежды.

Диксмер испустил глубокий вздох, между тем как лицо его, обыкновенно столь спокойное, грустно нахмурилось.

— Но если вы полагаете, что Морис так необходим для ваших предприятий... — робко произнесла Женевьева.

— Да поймите, — отвечал Диксмер, — что я не верю в успех без него.

— В таком случае, почему бы вам еще раз не попытаться сблизиться с гражданином Лендэ?

Ей казалось, что, называя молодого человека по фамилии, звук ее голоса был менее нежен, нежели когда она называла его по имени.

— Нет, — отвечал Диксмер, качая головой, — нет, я сделал все, что мог. Новая попытка могла бы показаться странной и возбудила бы подозрение. Нет. Притом, видите, Женевьева, я в этом деле дальше вас вижу. В глубине души Мориса есть рана.

— Рана? — спросила Женевьева, очень растроганная этим словом. — Боже мой! Что вы хотите сказать? Объяснитесь, друг мой.

— Я хочу сказать, и вы в этом так же убеждены, как я, Женевьева, что в разрыве нашем с гражданином Лендэ есть что-то более каприза.

— Так чему же приписываете вы этот разрыв?

— Гордости, может быть, — живо сказал Диксмер.

— Гордости?..

— Да, ему казалось, что он делает нам честь — этот добряк, обыватель Парижа, этот полуаристократ-полуписарь, прачущий свои подозрения под личиной патриотизма, он делал нам честь — этот республиканец, столь влиятельный своим секретарством в своем клубе, в своем муниципальном правлении, он оказывал честь, жалуя дружбой кожевников. Может быть, мы были недостаточно почтительны, может быть, мы как-нибудь забылись.

— Но если мы были непочтительны, если мы даже забылись перед ним, — возразила Женевьева, — мне кажется, что поступок ваш искупил все.

— Да, предполагая, что виноват я. Но если он недоволен вами?

— Мною? Чем, друг мой, я могла провиниться перед гражданином Морисом? — сказала удивленная Женевьева.

— А кто знает, при вашем характере... Не вы ли первая сами осуждали его своеобразие? Я возвращаюсь к своей прежней мысли, Женевьева. Напрасно вы не написали Морису.

— Я! — вскрикнула Женевьева. — Да думаете ли вы о том, что говорите?

— Не только думаю, — сказал Диксмер, — но вот уже три недели, как дится эта размолвка, я все время думаю об этом.

— И что же? — с робостью спросила Женеьева.

— Я считаю это даже необходимостью.

— О, — вскричала Женеьева, — нет, нет, Диксмер, не требуйте этого от меня.

— Вы знаете, Женеьева, что я никогда ничего не требую от вас, я только прошу написать гражданину Морису...

— Но... — возразила Женеьева.

— Послушайте, — возразил Диксмер, прерывая ее, — или между вами и Морисом есть важная причина для ссоры, — ибо, что касается меня, он никогда не жаловался на мое с ним обращение, — или вы поссорились из-за какого-то пустяка, как дети.

Женеьева ничего не отвечала.

— Если причина этой ссоры пустяк, безрассудно было бы с вашей стороны упрямиться; если она серьезна, то согласитесь, что в нашем положении не следует спорить ни с собственным достоинством, ни даже с самолюбием. Не станете же вы сравнивать, поверьте мне, ссору молодых людей со столь важными интересами. Сделайте усилие над собой, напишите несколько слов гражданину Морису Лендэ, и он опять будет у нас.

Женеьева задумалась.

— Но, — сказала она, — нельзя ли найти другое средство возобновить ваши отношения с Морисом?

— Мне кажется, это средство очень естественное.

— Не для меня, друг мой.

— Вы очень упрямы, Женеьева.

— Согласитесь, по крайней мере, что вы только в первый раз заметили это.

Диксмер, уже некоторое время теребивший платок свой, вытер пот, который выступил у него на лбу.

— Да, — сказал он, — и потому мое удивление так велико.

— Боже мой, — сказала Женеьева, — неужели вы не понимаете причину моей настойчивости и хотите заставить меня говорить?..

Казалось, Диксмер сделал усилие над собой. Он взял руку Женеьевы, заставил ее приподнять голову, посмотрел ей в глаза и захохотал; смех мог бы показаться принужденным Женеьеве, если бы в эту минуту она не была так взволнована.

— Понимаю, что это значит, — сказал он. — Поистине вы правы! Я был слеп. При всем вашем уме, любезная моя Женеьева, при всей вашей чопорности вы увлеклись пустотой, вы побоялись, чтобы Морис не влюбился в вас!

Женеьева почувствовала, как будто смертельный холод пробежал по ее сердцу. Эта насмешка ее мужа над любовью, силу которой, зная характер молодого человека, она могла оценить; над любовью, наконец, которую она ощущала в себе даже по чувству внутреннего раскаяния и разделяла в глубине сердца, — эта насмешка поразила ее. У нее не было сил смотреть. Она чувствовала, что у нее нет сил отвечать.

— Я угадал, не правда ли? — подхватил Диксмер. — Так успокойтесь,

Женевьева. Я знаю Мориса; это неистовый республиканец, у которого нет иной любви в сердце, кроме любви к отечеству.

— Уверены ли вы в том, что говорите? — вскричала Женевьева.

— Без сомнения, — возразил Диксмер, — если бы Морис любил вас, то вместо того, чтобы ссориться со мной, он бы удвоил свое усердие и предупредительность к тому, кого ему выгодно было обмануть. Если бы Морис любил вас, ему не так бы легко было отказаться от звания друга дома, с помощью которого обыкновенно прикрываются подобные обманы.

— Послушайте, — вскричала Женевьева, — пожалуйста, не шутите над такими вещами!

— Я нисколько не шучу, сударыня, я только говорю, что Морис не любит вас, вот и все.

— А я, я, — вскричала Женевьева, покраснев, — я говорю вам, что вы ошибаетесь!

— В таком случае, — возразил Диксмер, — если Морис преодолел себя и решился удалиться, чтобы не обманывать хозяина дома, он честный человек. А так как честные люди редки, Женевьева, то старания привлечь их к себе, когда они нас оставляют, не могут быть излишними. Женевьева, не правда ли, вы напишете Морису?

— О, боже мой!.. — сказала молодая женщина.

И она опустила голову на руки. Тот, на кого она надеялась опереться в минуты опасности, вдруг изменил ей и повергал в бездну, вместо того чтобы удержать.

Диксмер посмотрел на нее, потом принужденно улыбнулся.

— Ну, полно, друг мой, — сказал он, — оставим женское самолюбие. Если Морис снова начнет свои любовные откровения, посмейтесь над этим еще раз. Я вас знаю, Женевьева, у вас высокое и благородное сердце. Я в вас уверен.

— О, — вскричала Женевьева, опустившись так, чтобы колено ее коснулось земли. — О боже мой! Кто может быть уверен в другом, когда никто не уверен в себе?

Диксмер весь побледнел, как будто бы вся кровь его прилила к сердцу.

— Женевьева, — сказал он, — я дурно сделал, что провел вас через эти тяготы. Мне бы следовало разом сказать вам: «Женевьева, мы живем в эпоху безотчетной преданности; Женевьева, я принес в жертву королеве, благодетельнице нашей, не только руку мою, не только голову, но даже все свое будущее, все свое счастье. Другие жертвуют ей жизнь. Я сделаю более, нежели отдать жизнь, я отдам мою честь; и если моя честь погибнет, то в этом океане горестей, которые готовятся поглотить Францию, будет одной только слезой более».

В первый раз Диксмер разоблачил себя.

Женевьева приподняла голову, устремила на него прекрасные глаза свои, полные восхищения, тихо привстала и дала ему поцеловать лоб свой.

— Вы этого хотите? — сказала она.

Диксмер сделал утвердительный знак.

— Ну, так диктуйте.

И она взяла перо.

— Зачем же? — отвечал Диксмер. — Довольно и того, что мы пользуемся и даже, пожалуй, злоупотребляем этим молодым человеком. И если он примирится с нами после письма, которое получит от Женевьевы, то пусть письмо это будет от самой Женевьевы, а не от гражданина Диксмера.

И Диксмер еще раз поцеловал свою жену, поблагодарил ее и вышел. Тогда Женевьева дрожащей рукой написала:

«Гражданин Морис!

Вы знаете, как любил вас мой муж. Три недели разлуки, которые показались нам целым столетием, неужели дали вам право позабыть его? Приходите, мы ждем вас, ваше возвращение будет истинным для нас праздником.

Женевьева».

XV. БОГИНЯ РАЗУМА

Морис был серьезно болен, как и дал о том знать генералу Сантеру.

С того времени, как он не выходил из своей комнаты, Лорен ежедневно его навещал и делал все что мог, чтобы рассеять его хандру. Но Морис настаивал на своем. Есть болезни, от которых не хотят вылечиться. 1 июня Лорен явился в час пополудни.

— Не случилось ли сегодня что-нибудь необыкновенное? — спросил Морис. — Ты выглядишь таким щеголем!

В самом деле, Лорен был в своей форме: в красной шапке, карманьолке, опоясанный трехцветным шарфом, украшенном парой пистолетов.

— Во-первых, — сказал Лорен, — как общее известие, сегодня сдается Жиронда, но только при барабанном бое — и в эту минуту на площади Карусель калятся ядра; как частное известие, готовится большое торжество, на которое я приглашаю тебя послезавтра.

— А сегодня что? Ты говоришь, что за мной зашел.

— Да, сегодня у нас репетиция.

— Какая репетиция?

— Репетиция большого торжества.

— Любезный друг, — сказал Морис, — ты знаешь, что вот уже неделя, как я никуда не выхожу, стало быть, я совершенно не знаю, что происходит, меня обязательно нужно посвятить во все.

— Как, я тебе разве не говорил?

— Ничего не говорил.

— Во-первых, любезный друг, тебе ведь уже известно, что на некоторое время мы исключили из разговорного языка слово «бог» и заменили его выражением «Высшее Существо».

— Да, я это знаю.

— Так вот, по-видимому, заметили, что это Высшее Существо оказалось из партии умеренных — роландистом-жирондистом.

— Лорен, прошу тебя не шутить святыней; ты знаешь, я этого не люблю.

— Что поделаешь, дружок! Надо идти вместе с веком! Ведь и я также порядочно-таки любил нашего старого бога, прежде всего потому, что привык к нему. Что же касается Высшего Существа, то кажется, что за ним действительно водятся кое-какие грешки и что с того времени, как оно

поселилось там, наверху, все пошло шиворот-навыворот; одним словом, наши законодатели объявили полную несостоятельность этого существа...

Морис пожал плечами.

— Да пожимай плечами сколько угодно! — сказал Лорен.

De par la philosophie,
Nous, grands suppots de Momus,
Ordonnons que la folie
Ait son culte in partibus.
(Законами философии
Мы, сообщники Момуса,
Устанавливаем, что сумасшествие
Должно иметь свою собственную веру in partibus.)

Словом, мы намерены воздать поклонение Богине Разума.

— И ты бросаешься во все эти маскарады? — спросил Морис.

— Ах, друг мой, если бы ты знал так же близко Богиню Разума, как я, ты бы стал одним из самых жарких ее поклонников. Послушай, я хочу познакомиться тебя с ней, я тебя представляю ей.

— Избавь меня от всех твоих шалостей. Мне грустно, ты это знаешь.

— Тем более, черт возьми! Она развеселит тебя. Э, да ты ее знаешь — целомудренную богиню, которую парижане хотят увенчать лаврами и возить в колеснице, обклеенной золотой бумагой... Это... угадай...

— Как мне угадать?

— Артемиза.

— Артемиза! — повторил Морис, роясь в памяти и не находя никого, кто бы назывался этим именем.

— Ну да! Высокая бронетка, с которой я познакомился в прошлом году... на балу в Опере: еще, помнишь, ты ужинал с нами и подпоил ее.

— Ах, точно, — отвечал Морис, — теперь помню! Так это она? Ты уверен?

— Перевес на ее стороне. Я представил ее конкурсу, все фермопильцы обещали мне свои голоса. Через три дня окончательный выбор. Сегодня приготовительный обед, сегодня мы разливаем шампанское; быть может, послезавтра мы будем разливать кровь! Но пусть разливают себе что хотят, Артемиза будет богиней, или черт их всех возьми! Ну пойдем, мы заставим ее надеть тунику.

— Благодарю. Я всегда питал отвращение к подобным вещам.

— К одеванию богинь? Черт возьми, как ты спесив. Ну ладно! Я согласен, ежели это может развлечь тебя, надеть на нее тунику, а ты ее снимешь.

— Лорен! Я болен. И не только не расположен веселиться, но мне даже больно видеть, как другие веселятся.

— Однако ты меня пугаешь, Морис; ты больше не дерешься, не смеешься. Уж не замыслишь ли чего?

— Я? Боже меня избавь!

— Ты хочешь сказать, избави меня, Богиня Разума.

— Оставь меня, Лорен, я не могу, я не хочу выходить из дома. Я в постели и намерен оставаться в ней.

Лорен почесал себе ухо.

— Я вижу, что это значит, — сказал он.

— Что же ты видишь?

— Я вижу, что ты дожидаясь Богини Разума.

— Черт возьми, — вскричал Морис, — как докучливы друзья, которые острят! Уйди, не то я закидаю проклятиями тебя и твою богиню.

— Закидай, закидай...

Морис приподнял руку, чтобы проклинать, как вдруг его прервал вошедший в эту минуту прислужник, который держал письмо к гражданину собрату.

— Гражданин Сцевола, — сказал Лорен, — ты вошел не вовремя. Господин твой только что хотел сделаться величественным.

Морис опустил руку, небрежно протянул ее к письму, но только коснулся его, как вздрогнул и, приблизив это письмо с жадностью к глазам, пожирал взглядом почерк и печать. Он вдруг так побледнел, как будто ему стало дурно.

— Ого-го, — проговорил Лорен, — видно, и наш интерес пробуждается!

Морис уже ничего не слышал; он всей душой погрузился в четыре строчки Женевьевы. Прочитав их, он перечитал то же самое два, три, четыре раза; потом вытер лоб и опустил руки, глядя на Лорена, как обезумевший.

— Черт возьми, видно, это письмо заключает в себе любопытные известия!

Морис прочел письмо в пятый раз, и снова румянец зардел на его щеках. Глаза его увлажнились, глубокий вздох облегчил грудь. Потом вдруг, забыв о своей болезни и слабости, он вскочил с постели.

— Одеваться, — закричал он изумленному прислужнику, — одеваться, любезный мой Сцевола! Ах, бедный мой Лорен, добрый мой Лорен, я его ждал каждый день, но, признаюсь, потерял надежду получить. Ну! Скорей одеваться!

Прислужник поспешил исполнить приказание своего господина и в одно мгновение побрил его и причесал.

— О, опять увидеть ее, увидеть! — вскрикивал молодой человек. — Поистине, Лорен, я еще не знал, что такое счастье!

— Бедный мой Морис! Мне кажется, что ты нуждаешься в том посещении, которое я тебе советовал.

— О, любезный друг, — вскричал Морис, — извини меня, но мне кажется, что я потерял разум!

— Так предлагаю тебе заменить его моим, — сказал Лорен, смеясь над этим ужасным каламбуром.

А всего удивительнее то, что и Морис смеялся.

Счастье сделало его снисходительным к остротам.

— На, — сказал он, отрезав ветку расцветшего померанца, — предложи от меня этот букет достойной вдове Мавзола.

— Это другое дело! — вскричал Лорен. — Вот это любезность! Я тебя прошою. А теперь мне кажется, что ты решительно влюблен, и я всегда питал глубокое почтение к большим несчастьям.

— Ну да, я влюблен, — вскричал Морис, переполненный радостью, — я влюблен и теперь могу сознаться в том, потому что она меня любит! Если опять зовет к себе, стало быть любит, не так ли, Лорен?

— Бесспорно, — снисходительно отвечал поклонник Богини Разума, — но берегись, Морис, ты так это воспринимаешь, что меня страх берет.

Тут Лорен опять сказал стишок, смысл которого был следующий: «Люби, как я, Разум, и ты не сделаешь глупость».

— Bravo, bravo! — вскричал Морис и захопал в ладоши.

И, разбежавшись, он мигом спустился по лестнице, добрался до набережной и направился к столь знакомой ему старой улице Сен-Жак.

— Мне кажется, он похвалил меня, Сцевола? — спросил Лорен.

— Да, гражданин, да и удивляться нечего; то, что вы сказали, в самом деле очень мило.

— Если так, то он болен серьезнее, чем я предполагал, — сказал Лорен.

И в свою очередь, он спустился с лестницы, но уже не с такой быстротой: Артемиза была не Женевьева.

Как только Лорен очутился с расцветшей померанцевой веткой в руке на улице Сент-Онорэ, как толпа молодых граждан, которых он взял за привычку, в зависимости от настроения, потчевать толчками или носком под карманьолку, почтительно последовала за ним, принимая его, вероятно, за одного из тех добродетельнейших людей, которых Сент-Жюст предложил отличать белой одеждой и букетом расцветших померанцев.

Толпа все более и более увеличивалась, до того считалось редкостью даже в ту эпоху видеть добродетельного человека; верным счетом была тысяча молодых граждан, когда он преподносил букет Артемизе — знак уважения, которого добивались многие другие Разумы и который доставил им лишь головную боль.

В тот же самый вечер по всему Парижу распространилась знаменитая кантата:

Vive la deesse Raison!
Flamme pure, douce lumiere.
(Да здравствует Богиня Разума!
Чистое пламя, тихий светоч.)

И так как эта кантата дошла до нас без имени автора ее, что сильно напрягло умственные силы археологов революции, то мы можем позволить себе дерзость утверждать, что кантата эта была составлена для прекрасной Артемизы приятелем нашим Гиацинтом Лореном.

ХVI. БЛУДНЫЙ СЫН

Если бы у Мориса были крылья, то и тогда бы он не скоро долетел.

На улицах было множество народу, но Морис замечал толпу эту только потому, что она задерживала его. Во всех группах поговаривали, что Конвент осажден, что достоинство народа оскорблено в лице его представителей, которым не дозволяют выходить, и это походило на правду, ибо слышны были удары в набат и выстрелы сторожевой пушки.

Но какое дело было Морису в это время до сторожевой пушки и колокола? Что ему до того, могут ли депутаты выходить или нет, когда запрещение не касалось его самого? Он бежал — вот и все.

И бежал и представлял себе, что Женевьева ожидает его у окна, которое выходит в сад, чтобы издали одарить очаровательной улыбкой.

Диксмер также был предупрежден об этом благополучном возвращении

и спешил протянуть свою крупную, крепкую руку Морису со всем прямодушием и добротой.

В этот день он любил Диксмера; он любил даже Морана с его черными волосами и зелеными очками, за которыми, казалось, прежде виделся ему лукавый взгляд.

Он любил весь мир, ибо он был счастлив. Он охотно рассыпал бы цветы над головами всех людей, чтобы все люди так же были счастливы, как он.

Во всяком случае, он ошибался в своих надеждах, бедный Морис; он ошибался, как случается ошибаться девятнадцать раз из двадцати тому человеку, который судит своим сердцем и рассчитывает по своим чувствам.

Вместо кроткой улыбки, которой лелеял себя Морис и которая должна была встретить его издали, Женевьева дала себе обет оказывать ему холодную учтивость. Это была слабая ограда, которой она защищалась от потока, угрожавшего увлечь ее сердце.

Она удалилась в свою комнату верхнего этажа и должна была сойти тогда, когда ее позовут.

Ах, и она ошибалась!

Не ошибался только Диксмер; он поджидал Мориса, поглядывая сквозь решетку и насмешливо улыбаясь.

Гражданин Моран флегматично окрашивал в черный цвет хвостики, которые должны были пришиваться на шкуру белой кошки, чтобы обратить ее в горностаю.

Морис толкнул калитку аллея, чтобы по-приятельски войти, как прежде бывало, через сад; за дверью раздался звонок, возвестивший его приход.

Женевьева, стоявшая перед закрытым окном своим, вздрогнула и опустила приподнятую ею занавеску.

Первое чувство, которое ощутил Морис, войдя к хозяину дома, было неожиданным: не только Женевьева не дожидалась его у своего окна нижнего этажа, но и, войдя в эту маленькую гостиную, где он простился с ней, он не увидел ее и вынужден был велеть доложить о себе, как будто за три недели отсутствия стал посторонним.

Сердце его сжалось.

Диксмер был первым, кого увидел Морис; он бросился к Морису и обнял его с радостным восклицанием.

Тогда сошла Женевьева. Она отшлепала себя по щекам перламутровым ножом, чтобы кровь прилила к ним, но не успела сойти по двадцати ступеням, как этот насыщенный румянец исчез и кровь ее отлила назад к сердцу.

Морис увидел Женевьеву на пороге; он подошел к ней с улыбкой, чтобы поцеловать ей руку, и только тогда заметил, как она изменилась.

И она с ужасом заметила, как похудел Морис и как сверкали будто в лихорадке его глаза.

— Наконец-то, сударь? — сказала она ему с волнением, которое не в силах была унять.

Она обещала себе сказать равнодушно:

«Здравствуйте, гражданин Морис. Что это вы стали таким редким гостем?»

Диксмер разом прекратил лишние разговоры и взаимные упреки. Он приказал подавать обед, ибо уже было два часа пополудни.

Пройдя в столовую, Морис заметил, что ему поставлен прибор.

Тогда вошел гражданин Моран в том же коричневом кафтане и в том же жилете. На нем были, как всегда, очки с зелеными стеклами; Морис увидел те же длинные черные волосы и белые манжеты. Морис был сама лобезность, потому что теперь, когда он снова всех увидел, схлынули все страхи, которые его терзали, когда был далеко отсюда.

В самом деле, возможно ли, чтобы Женевьева любила этого маленького химика? Надобно быть сильно влюбленным и, следовательно, безумным, чтобы вбить себе в голову подобный вздор.

К тому же неудачен был бы и выбор времени для ревности. У Мориса в кармане жилета лежало письмо Женевьевы, и сердце его, волнуясь от радости, ударяло по этому письму.

Женевьева стала, как прежде, весела. В натуре женщин есть та особенность, что настоящее всегда готово стереть у них следы прошедшего и не дает задуматься об угрозе будущего.

Женевьева, чувствуя себя счастливой, снова овладела собой, то есть сделалась спокойной и холодной, хотя приветливой — другой оттенок, которого Морис по неопытности своей не заметил, а Лорен нашел бы ему истолкование в Парни, Бертене и в Жантиль Бернаре.

Разговор перешел на Богиню Разума, на падение жирондистов. Диксмер уверял, что он был бы очень рад, если бы роль Богини Разума была предложена Женевьеве. Морис хотел было засмеяться, но Женевьева подхватила мнение мужа, и Морис взглянул на них обоих, удивляясь, как может патриотизм до такой степени увлечь такой светлый рассудок, как у Диксмера, и такую поэтическую натуру, как Женевьева.

— Ах, гражданин Морис, будем уважать патриотизм, даже когда он увлекается.

— Что касается меня, — сказал Морис, — относительно патриотизма я нахожу, что женщины всегда достаточно патриотки, когда они не слишком аристократки.

— Вы совершенно правы, — сказал Моран. — Я откровенно скажу, что не люблю женщин, когда они перенимают мужские ухватки, в такой же мере, как мужчину, когда он оскорбляет женщину, если бы даже женщина эта была его жесточайшим врагом.

Моран очень естественным образом навел Мориса на самый щекотливый разговор. Морис, в свою очередь, отвечал утвердительно; тогда Диксмер, подобно герольду-глашатаю, прибавил:

— Позвольте, позвольте, гражданин Моран; вы исключите, надеюсь, женщин — врагов нации.

Несколько секунд молчания последовали за этим возгласом.

Это молчание было прервано Морисом.

— Не будем никого исключать, — сказал он печально. — Увы, женщины, которые были врагами своей нации, кажется, достаточно наказаны ныне.

— Вы хотите сказать о заключенных Тампля, об австриячке, о сестре и дочери Капета! — вскричал Диксмер такой скороговоркой, которая отняла всякое выражение в его словах.

Моран побледнел в ожидании ответа молодого муниципала, и если бы

можно было видеть его ногти, то показалось бы, что они готовы впиться в его грудь.

— Именно о ней я и говорю, — сказал Морис.

— Как, — отвечал Моран, словно ему перехватило горло, — стало быть, правда, что говорят, гражданин Морис?

— А что говорят? — спросил молодой человек.

— Что с заключенными жестоко обходятся подчас те самые, кто обязан был бы им покровительствовать?

— Есть люди, — сказал Морис, — которые не стоят звания человека.

— О, вы не из числа тех людей, сударь, я в этом уверена! — вскричала Женевьева.

— Сударыня, — отвечал Морис, — я, который говорю с вами, я был в карауле у эшафота, на котором погиб король. С саблей в руке я стоял там, чтобы собственноручно заколоть всякого, кто попытался бы его спасти. Однако, когда он приблизился ко мне, я невольно снял перед ним шляпу и, оборотясь к моим людям, сказал им: «Граждане, предупреждаю вас, что я насквозь проткну саблей всякого, кто осмелится оскорбить бывшего короля». О, можно спросить кого угодно, пусть подтвердят, слышен ли был хоть малейший крик в моей роте. Кто написал первое из десяти тысяч объявлений, разнесенных по Парижу, когда король возвратился из Варенна: «Кто поклонится королю, тот будет избит»; «Кто оскорбит его, тот будет повешен», кто написал это? Я. Что же, — продолжал Морис, не замечая, какое ужасное впечатление произвели эти слова на общество, — я, кажется, доказал, что я верный и истинный патриот; что я ненавижу короля и его сообщников. И я заявляю, что, невзирая на мои мнения, которые не что иное, как глубокие убеждения, невзирая на мою уверенность, что на австриячке большая доля вины за несчастья, угнетающие Францию, никогда, никогда и никто, кто бы он ни был, хотя бы сам Сантер, не оскорбит в моем присутствии бывшую королеву.

— Гражданин, — прервал Диксмер, покачивая головой, как человек, несогласный с подобной смелостью, — сознаете ли вы, насколько должны доверять нам, чтобы произносить подобные слова?

— Перед вами, как и перед всеми, Диксмер, я добавлю еще, что, быть может, она погибнет на эшафоте, как ее муж, но я не из тех, кого страшит женщина, и всегда буду уважать все, что слабее меня.

— А королева показывала ли вам когда-нибудь, гражданин Морис, — спросила с робостью Женевьева, — что она чувствует эту деликатность, к которой не привыкла?

— Заключенная несколько раз благодарила меня, сударыня, за мою к ней внимательность.

— В таком случае она с удовольствием должна ожидать вашу очередь.

— Я так думаю, — отвечал Морис.

— Если так, — сказал Моран, дрожа, как женщина, — если вы сознаетесь в том, в чем ныне никто не сознается, то есть в великодушии сердца, вы также не преследуете и детей.

— Я? — сказал Морис. — Спросите у подлеца Симона, что весит рука того муниципала, перед которым он осмелился бить маленького Капета.

Этот ответ произвел общее движение за столом Диксмера. Все присутствовавшие почтительно встали.

Морис один остался за столом и не подозревал, что он был причиной этого восторженного порыва.

— Что случилось?! — спросил он с удивлением.

— Мне послышалось, будто кто-то звал из мастерской, — отвечал Диксмер.

— Нет, нет, — сказала Женестьева. — И я было подумала об этом; но мы ошиблись.

И снова все сели.

— Так это вы, гражданин Морис, — дрожащим голосом произнес Моран, — вы тот муниципал, о котором так много говорили и который так благородно защищал ребенка?!

— Как, разве говорили об этом? — спросил Морис с удивительным простосердечием.

— О, вот благородное сердце, — сказал Моран, вставая из-за стола, чтобы не выдать себя, и удаляясь в мастерскую, как будто спешная работа требовала его присутствия.

— Да, гражданин, — отвечал Диксмер, — да, об этом говорили, и надо добавить, что все люди, одаренные чувством и смелостью, хвалили вас, не зная в лицо.

— Сохраните эту тайну, — сказала Женестьева, — слава, которую мы примем ему, будет слишком опасна.

Таким образом, каждый, сам не зная того, показал свой героизм, свою преданность и чувствительность.

Тут был слышен даже голос любви.

XVII. МАСТЕРА ПОДКОПА

Когда выходили из-за стола, Диксмер был извещен, что нотариус дожидается его в кабинете; он извинился перед Морисом, которого, впрочем, не в первый раз так оставлял, и отправился к ожидавшему его нотариусу.

Дело шло о покупке небольшого дома на улице Кордери, напротив Тампльского сада, или, лучше сказать, то, что покупал Диксмер, был скорее участок, чем дом. Само строение разрушалось, но Диксмер намерен был его восстановить.

С владельцем дома живо поладили. Утром этого самого дня нотариус виделся с ним, и участок был приобретен за девятнадцать тысяч пятьсот ливров. Он только что оформил договор и пришел получить условленную сумму. Владелец обязывался в течение дня освободить дом, в котором завтра же Диксмер намеревался начать работы.

Подписав договор, Диксмер и Моран отправились вместе с нотариусом на улицу Кордери, чтобы осмотреть покупку.

Это был трехэтажный дом с мезонином. Цокольный этаж когда-то отдавался виноторговцу — там были хорошие подвалы.

Владелец более всего хвастался подвалами; это была самая замечательная часть дома; Диксмер и Моран, казалось, мало ценили их, но чтобы доставить удовольствие хозяину, спустились в ту часть, которую владелец называл своим подземельем.

Продавец не солгал; подвалы были прекрасны. Один из них простирался под улицу Кордери так, что слышно было, как над головой катились кареты.

Диксмер и Моран, казалось, ни во что не ставили эту выгоду и даже говорили о том, что надо заколотить вход к этим отделениям, которые, может быть, бесценны для виноторговца, но совершенно бесполезны для простых обывателей, намеревающихся занимать весь дом.

После подвалов осмотрели сперва первый этаж, потом второй, потом третий; из третьего можно было видеть Тампльский сад; он, как обычно, был занят национальной гвардией, которая пользовалась им с тех пор, как королева перестала там гулять.

Диксмер и Моран узнали свою приятельницу вдову Плюмо, угощавшую с привычной ей расторопностью своим товаром; но у них, без сомнения, не было особого желания быть известными, ибо они старались укрыться за домовладельцем, который показывал им все выгоды этого вида, столь же разнообразного, сколько и приятного.

Тогда покупатель изъявил желание осмотреть мезонин.

Хозяин, вероятно, не ожидавший этого требования, не взял с собой ключа, но обольщаемый пачкой ассигнаций, которые он имел в виду, немедленно сошел за ним.

— Я не ошибся, — сказал Моран, — этот дом именно то, что нам нужно.

— А что вы скажете, каковы подвалы?

— Это помощь providения, избавляющая нас от двух дней работы.

— Вы думаете, что они идут в направлении харчевни?

— Они несколько отклонены влево, но это не важно.

— Однако, — спросил Диксмер, — как проведете вы вапу подземную галерею, уверены ли, что достигнете желаемого пункта?

— Будьте спокойны, любезный друг, это уж мое дело.

— Если бы нам подать отсюда знак, который мы желали?

— Королева не может увидеть его с крыши башни; мезонин находится на ее уровне, как я полагаю, да и то едва ли.

— Все равно, — сказал Диксмер. — Тулан или Мони могут увидеть его из какого-нибудь отверстия и предупредить ее величество.

Диксмер завязал узел на конце белой коленкоровой занавески, высунул ее в открытое окно, как бы это случилось от ветра.

Потом оба, словно им надоело быть в комнате, пошли дожидаться владельца дома на лестнице, притворив за собой дверь третьего этажа, чтобы почтенному человеку не пришла охота убрать развевавшуюся занавесь.

Мезонин был чуть ниже башни, как и предполагал Моран. В этом были одновременно и затруднение и выгода: затруднение потому, что нельзя было общаться знаками с королевой; выгода в том, что эта невозможность устраняла всякое подозрение. Естественно, что за высокими домами стража наблюдала больше.

— Надобно бы найти возможность через Мони, Тулана или дочь Тизона дать ей знать, чтобы она была осторожнее, — проговорил Диксмер.

— Я берусь за это, — отвечал Моран.

Спустились; нотариус дождался в гостиной с подписанным договором.

— Очень хорошо, — сказал Диксмер, — дом мне подходит. Отсчитайте гражданину девятнадцать с половиной тысяч ливров и дайте ему расписаться.

Владелец дома тщательно сосчитал деньги и подписал.

— Тебе известно, гражданин, — сказал Диксмер, — что главным условием было сдать мне дом сегодня же вечером, чтобы завтра я мог поставить мастеровых.

— Что и будет исполнено, гражданин. Ты можешь забрать ключи. Сегодня в восемь часов вечера дом будет очищен.

— Да, виноват, — сказал Диксмер, — ты, кажется, сказал, гражданин нотариус, что есть также выход на улицу Порт-Фуан?

— Как же, гражданин, — сказал хозяин. — Но я велел его заделать, потому что имел лишь одного прислужника, и бедняга из сил выбивался, наблюдая сразу за двумя выходами. Впрочем, дверь так заделана, что за какие-то два часа можно ее снова открыть. Хотите удостовериться, граждане?

— Спасибо, зачем же, — подхватил Диксмер. — Этот выход мне не нужен.

И оба они удалились, заставив владельца дать в третий раз обещание очистить дом к восьми часам вечера.

В десять часов они возвратились: за ними на некотором расстоянии шли пять или шесть рабочих, на которых посреди царствовавшей тогда в Париже смуты никто не обратил внимания.

Сперва оба они вошли. Бывший хозяин сдержал свое слово; дом был совершенно очищен.

Тщательно затворили ставни, высекли огонь и засветили свечи, которые Моран принес в своем кармане.

Вошли пять или шесть человек один за другим.

Это были обычные гости хозяина кожевни, те же контрабандисты, которые однажды вечером намеревались убить Мориса и с тех пор стали его друзьями.

Заперли все двери и сошли в подвал.

Подвал, которым так пренебрегали днем, теперь, вечером, оказался самой важной частью дома.

Заткнули все отверстия, через которые мог бы проникнуть любопытный взор.

Потом Моран мигом поставил пустую кадку и на листе бумаги стал чертить карандашом.

Пока он чертил эти линии, товарищи его вместе с Диксмером вышли из дома, проследовали по улице Кордери и на повороте на улицу Бос остановились перед закрытой каретой.

В карете сидел человек, который молча раздал каждому инструменты: одному лопату, другому лом, третьему заступ, четвертому кирки. Каждый скрыл выданное ему орудие под плащ. Потом все вернулись в дом, а карета исчезла.

Моран кончил свою работу.

Он пошел к одному из углов подвала.

— Вот здесь, — сказал он, — копайте.

И «работники спасения» немедленно принялись за работу.

Положение затворниц Тампельской тюрьмы становилось все более и более затруднительным и несносным. Но королева, принцесса Елизавета и дочь королевы снова исполнились надежды. Из числа муниципалов Тулан и

Лепитр проявили сострадание, участие к августейшим заключенным. Сначала мало избалованные этими признаками симпатии несчастные женщины были недоверчивы; но можно ли не доверять, когда надеешься? Притом какая судьба ожидала королеву, разлученную тюрьмой со своим сыном, разлученную смертью со своим мужем? Ежели ей назначила судьба идти подобно ему на эшафот? Она уже давно ожидала этой участи и смирилась наконец с мыслью о смерти.

В первый раз, как пришла очередь дежурить Тулану и Лепитру, королева спросила их, если правда, что они принимают участие в ее судьбе, то не могут ли они передать ей подробности смерти короля? Это было грустное испытание, которому подвергли их симпатию. Лепитр присутствовал при совершении казни, и он исполнил приказание королевы.

Королева просила доставить ей журналы, в которых описывалось совершение казни. Лепитр обещал принести их в следующее дежурство, которое повторялось каждые три недели.

При жизни короля в Тампле было только трое дежурных: один дежурил днем, а двое ночью. Тулан и Лепитр схитрили, чтобы вместе быть дежурными ночью.

Время дежурства определялось жеребьевкой: надписывали на одной записке «день», а на двух других — «ночь». Каждый вынимал записку из шляпы; случайность сводила караульных на ночь.

Всякий раз, как Лепитр и Тулан были в карауле, они надписывали «день» на всех трех записках и предлагали шляпу тому муниципалу, которому желали данной службы. Тот опускал руку в импровизированную урну и вынимал из нее, разумеется, записку, на которой было написано «день». Тулан и Лепитр уничтожали прочие две, сетуя на судьбу, осуждавшую их на несносное бремя нести службу ночью.

Когда королева стала уверена в этих двух надсмотрщиках, то свела их с кавалером де Мезон Ружем, и тогда была задумана попытка бегства.

Королева и принцесса Елизавета, переодетые муниципальными офицерами и снабженные паспортами, которые обещали им доставить, должны были спастись бегством. Что же касается двух детей, то замечено было, что зажигавший лампы в Тампльской тюрьме всегда приводит с собой двух детей — ровесников юной принцессы и юного принца. Предполагалось, что Тюржи, о котором мы еще не упоминали, оденется в одежду ламповщика и уведет принцессу и дофина.

Расскажем в нескольких словах, кто такой был Тюржи.

Тюржи был заслуженный столовый дворецкий короля, приведенный из Тюильрийского дворца в Тампль с некоторой частью придворных, ибо вначале король имел при себе довольно пристойный штат прислуги. В первый месяц содержание этой прислуги стоило нации от 30 до 40 тысяч франков.

Но как легко понять, подобная щедрость не могла продолжаться. Общественное правление положило этому предел. Отказали офицiantам, столовым дворецким и поварам. Оставлен был один прислужник; этим прислужником был Тюржи.

Таким образом Тюржи самой судьбой становился посредником между заключенными и их сторонниками; он мог выходить со двора, следовательно, относить записки и приносить ответы.

Вообще эти записки были свернуты в виде пробки для графинов с миндальным молоком, которые доставлялись королеве и принцессе Елизавете. Они были записаны лимонным соком, и буквы оставались невидимыми, пока бумагу не нагревали над огнем.

Все было готово к побегу, но однажды Тизон прикурил трубку одной из пробок. По мере того, как сгорала бумага, проявились целые строки. Он погасил полунстлевшую бумагу и отнес ее в Тампльский совет; здесь поднесли ее к огню, но ничего не могли заключить из нескольких слов, не имевших никакой связи; другая частица бумаги была обращена в пепел. Одно только узнали — почерк королевы.

При допросе Тизон донес, что ему показалось, будто бы со стороны Лепитра и Тулана проявлялось некоторое участие к заключенным. Оба были выданы муниципальному правлению и уже не могли войти в Тампл.

Оставался Тюржи.

Но недоверие было возбуждено в высшей степени; никогда не оставляли его одного при принцессах. Общение со сторонниками, находящимися вне тюрьмы, стало невозможным.

Однажды, впрочем, принцесса Елизавета отдала Тюржи ножик с золотой ручкой, которым она обыкновенно разрезала плоды, и попросила его вычистить. Тюржи смекнул, в чем дело, и, вычищая ножик, вынул из ручки лезвие. В ручке находилась записка.

Эта записка заключала целую азбуку условных знаков.

Тюржи возвратил ножик принцессе Елизавете, но находившийся тут же муниципал вырвал его из ее рук, рассмотрел ножик, отделив, в свою очередь, лезвие от ручки. К счастью, записки уже не было. Тем не менее муниципал отобрал ножик.

В то же самое время неутомимый кавалер де Мезон Руж задумал еще одну попытку, которая должна была исполниться посредством дома, только что купленного Диксмером.

Однако со временем заключенные потеряли всякую надежду. В этот день королева, испуганная раздававшимися на улице криками, доходившими и до нее, и узнав из этих криков, что дело идет об осуждении жирондистов, последней опоры умеренности, пришла в безнадежное уныние. С гибелью жирондистов королевская семья не имела уже никого в Конвенте, кто бы защитил ее.

В семь часов подали ужин; муниципалы осмотрели по обыкновению каждое блюдо, развернули одну за другой салфетки, ощупали хлеб — один вилок, другой пальцами, разрезали макароны, раскололи орехи — все это из опасения, чтобы не попала как-нибудь к заключенным записка; потом, приняв все эти предосторожности, пригласили королеву и принцесс сесть за стол:

— Вдова Капета, теперь ты можешь есть.

Королева покачала головой в знак, что не желает кушать.

Но в эту минуту принцесса подошла, как будто желая поцеловать свою мать, и шепнула:

— Сядьте за стол, ваше величество; мне кажется, что Тюржи подаст знаки.

Королева вздрогнула и приподняла голову. Тюржи стоял перед нею с салфеткой под левой мышкой и проводил правой рукой по глазу.

Она тотчас встала и заняла свое обычное место за столом.

Оба муниципала присутствовали во время ужина; им велено было ни на минуту не оставлять принцесс с Тюржи.

Ноги королевы и принцессы Елизаветы столкнулись под столом, и они пожимали друг друга.

Так как королева находилась напротив Тюржи, то ни один из знаков прислужника не ускользнул от нее. Притом же все движения его были так естественны, что не могли внушить и не внушали никакого недоверия муниципалам.

После ужина убрали со стола с теми же предосторожностями, как и при сервировке; мельчайшие крошки хлеба были собраны и рассмотрены, после чего Тюржи вышел первым, потом муниципалы; но жена Тизона осталась.

Эта женщина сделалась свирепой с тех пор, как разлучили ее с дочерью, судьба которой была ей совершенно неизвестна. Всякий раз как королева обнимала дочь, она впадала в неистовство, походившее на безумие; поэтому королева, понимая это страдальческое чувство матери, не раз останавливала себя в ту минуту, когда думала дать себе это утешение, единственное, которое оставалось у нее — прижать к груди свою дочь.

Тизон пришел за своей женой, но последняя тут же объявила, что уйдет только тогда, когда вдова Капета уляжется спать.

Тогда принцесса Елизавета простилась с королевой и пошла в свою комнату.

Королева разделась и легла, а за нею и принцесса. Тогда жена Тизона взяла свечу и вышла.

Муниципалы уже улеглись в свои постели, находившиеся в коридоре.

Луна, эта бледная посетительница заключенных, пропускала сквозь отверстия в ставнях косою луч свой, проходивший от окна до ступеней кровати королевы.

Некоторое время все было спокойно и тихо в комнате.

Потом медленно открылась дверь: прошла тень по лучу света и приблизилась к изголовью постели. Это была принцесса Елизавета.

— Вы видели? — шепотом сказала она.

— Да, — ответила королева.

— И вы поняли?

— Так хорошо, что поверить не могу.

— Постойте, повторите знаки.

— Сначала он провел по правому глазу, чтобы показать, что есть новость. Потом он перенес салфетку из-под левой руки под правую, это означает, что заботятся о нашем освобождении. Потом он поднял свою руку ко лбу в знак того, что помощь, о которой он нас извещает, идет из Франции, а не из заграницы. Потом, когда ему сказали не забыть принести завтра заказанное вами молоко, он сделал два узла на своем платке.

— Стало быть, это опять кавалер де Мезон Руж. Благородное сердце!

— Это он, — сказала Елизавета.

— Спишь ли ты, дочь моя? — спросила королева.

— Нет, матушка, — отвечала та.

— Поди, помолись, знаешь за кого?

Принцесса Елизавета бесшумно добралась до своей комнаты, и в течение пяти минут слышен был голос юной принцессы, обращавшейся среди ночной тишины к богу.

Это было именно в ту минуту, когда по сигналу Морана раздался первые удары лома в подвале дома на улице Кордери.

XVIII. ОБЛАКА

После первых, таких упоительных, взглядов Морис не ожидал такой встречи от Женевьевы: он надеялся, что его вознаградят за потерянное или, по крайней мере, за то, что ему казалось потерянным; он надеялся на свидание наедине.

Но у Женевьевы был свой обдуманый план; она была твердо уверена, что не доставит ему случая остаться с нею наедине, тем более что она припоминала, как опасны эти свидания с глазу на глаз.

Морис надеялся на следующий день; но Женевьеву пришла навестить родственница, без сомнения, заранее ею предупрежденная. Нечего было сказать на этот раз, Женевьева могла быть и не виновата.

При прощании Морису было поручено проводить родственницу, которая жила на улице де Фоссэ-сен-Виктор.

Морис удалился надувшись, но Женевьева улыбнулась ему, и Морис счел эту улыбку за обещание.

Увы! Морис ошибался. На следующий день, 2 июня, день ужасный, когда свершилось падение жирондистов, Морис спровадил своего друга Лорена, который непременно хотел увести его в Конвент, и отложил все, чтобы идти повидаться со своей приятельницей. У Богини Свободы была жестокая соперница — Женевьева.

Морис застал Женевьеву в ее маленькой гостиной. Женевьеву, исполненную прелести и предупредительности; но при ней находилась молоденькая горничная с трехцветной кокардой на голове, которая сидела, не вставая с места, у окна и вышивала метки на платках.

Морис насупил брови; Женевьева заметила, что олимпиец не в духе; она удвоила свое внимание, но так как любезность ее не простерлась до того, чтобы удалить молодую прислужницу, Морис вышел из терпения и отправился домой часом ранее обычного.

Все это могло быть случайным. Морис вооружился терпением. При том же в этот вечер положение дел было столь ужасно, что, хотя Морис с некоторого времени жил, не касаясь политики, известия дошли и до него. Нужно было свершиться падению целой партии, царившей во Франции десять месяцев, чтобы хоть на мгновение отвлечь его от любви.

На другой день, предвидя такое же поведение со стороны Женевьевы, Морис придумал план: через десять минут после своего прихода, увидев, что горничная, пометив дюжину платков, принялась метить шесть дюжин салфеток, Морис вынул часы, встал, поклонился Женевьеве и, ни слова не говоря, вышел.

Скажем еще более: выходя, он ни разу не обернулся.

Женестьева встала, чтобы проводить его взором по саду, но, вдруг побледнев и став в каком-то оцепенении и нервическом страхе, опустилась на стул, пораженная результатом своей дипломатии.

В эту минуту вошел Диксмер.

— Морис ушел? — вскричал он удивленно.

— Да, — проговорила Женестьева.

— Да он только что пришел!

— С четверть часа, не более.

— Стало быть, он вернется?

— Не думаю.

— Оставьте нас, Мюгэ*, — сказал Диксмер.

Горничная избрала именем название цветка из ненависти к имени Марии, которое имела несчастье носить как австриячка.

Выполняя волю хозяина, она встала и вышла.

— Ну что, милая Женестьева, — спросил Диксмер, — помирились вы с Морисом?

— Напротив, друг мой, мне кажется, что мы сегодня холоднее, чем когда-либо.

— А кто виноват на этот раз? — спросил Диксмер.

— Без сомнения, Морис.

— Послушайте, сделайте меня посредником.

— Как, — сказала Женестьева, покраснев, — вы не догадываетесь?

— За что он рассердился? Нет.

— Кажется, он возненавидел Мюгэ.

— Нет, в самом деле? Так надо отказать этой прислуге. Я не хочу лишиться из-за какой-то горничной такого друга, как Морис.

— О, — сказала Женестьева, — я не думаю, чтобы ненависть его дошла до того, чтобы он требовал изгнания ее из дома и что достаточно было бы...

— Чего?

— Чтобы ее удалили из моей комнаты.

— Да, Морис прав, — сказал Диксмер. — Не к Мюгэ, а к вам является Морис с визитом, стало быть, нет никакой надобности, чтобы Мюгэ безвыходно была у вас.

Женестьева взглянула на своего мужа с удивлением.

— Но, друг мой... — сказала она.

— Женестьева, — подхватил Диксмер, — я думал, что вы моя союзница, которая облегчит предпринятый мной труд, а ваши опасения, наоборот, увеличивают наши затруднения. Дня четыре тому назад я полагал все устроенным между нами, а теперь вижу, что надо все снова переделывать. Женестьева, не говорил ли я вам, что полагаюсь на вас, на вашу честь? Не говорил ли я вам, что нужно, наконец, чтобы Морис стал нашим другом, более близким и более доверчивым, чем когда-либо? О, боже мой! Женщины — вечное препятствие нашим намерениям!

— Да, боже мой! Не имеете ли вы какого-нибудь другого средства? Для всех нас лучше было бы, как я уже говорила, чтобы Морис был удален.

— Да, для всех нас может быть, но для той, которая выше всех нас, ради

* Muguet — ландыш.

той, которой мы поклялись пожертвовать нашим состоянием, нашей жизнью, даже нашим счастьем, этот молодой человек должен быть нашим. Знаете ли вы, что Тюржи все сильнее подозревают и что поговаривают уже о новом прислужнике для принцесс?

— Хорошо, я откажу Мюгэ.

— Э, боже мой, Женестьева, — сказал Диксмер с заметным раздражением, столь в нем редким, — зачем говорить мне об этом? Зачем раздувать огонь моих мыслей вашими? Зачем создавать затруднения в самом затруднении? Женестьева, сделайте, как женщина честная, преданная, то, что вы сочтете должным. Теперь скажу вам: завтра меня не будет дома, завтра я замещаю Морана в его инженерных занятиях и не буду с вами обедать, но он останется. Есть просьба к Морису, Моран вам это объяснит. Обдумайте, Женестьева. То, о чем нужно просить его, очень важно; это не цель, к которой мы стремимся, но средство. Последняя надежда на этого человека, столь доброго, столь благородного, столь преданного вашего и моего покровителя, которому мы должны пожертвовать жизнью.

— И для которого я отдам свою! — с жаром вскричала Женестьева.

— И этого-то человека, Женестьева, — не знаю, как это случилось, — вы не сумели сделать приятным Морису, что всего важнее, так как сегодня в дурном расположении духа, в которое вы его ввергли, Морис откажет, может быть, Морану в том, о чем он будет просить и на что необходимо склонить его во что бы то ни стало. Хотите ли, чтобы я сказал вам, Женестьева, к чему поведет Морана вся ваша чопорная деликатность и сентиментальность?

— О, сударь, — вскричала Женестьева, побледнев и всплеснув руками, — не будем никогда говорить об этом!

— Итак, — подхватил Диксмер, поцеловав жену в лоб, — будьте тверды и рассудительны.

И он вышел.

— О, боже мой, боже мой, — с грустью проговорила Женестьева, — сколько усилий прилагается с их стороны, чтобы я согласилась на любовь, к которой так стремится моя душа!..

Следующий день, как мы сказали, был день декады*.

В семействе Диксмера был, как и во всех семействах разночинцев того времени, обычай — это более продолжительный и церемонный обед в праздничный день, нежели в прочие дни. Морис был приглашен однажды и навсегда к воскресному обеду и никогда не пропускал его. В эти дни, хотя по обыкновению садились за стол только в два часа, Морис являлся в двенадцать.

Судя по тому, как он расстался, Женестьева почти отчаялась увидеть его.

В самом деле, пробило 12 часов, а Мориса еще не было, потом половина первого и час.

Нельзя выразить, что происходило в сердце Женестьева в эти минуты ожидания.

Сначала она оделась было как можно проще; потом, видя, что он мешкает, из чувства кокетства, столь естественного сердцу женщины, она приколола цветок к поясу, другой в волосы и стала опять дожидаться,

* По тогдашнему республиканскому календарю.

чувствуя, что сердце ее все более и более сжимается. Уже почти было время садиться за стол, а Морис не являлся.

Без десяти два Женевьева услышала мерный шаг лошади Мориса, этот шаг, который так был ей знаком.

— О, вот он, — вскричала она. — Гордость его не могла восторжествовать над любовью! Он любит меня!.. Он любит меня!

Морис слез с лошади, которую передал садовнику, но приказал ему дожидаться. Женевьева смотрела, как он слезал, и с беспокойством видела, что садовник не ведет лошадь в конюшню.

Морис вошел; в этот день он был очаровательно хорош. Черный широкий кафтан с большими лацканами, белый жилет, лосины, обрисовавшие его стройные ноги, воротничок белого батиста и прекрасные волосы, обрамлявшие прямой и открытый лоб, — все это украшало и возвышало его мощную фигуру.

Он вошел. Как мы уже сказали, появление его обрадовало Женевьеву, и она приняла гостя с радостью.

— А, наконец-то, — сказала она, протянув ему руку, — вы с нами обедаете, не правда ли?

— Напротив, граждanka, — холодно отвечал Морис, — я пришел просить вас извинить меня.

— Вы не останетесь?

— Да, дела секции требуют моего присутствия. Я боялся, чтобы вы не стали дожидаться меня и не обвинили бы в невежливости; вот почему я и заехал.

Женевьева почувствовала в сердце, несколько успокоившемся, новое стеснение.

— О, боже мой! — сказала она. — А Диксмер не обедает дома, он так надеялся застать вас здесь по возвращении и поручил мне вас удержать.

— А, в таком случае понимаю вашу настойчивость. Это потому, что муж велел. А я не догадывался. Видно, я никогда не избавлюсь от своей самонадеянности.

— Морис!..

— Сударыня, мне приходится руководствоваться более вашими действиями, нежели вашими словами. Мне следует понять, что если Диксмера нет дома, то и мне не должно оставаться. Отсутствие его приведет вас в еще большее смущение.

— Почему же? — с радостью спросила Женевьева.

— Потому что вы, кажется, стараетесь избегать меня. Я возвратился для вас, ради вас одной, вы это знаете, и с тех пор я беспрестанно нахожу здесь других, вместо того чтобы быть с вами.

— Ну, полноте! — сказала Женевьева. — Вот вы опять сердитесь, друг мой, а ведь я делаю как лучше.

— Нет, Женевьева, вы можете еще лучше сделать: это или принимать меня так, как прежде, или совсем отказать от дома.

— Послушайте, Морис, — с нежностью сказала Женевьева, — поймите мое положение, узнайте мои мучения и не будьте более тираном.

И молодая женщина, подойдя к нему, взглянула на него с грустью.

Морис замолчал.

— Но чего же хотите вы от меня? — продолжала она.

— Я хотел вас любить, Женевьева, ибо чувствую, что не могу существовать без этой любви.

— Морис, пожалуйста...

— Так вам надо было дать мне умереть, сударыня! — вскричал Морис.

— Умереть!

— Да, умереть или забыть!

— Стало быть, вы могли бы забыть, вы! — произнесла Женевьева, у которой слезы засверкали на глазах.

— О, нет, нет, — проговорил Морис, падая на колени. — Нет, Женевьева, умереть — может быть, забыть — никогда, никогда!

— А между тем, — с твердостью возразила Женевьева, — это было бы лучше, Морис, ибо эта любовь преступна.

— Говорили ли вы об этом Морану? — сказал Морис, приведенный в себя этой внезапной холодностью.

— Гражданин Моран не безумец, как вы, Морис, и никогда не давал повода указывать, как он должен вести себя в доме друга.

— Побьемся же о заклад, — отвечал Морис с иронической улыбкой, — побьемся, что если Диксмер не обедает у себя, то Моран из дома не выходит. А, вот что надо иметь мне в виду, чтобы я не любил вас! Пока этот Моран будет здесь, под боком, не отходя от вас ни на секунду, — продолжал он с презрением, — о, нет, нет, я вас не буду любить или, по крайней мере, я никогда не сознаюсь себе, что вас люблю!

— А я, — вскричала Женевьева, выведенная из себя этой вечной ревностью и схватив с каким-то неистовством руку молодого человека, — я клянусь вам, слышите ли вы, Морис, и чтобы это было сказано раз и навсегда, чтобы это было сказано с тем, чтобы никогда более не повторять, — клянусь вам, что Моран никогда ни слова не говорил мне о любви, что Моран никогда не любил меня, что никогда Моран не будет меня любить. Я вам клянусь моей честью, я вам клянусь прахом моей матери.

— Ах, — вскричал Морис, — как мне хотелось бы вам поверить!

— О, поверьте мне, бедный безумец, — сказала она с такой улыбкой, которая для любого, кроме ревнивца, была бы очаровательным признанием. — Поверьте мне. Притом хотите вы знать более? Извольте, Моран любит одну женщину, перед которой все женщины мира ничто, как полевые цветы ничто перед звездами неба.

— Какая женщина, — спросил Морис, — до такой степени может принизить всех женщин, когда в их числе вы, Женевьева?

— Та, которую любишь, — возразила Женевьева с улыбкой, — не есть ли всегда совершенство, скажите мне?

— В таком случае, — сказал Морис, — если вы не любите меня, Женевьева...

Молодая женщина с томлением дожидалась конца этой мысли...

— Если вы не любите меня, — продолжал Морис, — то можете ли поклясться мне, что не будете любить другого?

— О, насчет этого, Морис, клянусь вам и от всей души! — вскричала Женевьева в восторге, что Морис сам предложил ей примирение с жеманством.

Морис схватил обе руки Женевьевы, приподнял их и осыпал горячими поцелуями.

— С этой минуты, — сказал он, — я буду добр, сговорчив, полон доверия, я буду великодушен!.. Я хочу вам улыбаться, я хочу быть счастливым?

— И ничего более не будете требовать?

— Постараюсь.

— Теперь, — сказала Женевьева, — мне кажется, что можно отвести вашу лошадь в конюшню. Секция подождет.

— О, Женевьева! Я бы хотел, чтобы вся вселенная дожидалась и чтобы она дожидалась из-за вас.

На дворе раздались шаги.

— Идут звать нас к обеду, — сказала Женевьева.

Они украдкой пожали друг другу руки.

Это был Моран с известием, что ждут только Мориса и Женевьевы, чтобы сесть за стол.

И он так же щегольски разделся к этому обеду воскресного дня.

ХІХ. ПРОСЬБА

Моран, разодетый с такой изысканностью, был какой-то загадкой для Мориса.

Тончайший франт, рассматривая узел его галстука, складки его сапог, тонину (прозрачность, тонкость батиста) его рубашки, не нашел бы, в чем упрекнуть его.

Но надо сознаться, что у него остались те же волосы и те же очки.

«Черт меня возьми, — подумал Морис, идя ему навстречу, — если я с этой минуты когда-нибудь приревную тебя к кому-нибудь, чудный гражданин Моран! Надевай на себя хоть каждый день, если хочешь, свой сизо-голубой кафтан, а на праздники шей себе хоть парчовое платье. С этого дня даю слово ничего не замечать в тебе, кроме твоих волос и твоих очков, и тем более не обвинять тебя в любви к Женевьеве».

Не трудно понять, что после этого внутреннего монолога Морис подал руку гражданину Морану и подал ее с большим радушием, нежели бывало прежде.

Обед против обыкновения был проведен в узком кругу. Столик был накрыт только на три персоны. Морис постиг, что под этим столиком он может встретить ножку Женевьевы. Ножка продлит немую речь любви, начатую рукой.

Сели. Морис видел Женевьеву сбоку; она находилась между ним и светом; ее черные волосы отливали синевой, подобно воронову крылу; взор ее был полон любви.

Морис, двигая ногой, наткнулся на ножку Женевьевы. При первой встрече он искал тень на лице ее и увидел, что румянец и бледность ее вдруг сменялись один другим, но маленькая ножка неподвижно покоилась между его ступнями.

Накинув на себя светло-голубой наряд, Моран, казалось, овладел и тем светлым умом, уже известным Морису, который, отражаясь в речи этого

странного человека, без сомнения, еще более оживился бы ярким взором его, если бы зеленые очки не затемняли его.

Он, высказывая тысячу шуток, даже не улыбался; но что особенно усиливало остроты, что придавало им неизъяснимую прелесть, так это его непоколебимое хладнокровие. Этот негодяй по коммерческим кожаным оборотам много путешествовал. Этот негодяй и грубой кожей пантеры и шкуркой кролика; этот хитрик с багровыми по локоть руками знал Египет, как Геродот, Африку, как Левальян, а оперу и будуары, как светский франт.

— Черт побери, гражданин Моран, — сказал Морис, — вы не только светский человек, но даже ученый!

— О, я много видел и в особенности много читал, — сказал Моран. — Притом не должен ли я подготовить себя к светской жизни, в лабиринт которой надеюсь вступить, когда повезет Фортуна? А уже время, гражданин Морис, время!

— Полноте, — сказал Морис, — вы выражаетесь словами старика. А сколько вам лет?

Моран вздрогнул при этом вопросе, впрочем, весьма естественном.

— Мне тридцать восемь лет, — сказал он, — да, вот что значит быть ученым, как вы говорите, их лета неопределенны.

Женевьева расхохоталась. Морис вторил ей, Моран же только улыбнулся.

— Так вы много путешествовали? — спросил Морис, подавляя своей ножицей ножку Женевьевы, которая старалась неприметно высвободить ее.

— Я провел часть моей молодости за границей, — отвечал Моран.

— Много видели, виноват, много сделали наблюдений, хотел я сказать, — подхватил Морис. — Такой человек, как вы, не оставит ничего без внимания.

— Да, признаюсь, много видел, — отвечал Моран. — Прибавлю даже, что я все видел.

— Все, гражданин, это много, — подхватил, усмехнувшись, Морис. — Если вы поищите...

— Ах, да, королева, — сказал Моран. — Вы правы, господин Морис, никогда не видел. Правда, в наше время два предмета встречаются все реже.

— Кто же это? — спросил Морис.

— Первое, — важно отвечал Моран, — это бог.

— А, — сказал Морис. — Зато я могу показать вам богиню.

— Как это? — прервала Женевьева.

— Да, богиню новейшего произведения, новоизобретенную Богиню Разума. Мой друг, о котором вы иногда слышали от меня, любезный, добрый Лорен, золотой человек; но одна беда — он сочиняет четверостишия и каламбуры.

— Так что же?

— А то, что он заплатил дань городу Парижу Богиней Разума, так ловко выбранной, что не к чему придраться. Это гражданка Артемиза, бывшая оперная танцовщица, ныне торгующая разными духами на улице Марген. Когда окончательно посвятит ее в богини, я берусь вам представить ее.

Моран с важностью благодарил Мориса наклоном головы и продолжал:

— Другое, — сказал он, — это король.

— О, это уже труднее, — подхватила Женестьева, стараясь улыбнуться. — Его нет более.

— Вы бы постарались насмотреться на последнего, — добавил Морис.

— Да, вот почему, — сказал Моран, — я не могу иметь понятия о коронованном челе. А ведь это печально.

— И очень, — отвечал Морис, — уверяю вас. А я почти каждый месяц вижу одну особу.

— Коронованное чело? — спросила Женестьева.

— Почти что так, — подхватил Морис. — Чело, на котором лежало тяжелое и мрачное ярмо короны.

— Ах, да, королева, — сказал Моран. — Вы правы, господин Морис, это должно быть скорбное зрелище.

— Так ли она красива и величественна, как говорит о ней молва? — спросила Женестьева.

— Неужели вы ее никогда не видели, сударыня? — спросил удивленный Морис.

— Я? Никогда... — ответила молодая женщина.

— В самом деле, — сказал Морис, — это странно!

— Отчего же странно? — отвечала Женестьева. — Мы жили в провинции до 91-го года, с 91-го я живу на старой улице Сен-Жак, которая очень похожа на деревню, разве с той разницей, что в ней никогда не видишь солнце, мало воздуха и немного цветов. Вам известна моя жизнь, гражданин Морис. Она всегда была такова. Где же вы хотите, чтобы я видела королеву? Я не имела никогда случая.

— И не думаю, чтобы вы воспользовались тем, который, к несчастью, может представиться! — сказал Морис.

— Что вы этим хотите сказать? — спросила Женестьева.

— Гражданин Морис, — подхватил Моран, — намекает на одно предложение, что уже и не тайна.

— Какое же? — спросила Женестьева.

— Вероятно, он имеет в виду приговор Марии-Антуанетте и ее печальный конец там же, где погиб ее муж. Гражданин говорит, что вы не воспользуетесь случаем, чтобы взглянуть на нее в этот день, когда она оставит Тампль, чтобы ступить на площадь Революции.

— О, конечно, нет! — вскрикнула Женестьева после слов Морана, произнесенных им с ледяным хладнокровием.

— Тогда накиньте на это скорбную завесу, — продолжал равнодушный химик, — ибо австриячку бдительно стерегут, а республика такая волшебница, что хоть кого обратит в невидимку.

— Признаюсь, — сказала Женестьева, — что мне любопытно было бы взглянуть на эту несчастную.

— Послушайте, — сказал Морис, горя нетерпением предупредить малейшее желание Женестьевы. — Действительно ли вам это угодно? Тогда одного слова вашего довольно; республика, правда, волшебница, согласен с гражданином Мораном, но я, в качестве муниципала, как вам известно, также владею волшебным жезлом.

— Так вы мне можете доставить случай видеть королеву? — вскрикнула Женестьева.

— Конечно.

— Как же это? — спросил Моран, обменявшись с Женевьевой быстрым взглядом, который, однако же, не заметил молодой человек.

— Нет ничего проще, — сказал Морис. — Нельзя сомневаться, что есть муниципалы, на которых не надеются; но я достаточно доказал мою благонадежность, чтобы не быть в числе их. Притом же вход в Тампль зависит как от муниципалов, так и от начальника караула. В день моего дежурства, как бы нечаянно, заведующий караулами будет мой друг Лорен, который, кажется, впоследствии может заместить генерала Сантера, о чем можно заключить из того, что он в три месяца из капралов повышен до майора. Ну так вот! Приходите ко мне в Тампль в день моего дежурства, то есть в будущий четверг.

— Ну, видите! — сказал Моран. — Как все делается по вашему желанию, как будто нарочно все так сошлось.

— О, нет, нет, — сказала Женевьева, — я не хочу.

— Почему же? — вскричал Морис, который в посещении Тампля видел лишь средство пробыть некоторое время с Женевьевой в тот день, в который он лишен был этого счастья.

— Потому, — сказала Женевьева, — что вам за это придется отвечать, любезный Морис. И если бы что случилось с вами, нашим другом, если бы из-за исполнения моей прихоти с вами случились бы неприятности, то этого я себе вовек не прошу.

— Что благоразумно, то благоразумно, Женевьева, — сказал Моран. — Поверьте мне, ныне общая недоверчивость; подозревают даже самых преданных патриотов; откажитесь лучше от этого намерения, которое не что иное для вас — что вы и сами подтверждаете, — как прихоть.

— Подумаешь, что вы это из зависти говорите, Моран, и что, не выдав никогда ни короля, ни королевы, вы не хотите, чтобы и другие их видели. Ну, полноте рассуждать, будьте нашим спутником.

— Я! О, нет!..

— Теперь уже не гражданка Диксмер желает войти в Тампль, а я прошу ее и вас прийти и скрасить одиночество несчастного узника. Надо сказать, что, когда за мной запрут ворота, к счастью, только на 24 часа, я становлюсь таким же пленником, как король или принцессы крови. Приходите же, умоляю вас.

— Ну, Моран, — сказала Женевьева, — проводите же меня.

— Это будет потерянный день, — сказал Моран.

— Так и я не пойду, — прибавила Женевьева.

— Почему же? — спросил Моран.

— Боже мой, очень просто, — сказала Женевьева, — потому что я не уверена, что муж пойдет со мной и что если вы не возьметесь быть моим провожатым, вы, человек рассудительный, человек тридцати восьми лет, то во мне неостанет смелости прийти мимо артиллеристов, егерей и гренадер и просить свидания с муниципалом, который только тремя или четырьмя годами старше меня.

— В таком случае, гражданин, — сказал Морис Морану, — если вы обыкновенный смертный, пожертвуйте половиной дня жене вашего друга.

— Извольте! — сказал Моран.

— Теперь, — подхватил Морис, — я у вас только одного прошу — это скромности. Само посещение Тамплия навлекает подозрение. Если затем последует какой-нибудь несчастный случай, всем нам неизбежно предстоит потерять голову на плахе. Якобинцы не шутят, черт возьми! Вы, кажется, слышали, как они обошлись с жирондистами?

— Тыфу, пропасть, — сказал Моран, — надо принять во внимание все, что говорит гражданин Морис. Такой способ окончить торговые занятия мне совсем не по нутру.

— Разве вы не слышали, — с улыбкой подхватила Женестьева, — что гражданин Морис сказал «всем нам»?

— Ну, что же, что «всем»!

— Всем нам вместе.

— Да, — проговорил Моран, — общество весьма приятное, но я охотнее соглашусь, моя сентиментальная красавица, пожить в вашем обществе, нежели умереть.

«Кой черт, где же была моя голова, — подумал Морис, — когда я воображал, что этот человек влюблен в Женестьеву?»

— Так решено, — ответила Женестьева. — Моран, я к вам обращаюсь, к вам, рассеянному, к вам, вечно задумчивому. Стало быть, в будущий четверг. Не вздумайте в среду вечером начать какой-нибудь химический опыт, который задержит вас на двадцать четыре часа, как это бывает с вами.

— Будьте покойны, — сказал Моран, — притом же вы мне накануне напомните.

Женестьева встала из-за стола, Морис последовал ее примеру. Не отстал бы от них и Моран, но один из мастеровых принес химику небольшой пузырек со спиртом, который и привлек все его внимание.

— Уйдем скорей, — сказал Морис, увлекая Женестьеву.

— О, успокойтесь, — молвила Женестьева, — это займет всего часа два.

И молодая женщина протянула ему свою руку, которую он сжал в своих. Она раскаивалась в своих ухищрениях и счастьем платила ему за это раскаяние.

— Видите ли, — сказала она, прохаживаясь по саду и указывая Морису на пунцовые гвоздики, которые вынесли на воздух, чтоб их оживить. — Бедняжки, цветочки мои погибли.

— А в чем причина? Ваша небрежность, — сказал Морис. — Бедные гвоздики!

— Совсем не моя небрежность, а ваша невнимательность, друг мой.

— Однако же требования их были невелики, Женестьева. Капля воды, вот и все, а в мое отсутствие вы на это имели довольно времени.

— Ах, — сказала Женестьева, — если б цветы поливались слезами, эти бедные гвоздики не могли бы засохнуть.

Морис обнял ее, живо прижал к сердцу, и прежде нежели она успела защититься — жар уст его горел на полутомном, полуулыбающемся лице ее, обращенном к погибшим растениям.

Женестьева чувствовала себя до такой степени виновной, что благосклонно все сносила.

Диксмер вернулся довольно поздно и когда прибыл, то застал Морана, Женестьеву и Мориса в саду спорящими о ботанике.

XX. ЦВЕТОЧНИЦА

Наконец настал знаменитый четверг, день дежурства Мориса.

Это было в июне. Уже начинало ощущаться приближение ужасной собаки, которую древние представляли томимой неутолимой жадой и которая по верованию парижских плебеев гладко вылизывает мостовые. Париж был чист, как ковер, и душистый аромат, поднимаясь от цветов и исходя от деревьев, как будто старался хоть несколько изгладить из памяти жителей столицы чад крови, беспрестанно дымящийся на ее площадях.

Морис должен был прибыть в Тампль к девяти часам; два его сотоварища были Мерсево и Агрикола. В 8 часов он уже был на улице Сен-Жак в полном наряде гражданина муниципала, то есть трехцветный шарф опоясывал его стройный, гибкий, мужественный стан; он по обыкновению своему приехал верхом к Женевьева, пожиная на пути нелестивые хвалы и одобрение взиравших на него достойных патриотов, мимо которых он проезжал.

Женевьева уже была готова; на ней было простое кисейное платье, что-то вроде мантильи из тонкой тафты, чепчик, украшенный трехцветной кокардой, — она в этом простом наряде была очаровательна.

Моран, который, как мы помним, заставил долго упрашивать себя стать их спутником и, конечно, опасаясь, чтобы не приняли его за аристократа, надел обыкновенное будничное платье — полусветское, полуремесленное. Он только что пришел с улицы, и на лице его были следы усталости.

Он утверждал, что целую ночь просидел, чтобы докончить какое-то необходимое дело.

Диксмер вышел тотчас по прибытии Мориса.

— Итак, что вы решили, Морис? Как же мы увидим королеву? — спросила Женевьева.

— Выслушайте, — сказал Морис. — Мой план составлен: я с вами вместе явлюсь в Тампль; познакомлю вас с Лореном, моим другом, который командует караулом, потом займу свое место и в удобную минуту приду за вами.

— Но, — спросил Моран, — где же мы увидим заключенных и каким образом?

— Во время завтрака или обеда, ежели вы согласны, сквозь окно, в которое за ними наблюдают муниципалы.

— Прекрасно, — сказал Моран.

Тогда Морис увидел, что Моран приблизился к шкафу, стоявшему в глубине столовой, и выпил залпом полный стакан вина. Это его удивило. Моран был очень воздержан и обыкновенно пил вино с водой.

Женевьева заметила, что Морис смотрел удивленно на пьющего.

— Вообразите, — сказала она, — Моран до того заработался, что у него со вчерашнего утра ничего еще во рту не было.

— Разве он здесь не обедал? — спросил Морис.

— Нет, он делает опыты в городе.

Женевьева приняла напрасную предосторожность. Морис, как истинно влюбленный, то есть как эгоист, смотрел на это действие Морана взором человека влюбленного, который обращает только поверхностное внимание на все, что не относится к предмету его страсти.

К этому стакану вина Моран добавил ломоть хлеба, который разом проглотил.

— Ну теперь, — сказал он, — я готов, любезный гражданин Морис, и мы тронемся по вашему приказанию.

Морис, который ощипывал листки одной из завянувших гвоздик, по пути им сорванной, подал руку Женевьеве, проговорив: «Пойдемте».

Они двинулись в путь. Морис был так счастлив, что грудь его не могла вмещать всего довольства. Он бы вскрикнул от радости, ежели бы не сдерживался. И вправду, чего же он мог желать еще? Он был уверен, что не только не любили Морана, но имел надежду быть любимым. День был прекрасный. Солнце яркими и горячими лучами озаряло землю. Идя с Женевьевой под руку, он чувствовал ее трепет; народные же глашатаи, что есть силы диким ревом возвещая торжество якобинцев, кричали о низвержении Бриссо и его соучастников, объявляя отечество спасенным.

Действительно, есть минуты в жизни, когда сердце человеческое слишком тесно, чтобы вмещать радость или печаль, в нем сосредоточенную.

— О, чудный день! — вскрикнул Моран.

Морис обернулся; его удивил этот возглас, этот первый порыв вырвавшегося восторга, у человека всегда скрытного и рассеянного.

— О да, да, удивительный! — сказала Женевьева, оперевшись на руку Мориса. — Как ясен, как хорош день. Если бы он мог остаться таким до вечера!

Морис отнес эти слова к себе, и его счастье удвоилось.

Моран сквозь зеленые очки свои взглянул на Женевьеву с особенным выражением признательности; может быть, и он отнес к себе эти слова.

Они перешли Малый мост, улицу Жюивери и Порт-Дамский мост, потом направили шаги на площадь Ратуши, улицу Бар-дю-Бек и улицу Сент-Авуа. Чем ближе подходили, тем легче становились шаги Мориса, спутники же его, напротив, все более и более отставали.

Так дошли они до улицы Виель-Одриетт. Тут вдруг цветочница заслонила дорогу нашим пешеходам, подавая им большие букеты цветов.

— О, какие прелестные гвоздики! — вскрикнул Морис.

— Да, да, превосходные, — сказала Женевьева. — Кажется, что тот, кто их растил, не имел других забот. Они не погибли у него.

Это слово сладостно отдалось в сердце молодого человека.

— Ах, красавец муниципал, — сказала цветочница, — купи удивительные гвоздики. Белое к пунцовому идет. Она приколет букет к платью пригожей гражданки. Она вся в белом. Вот красный букет к сердцу, и так как ее сердце близ твоего голубого мундира, то вот вам и национальные цвета.

Цветочница была молода и хороша, она высказала свое приветствие с особой ловкостью. Впрочем, ее приветствие весьма кстати пришлось; и если бы нарочно придумывать его, то лучше бы нельзя приноровить к обстоятельствам; к тому же цветы были в ящичке красного дерева.

— Да, — сказал Морис, — я беру у тебя эти цветы потому только, что это гвоздики. Слышишь ли? Прочих же цветов я не терплю.

— Но, Морис, — сказала Женевьева, — это совершенно не нужно, у нас так много их в саду.

Однако же вопреки отказу, сорвавшемуся с уст, глаза Женевьевы высказывали, что ей смертельно хотелось бы иметь букет.

Морис выбрал лучший из букетов, это был тот самый, который подала цветочница.

Он состоял из двадцати пунцовых гвоздик острого, приятного запаха. Среди них красовалась одна — огромной величины.

— Возьми, — сказал Морис торговке, бросив ей пятифранковую ассигнацию, — возьми — это тебе.

— Спасибо, мой пригожий муниципал, — сказала цветочница. — Пять раз спасибо.

И она обратилась к другой паре граждан в надежде, что день, так хорошо начатый, будет благоприятным. Во время этой сцены, продолжавшейся несколько секунд, Моран, чуть стоя на ногах, потирал лоб, а Женевьева, бледная, вся дрожала; она взяла букет, поданный ей Морисом, и поднесла к лицу не столько для того, чтобы насладиться благоуханием, сколько для того, чтобы скрыть свое смущение.

Дальнейший путь продолжался в веселом расположении духа, по крайней мере, со стороны Мориса. Веселость Женевьевы была явно натянутая. Что касается Морана, то веселость его проглядывала странным образом, то есть подавленным вздохом, громким смехом и шутками всякого рода насчет прохожих.

В девять часов прибыли в Тампль. Сантер окликал муниципалов.

— Я здесь, — сказал Морис, поручая Женевьеву надзору Морана.

— А, добро пожаловать! — сказал Сантер, протягивая руку молодому человеку.

Морис остерегался не взять руки. Дружба Сантера в это время была весьма значительная вещь.

Женевьева невольно вздрогнула, а Моран побледнел.

— Кто эта прекрасная гражданка? — спросил Сантер. — И зачем она пришла сюда?

— Это жена доброго гражданина Диксмера; не может быть, чтобы ты не знал этого достойного патриота, гражданин генерал!

— Да, да, — сказал Сантер, — хозяин кожевни, капитан егерского легиона Виктора.

— Именно.

— Дельно, дельно. Она и впрямь прехорошенькая. А что это за мартышка ведет ее под руку?

— Это гражданин Моран, компаньон ее мужа, егерь роты Диксмера. Сантер приблизился к Женевьеве.

— Добрый день, гражданка! — сказал он.

Женевьева принужденно молвила:

— Здравствуйте, гражданин генерал, — и невольно улыбнулась Сантеру приятно польстила улыбка и титул.

— Зачем пожаловала сюда прекрасная патриотка? — продолжал Сантер.

— Гражданка, — подхватил Морис, — никогда не видала пленницы Тампля и желала бы взглянуть на нее.

— Да, — сказал Сантер, — прежде чем. — и он сделал рукой ужасный жест.

— Вот именно, — холодно промолвил Морис.

— Хорошо, — сказал Сантер, — старайся только, чтобы те не видели, как они войдут в башню. Это будет дурной пример. Впрочем, я полностью полагаюсь на тебя.

Сантер снова дружески пожал руку Мориса и, с покровительственным видом кивнув Женевьеве, отправился к другим по своей должности занятиям.

После довольно значительных эволюций гренадер и егерей, после передвижений орудий, грохот которых мог вселить в окрестностях спасительный страх, Морис взял опять Женевьеву под руку и, сопровождаемый Мораном, приблизился к посту, у ворот которого Лорен, надрываясь, выкрикивал команды своему батальону.

— Ага! — вскрикнул он. — Вот и Морис, да еще, поди ж ты, с какой-то недурненькой женщиной. Ужели эта пташка пожелает соперничать с моей Богиней Разума? Ежели так, пропала моя Артемиза!

— Ну что ж, гражданин адъютант? — сказал капитан.

— И вправду. Слушай! — скома! довал Лорен. — Правое плечо вперед! Здорово, Морис! Скорым шагом марш!

Барабаны ударили, роты разошлись по караулам, и, когда все заняли свои места, Лорен подошел к ним.

Морис представил Лорена Женевьеве и Морану.

Потом начались объяснения.

— Да, да, понимаю, — сказал Лорен. — Ты желаешь, чтобы гражданин и гражданка смогли войти в башню, это вещь возможная. Я только расставлю часовых и предупрежу их, чтобы они пропустили тебя и твоих приятелей.

Минут десять спустя Женевьева и Моран вошли за тремя муниципалами и заняли места за стеклянной перегородкой.

XXI. КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

Королева только что встала. Чувствуя себя два или три дня нездоровой, она сделала усилие и, чтобы дать возможность своей дочери немного подышать воздухом, спросила дозволения прогуляться на террасе, в чем не было ей отказа.

К тому же ее побуждала другая причина. Однажды, правда, случай единственный, она с высоты башни увидела дофина в саду, но первый же знак, которым обменялись сын и мать, Симон заметил и в ту же минуту заставил ребенка воротиться домой.

Но что до того! Она видела, и этого уже было много. Правда, бедный малютка-пленник был бледен и очень изменился. К тому же он был одет, как ребенок простого звания — в карманьолку и грубое нижнее платье; но ему оставили длинные, белокурые кудри, украшавшие его, как лучезарным венцом.

Если бы она могла еще раз увидеть, какое это было бы торжество для материнского сердца!

К тому же было еще другое.

— Сестрица, — сказала принцесса Елизавета, — вы знаете, что мы

нашли в коридоре пучок соломы, всунутый в угол стены. По нашим сигналам это значит: принять меры осторожности и то еще, что друг близок к нам.

— Это правда, — отвечала королева, взирая на свою сестру и дочь с состраданием и стараясь ободриться, чтобы не отчаяться в их спасении.

Исполнив обязанности по службе, Морис тем более был хозяином в Тампльской башне, что случай назначил его быть дежурным днем, а муниципалов Агриколу и Мерсевалью ночью.

Сменившиеся муниципалы ушли, оставив свой отчет в совете Тампля.

— А что, гражданин муниципал, — сказала жена Тизона, кланяясь Морису, — вы привели с собой кой-кого, чтобы взглянуть на наших горлиц? Одна только я осуждена не видеть мою бедную Элоизу.

— Это мои друзья, которые еще никогда не видывали вдовы Капета.

— Так им очень хорошо будет стать за стеклянной дверью.

— Разумеется, — сказал Моран.

— Только мы будем похожи на тех безжалостных любопытных, — сказала Женевьева, — которые приходят наслаждаться страданиями пленников.

— Что бы вам поставить на дороге в башне ваших друзей! Она там прогуливается сегодня с сестрой и дочерью. Ей оставили дочь, тогда как у меня, которая ни в чем не виновата, отняли мою. О аристократы! Что бы они ни делали, вечно будет им снисхождение, гражданин Морис!

— Но у нее отняли сына! — отвечал последний.

— Ах, если б я имела сына, — проговорила тюремщица, — я думаю, что менее скорбела бы о дочери.

В это время Женевьева несколько раз обменялась взглядом с Мораном.

— Друг мой, — сказала молодая женщина Морису, — гражданка права. Если бы вы могли каким-нибудь образом поставить меня на пути Марии-Антуанетты, мне бы не так неловко было смотреть на нее отсюда. Мне кажется, что глядеть подобным образом на людей унижительно и для них, и для нас.

— Добрая Женевьева, — сказал Морис, — как вы всегда деликатны.

— Да, черт возьми, гражданка, — вскричал один из товарищей Мориса, объедавшийся в передней комнате хлебом и сосисками, — если бы вам довелось сидеть в тюрьме, а вдова Капета любопытствовала вас видеть, она бы не была так разборчива, чтобы отказать себе в этой прихоти.

Женевьева, движением быстрее молнии, повернулась к Морану, чтобы прочесть в его глазах, какое действие произвела на него эта выходка. Действительно, Моран вздрогнул; странный свет, как бы фосфорический, сверкнул в его глазах. Судороги мгновенно свели его кулаки, но все это было так быстро, что осталось незамеченным.

— Как зовут этого муниципала? — спросила она у Мориса.

— Это гражданин Мерсеваль, — отвечал молодой человек. Потом прибавил, как бы извиняясь за его грубость: — Каменотес.

Мерсеваль, услышав это, покосился на Мориса.

— Ну! Ну! — сказала жена Тизона. — Доканчивай скорей свою сосиску и полбутылку вина, пора убрать.

— Это не вина австриячки, ежели я завтракаю в эти часы, — проворчал муниципал. — Если бы в ее власти было заставить убить меня 10 августа, она

бы сделала это; зато в тот день, в который она чихнет в мешок, я буду в первых рядах, как прикованный к своему месту.

Моран побледнел, как мертвый.

— Пойдемте, пойдемте, гражданин Морис, — сказала Жсневьева, — пойдемте туда, куда вы хотели нас вести; здесь, мне кажется, я как будто сама в заключении, мне душно.

Морис повел Морана и Жсневьеву; часовые, предупрежденные Лореном, пропустили их беспрепятственно.

Он поставил их в маленькое углубление верхнего этажа, так, что в то время, когда королева, принцесса Елизавета и дочь королевы должны были подняться на галерею, августейшие заключенные непременно прошли бы мимо них.

Так как прогулка назначена была на десять часов и оставалось только несколько минут до этого времени, то Морис не только не оставил друзей своих, но еще, чтобы и малейшее подозрение не пало на это предприятие, хотя не совсем правильное, встретив гражданина Агриколу, взял его с собой.

Пробило десять часов.

— Отворите! — крикнул голос снизу. Морис узнал его — это был голос генерала Сантера.

В ту же минуту караульные бросились к ружьям, заперли решетки, часовые зарядили свои ружья. Тогда по всей башне раздались звуки железа и шагов, которые сильно подействовали на Морана и Жсневьеву, ибо Морис заметил, как они побледнели.

— Сколько предосторожностей, чтобы уберечь трех женщин! — проговорила Жсневьева.

— Да, — сказал Моран, стараясь улыбнуться. — Если бы те, которые замышляют освободить их, были на нашем месте и видели бы то, что мы видим, то это отняло бы у них охоту.

— И точно, — прибавила Жсневьева, — я начинаю думать, что они не спасутся.

— И я на это не надеюсь, — отвечал Морис.

С этими словами он наклонился к решетке лестницы.

— Тише, — сказал он, — вот заключенные.

— Назовите мне их, — проговорила Жсневьева, — ведь я никого не знаю.

— Первые две, что идут по лестнице, — это сестра и дочь Капета. Последняя, впереди которой бежит собачка, Мария-Антуанетта.

Жсневьева сделала шаг вперед. Моран, напротив, вместо того чтобы смотреть, прижался к стене.

Его губы были бледней камней башни.

Жсневьева в своем белом платье и со своими прекрасными, светлыми глазами походила на ангела, ожидающего пленниц, чтобы осенить горестный путь их и мимоходом освежить сердце мгновенной радостью.

Принцесса Елизавета и дочь королевы прошли, бросив взгляд удивления на пришельцев; нет сомнения, первой пришла мысль, что это были те, которые подали им знак, ибо она живо повернулась к своей спутнице и, пожимая ей руку, уронила платок свой, как бы желая тем предупредить королеву.

— Сестрица, — сказала она, — я, кажется, уронила свой платок.

И она продолжала подниматься по лестнице с юной принцессой.

Королева, тяжелое дыхание и легкий, сухой кашель которой показывали, что она нездорова, нагнулась, чтобы поднять платок, упавший к ногам ее, но собачка проворнее ее схватила его и пустилась с ним к принцессе Елизавете. Королева продолжала подниматься и после нескольких ступеней очутилась против Женеьевы, Морана и молодого муниципала.

— Ах, цветы! — сказала она. — Как давно я их не видала! Какой приятный запах, и как вы счастливы, сударыня, что у вас такие цветы!

При этом скорбном возгласе Женеьева протянула руку, чтобы предложить букет королеве. Тогда Мария-Антуанетта взглянула на нее, и легкий румянец показался на ее поблекшем челе.

Но привычным движением, плодом дисциплины, Морис наклонился, чтобы остановить руку Женеьевы.

Тогда королева осталась в нерешимости, и, смотря на Мориса, она увидела в нем того молодого муниципала, который имел привычку выражаться твердо, сохраняя между тем уважение.

— Это запрещено, сударь? — спросила она.

— Нет, нет, сударыня, — сказал Морис. — Женеьева, вы можете предложить ваш букет.

— О, благодарю вас, сударь! — вскричала королева.

И поклонясь Женеьеве с приветливой грациозностью, Мария-Антуанетта протянула свою тощую руку и без разбора вынула из букета один цветок.

— Возьмите их все, сударыня, возьмите, — застенчиво произнесла Женеьева.

— Нет, — сказала королева с улыбкой, — этот букет, может быть, достался вам от любимой вами особы, и я не хочу вас лишать его.

Женеьева покраснела, и этот румянец заставил улыбнуться королеву.

— Ну, ну, гражданка Капет, — сказал Агрикола, — двигайся!

Королева поклонилась и продолжала путь свой, но прежде, нежели скрыться с глаз, она еще раз обернулась и произнесла:

— Какой чудный запах от этой гвоздики и какая миленькая женщина!

— Она не видала меня, — проговорил Моран, который почти на коленях стоял в углу коридора и в самом деле не был замечен королевой.

— Но вы ее хорошо видели, не правда ли, Моран, не так ли, Женеьева? — сказал Морис, вдвойне счастливый, что угодил друзьям своим и доставил ничтожное удовольствие несчастной заключенной.

— О, да, да, — сказала Женеьева, — я ее очень хорошо видела и если бы еще сто лет прожила, то так же видела бы ее, как теперь.

— А как вы ее находите?

— Прекрасной.

— А вы, Моран?

Моран всплеснул руками, ни слова не отвечая.

— Скажите, — тихо и с усмешкой сказал Морис, обращаясь к Женеьеве, — уж не в королеву ли влюблен Моран?

Женеьева вздрогнула, но тут же оправилась:

— Да, признаюсь, — отвечала она с улыбкой, — и в самом деле на то похоже.

— Что же вы мне ничего не говорите, Моран, как вы нашли королеву? — настоятельно повторил Морис.

— Я наше ее весьма бледной.

Морис взял Женевьеву под руку и сошел с ней на двор. На темной лестнице показалось ему, будто Женевьева поцеловала у него руку.

— Это что значит, Женевьева? — спросил Морис.

— Это значит, Морис, что ради одного моего каприза вы рисковали вашей головой.

— О, вот уж преувеличение, Женевьева, — сказал Морис. — Вы знаете, не признательности жажду я от вас, а другого чувства.

Женевьева слегка пожала его руку.

Моран следовал за ними нетвердыми шагами.

Пришли во двор. Лорен осмотрел двух посетителей и выпустил их из Тампля.

Перед расставанием Женевьева взяла с Мориса слово прийти на другой день к обеду на старую улицу Сен-Жак.

XXII. ЦЕНЗОР СИМОН

Морис возвратился к своему посту. Сердце его было полно неизъяснимого блаженства. Он застал жену Тизона плачущей.

— Ты что еще, мать моя? — спросил он.

— То, что я взбешена! — сказала тюремщица.

— А за что?

— За то, что все несправедливо для бедных людей на этом свете!

— В чем, однако?..

— Вы богаты, вы, гражданин, приходите сюда на один только день; и вам дозволяется принимать хорошеньких женщин, которые подносят букеты цветов австриячке; а я безвыходно торчу в голубятнике, и мне запрещают видеть мою бедную Софью!

Морис взял ее руку и всунул в нее десятифранковую ассигнацию.

— На, возьми это, добрая Тизон, — сказал он ей, — возьми это и ободрись. Э, боже мой! Австриячка не вечно же будет жить!

— Ассигнация в десять франков, — сказала Тизон, — это похвально с вашей стороны; но я лучше бы взяла ту бумажку, которая служила для завивки волос моей бедной дочери.

Она только что сказала эти слова, как поднимавшийся по лестнице Симон услышал их и увидел, что тюремщица совала в карман ассигнацию, которую дал ей Морис.

Расскажем, в каком расположении духа был Симон.

Симон пришел со двора, где встретил Лорена. Между этими двумя людьми была какая-то ненависть.

Эта ненависть не столько была возбуждена той сценой, которая уже известна нашим читателям, сколько различием состояний, этим вечным источником раздора, истолкование которого так просто.

Симон был безобразен, Лорен красив; Симон был неопрятен, Лорен надушен; Симон был неистовый республиканец, с варварскими чувствами; Лорен был пылкий патриот, который всем жертвовал для своей отчизны; если

бы пришлось состязаться, Симон инстинктивно чувствовал, что кулак щеголя Лорена, как равно и Мориса, наказал бы его не хуже всякого поденщика.

Симон, увидев Лорена, вдруг остановился и побледнел.

— Стало быть, опять этот батальон в карауле? — пробормотал он.

— Ну, что же дальше? — спросил один из гренадеров, которому не понравилось это восклицание. — Мне кажется, что он стоит любого другого.

Симон вынул из кармана карманьолки карандаш и сделал вид, будто хочет писать на листе бумаги, столь же грязном, как его руки.

— Э, — сказал Лорен, — так ты и писать умеешь, Симон, с тех пор как сделался наставником Капета? Посмотрите-ка, дозволение общины. Ладно, я поставлю тебя на место муниципального секретаря, Симон.

Взрыв хохота раздался в рядах молодежи национальной гвардии, составленной из людей более или менее образованных, ошеломив жалкого башмачника.

— Ладно, — сказал он, стиснув зубы и бледнея от злости, — говорят, что ты впустил в башню посторонних людей, и это без дозволения общины. Ладно, я заставлю муниципального секретаря сделать допрос по форме.

— По крайней мере, тот умеет писать, — отвечал Лорен. — Это — Морис, ты знаешь, храбрый Симон, Морис. Морис — железная рука, слышал ты о нем?

В эту самую минуту Моран и Женестьева выходили.

Увидя их, Симон бросился в башню именно в ту минуту, когда, как мы видели, Морис дал жене Тизона как бы в утешение десятифранковую ассигнацию.

Морис не обратил внимания на присутствие этого негодяя, которого избегал, однако, инстинктивно всякий раз, как ему случалось встретить его, сторонился его, словно это ядовитая или отвратительная гадина.

— А что, — сказал Симон, обращаясь к жене Тизона, утиравшей глаза передником, — видно, ты непременно хочешь погибнуть на эшафоте, гражданин?

— Я? — отвечала жена Тизона. — Это почему?

— Как! Ты берешь деньги с муниципалов, чтоб впускать к австриячке аристократов?..

— Я? — сказала жена Тизона. — Молчи ты, сумасшедший!..

— Это будет значиться в протоколе, — гордо произнес Симон.

— Полно врать, это приятели муниципала Мориса, одного из лучших патриотов, какие только есть.

— Злоумышленники, говорю тебе; впрочем, об этом будет знать Коммуна, и она рассудит.

— Ты так вот и донесешь на меня, полицейский шпион?

— Разумеется, разве только ты сама себя выдашь.

— Да что я стану доносить? Что мне выдать?

— Да то, что случилось

— Да ничего не случилось. Где были аристократы!

— На лестнице.

— Когда вдова Капета поднималась на башню?

— Да.

— И они разговаривали?
— Сказали друг другу два слова.
— Два слова, видишь; притом здесь пахнет аристократией.
— То есть здесь пахнет гвоздикой.
— Гвоздикой! Почему гвоздикой?
— Потому что на гражданке был букет, который пахнул этим запахом.
— На какой гражданке?
— На той, которая смотрела, как проходила королева.
— Видишь, ты говоришь — королева! Жена Тизона! Сообщество с аристократами губит тебя!.. На что это я наступил тут? — продолжал Симон, нагибаясь.

— На что, — сказала Тизон, — да на цветок, на гвоздику, вероятно, выпавшую из букета гражданки Диксмер, когда Мария-Антуанетта взяла одну из ее букета.

— Вдова Капета взяла себе цветок из букета гражданки? — сказал Симон.

— Да, и я сам его дал ей, слышишь ли ты? — грозным голосом произнес Морис, уже некоторое время слушавший этот разговор, который вывел его из терпения.

— Хорошо, хорошо! Видим, что видим, и знаем, что говорим, — проговорил Симон, все еще державший измятую гвоздику под пятой.

— А я, — подхватил Морис, — я знаю только одно и выскажу тебе это — что тебе нечего делать в башне и что твое место там, при Капете, которого, однако, не удастся тебе поколотить сегодня, потому что я здесь и тебе запрещаю.

— А, ты мне еще грозишь и называешь палачом? — вскрикнул Симон, раздавив цветок между пальцами. — А посмотрим, позволено ли аристократам... Ого!.. Это что такое?

— Что еще? — спросил Морис.

— Что я нащупал в гвоздике... Эге-ге!..

И Симон вынул перед изумленным взором Мориса из стебля цветка клочок бумажки, с необыкновенным тщанием свернутый и мастерски вложенный в середину пышного цветка.

— О, — вскрикнул Морис, в свою очередь, — это что такое, Боже мой?

— Мы это узнаем, мы это узнаем! — сказал Симон, приближаясь к окошечку. — А приятель твой Лорен говорит, что я читать не умею! Вот ты и посмотришь!

Лорен оклеветал Симона. Он умел читать печатное и даже писаное, когда оно было очень крупно и ясно. Но записка была написана таким мелким почерком, что Симон принужден был прибегнуть к очкам. По этому случаю он положил записку на окно и начал шарить у себя в карманах. Но когда он этим занимался, гражданин Агрикола отворил дверь передней, которая как раз была напротив окна, и сквозняком унесло, как пух, легонькую бумажку, так что, когда Симон после минутного поиска отыскал свои очки и надвинул их себе на нос, он тщетно искал бумажку — она исчезла.

Симон заревел.

— Была бумажка, была! — вскрикнул он. — Ну, теперь берегись, гражданин муниципал, она непременно должна отыскаться!

И он спустился по лестнице, оставив Мориса в недоумении.

Десять минут спустя три члена общины входили в башню. Королева находилась еще на террасе, и отдано было приказание оставить ее в полном неведении того, что происходило. Члены Коммуны велели вести себя к ней.

Первый предмет, поразивший их взор, была красная гвоздика, которую она держала еще в руках. Они взглянули друг на друга с недоумением и приблизились к ней.

— Дайте нам этот цветок, — сказал президент депутации.

Королева, не готовая к этой внезапности, вздрогнула и поколебалась.

— Отдайте этот цветок, сударыня, — с каким-то страхом произнес Морис, — прошу вас.

Королева протянула требуемую гвоздику.

Президент взял ее и удалился, сопровождаемый своими товарищами, в ближайшую залу, чтоб произвести розыск и составить допросные пункты.

Открыли цветок — он был пуст.

Морис вздохнул.

— Позвольте, позвольте, — сказал один из чиновников, — сердцевина гвоздики была вынута. Стебель пуст, это правда, но в этом стебле непременно вешалась записка.

— Я готов, — сказал Морис, — дать всевозможные разъяснения, но прежде всего прошу арестовать меня.

— Мы занесем в журнал твое предложение, — сказал президент, — но не возьмем этого на себя. Тебя знают как истинного патриота, гражданин Лендэ.

— И я жизнью отвечаю за друзей, которых имел неосторожность привести сюда.

— Не отвечай ни за кого, — сказал президент.

На дворе раздалась страшная суматоха.

Это Симон, после напрасных поисков записки, унесенной ветром, побежал к Сантеру и рассказал ему о покушении, предпринятом для похищения королевы, с разными прибавлениями, которые мог только придумать. Сантер прибежал. Окружили Тампль, сменили караул к крайней досаде Лорена, который протестовал против такой обиды, нанесенной его батальону.

— Ах ты, негодный сапожник! — сказал он Симону, грозя ему саблей. — Тебе обязан я этой штукой! Но будь покоен, я у тебя в долгу не останусь.

— Мне кажется, наоборот, что ты заплатишься за все это перед нацией, — сказал сапожник, потирая руки.

— Гражданин Морис, — сказал Сантер, — будь готов явиться по вызову Коммуны, которая тебя допросит.

— Я к услугам твоим, начальник. Но я уже просил, чтоб арестовали меня, и опять повторяю свою просьбу.

— Погоди, погоди, — с насмешкой пробормотал Симон, — ежели ты этого так добиваешься, то мы постараемся уладить твое дело.

И он отправился за женой Тизона.

XXIII. БОГИНЯ РАЗУМА

Весь день искали во дворе, в саду и около него бумажку, которая наделала столько хлопот и, как все думали, содержала в себе целый заговор.

Королеву допрашивали, отделив ее от сестры и дочери; но она отвечала только одно, что на лестнице она встретила молодую женщину с букетом и сорвала цветок, да и то с согласия муниципального чиновника Мориса.

Это была чистейшая истина во всей простоте и силе — королеве больше нечего было говорить.

Ответ этот передали Морису, когда очередь дошла до него, и он подтвердил показание, как точное и чистосердечное

— Но ведь, значит, был заговор? — заметил президент.

— Быть не может, — отвечал Морис. — Я сам за обедом у мадам Диксмер вызвался показать ей узницу, которую она никогда не видала. Но мы не назначали для этого ни дня, ни способов.

— Однако достали же цветы. Букет был сделан заранее? — допрашивал президент.

— Нисколько, я купил этот букет у женщины на углу улицы Виель-Одризэт.

— Но, по крайней мере, цветочница предложила тебе букет?

— Нет, я сам выбрал его из десятка или дюжины, и сказать правду, выбрал самый красивый.

— Но дорогой разве нельзя было спрятать в него записку?

— Не было никакой возможности. Я не оставлял мадам Диксмер ни на минуту, а чтобы сделать, как вы говорите, операцию над каждым цветком — заметьте по рассказу Симона, в каждом цветке должен был находиться точно такой же листок, — для этого надобно убить по крайней мере половину дня.

— Послушай, наконец, разве нельзя было сунуть в эти цветы две готовые записки?

— Узница не хотела брать весь букет и на моих глазах взяла цветок наудачу, какой попался.

— Значит, Лендэ, по-твоему, тут не было никакого заговора?

— Был, и я первый не только подозреваю это, но даже могу подтвердить. Только его составляли вовсе не мои друзья. Впрочем, чтобы нация не подвергалась никакому страху, извольте, я готов представить обеспечение — и готов сам идти в тюрьму

— Что за вздор! — отвечал Сантер. — Можно ли так поступать с людьми испытанными, подобными тебе! И так дело просто: тут нет доноса, не правда ли? Никто не узнает того, что было между нами. Удвоим нашу бдительность, особенно ты, и мы узнаем подноготную без всякой огласки.

— Очень благодарен, — сказал Морис. — Но отвечаю вам то, что вы ответили бы на моем месте. Нам нужно не останавливаться на этом и отыскать цветочницу

— Ну, она далеко отсюда, однако, будь спокоен, отыщем. Наблюдай только за своими друзьями, я не выпущу из глаз тюремную корреспонденцию.

О Симоне и не подумали, а у него тоже был свой план.

Он пришел к концу рассказанного нами заседания спросить, что новенького, и узнал решение Коммуны.

— А, так дело стало только за формальным допросом, — сказал он. — Извольте, я представляю его через пять минут.

— Что это значит? — спросил президент.

— А то, что бесстрашная гражданка Тизон, — отвечал сапожник, — доносит о скрытых проделках сторонников аристократии, Мориса, да еще другого лжепатриота из его приятелей, некоего Лорена.

— Берегись, берегись, Симон! Чтoб тебе не сбиться с толку от усердия к нации! — сказал президент. — Морис Лендэ и Гиацинт Лорен — люди испытанные.

— А вот увидишь в суде.

— Подумай хорошенько, Симон. Ведь это будет скандальный процесс для всех настоящих патриотов.

— Скандальный или нет, какое мне дело! Разве я боюсь огласки? По крайней мере, изменников выведут на чистую воду.

— Так ты непременно хочешь подать донос от имени Тизон?

— Я донесу от своего имени сегодня же вечером кордельерам и на тебя с другими, гражданин президент, если ты не велишь арестовать изменника Мориса.

— Ну хорошо, хорошо, Морис будет арестован, — сказал президент, который по обычаю этой несчастной эпохи трепетал перед тем, кто кричал громче.

Покуда собирались арестовать Мориса, он возвратился в Тампль, где ждала его следующая записка:

«По всей вероятности, я не увижусь с тобой раньше завтрашнего утра. Приходи ко мне завтракать, и я расскажу о сетях и заговорах, открытых Сионом.

Хоть Симон подаст донос,
Что из гвоздики зло созрело,
Я розе предложу допрос!..
И лучше объяснится дело.

А завтра ты узнаешь, что ответит мне Артемиза.

Твой друг Лорен».

«Нет ничего нового, — отвечал Морис, — можешь спокойно спать нынешней ночью и завтракай без меня, потому что после случившегося днем я, вероятно, выйду со двора не раньше полудня

Хотелось бы мне быть зефиром, чтобы иметь право послать поцелуй розе, о которой ты говоришь.

Позволю тебе освистать мою прозу, как я освистал твои стихи

Твой друг Морис».

«P.S. Я думаю, впрочем, что заговор этот — просто фальшивая тревога».

Лорен действительно вышел из Тампля около одиннадцати часов со всем своим батальоном, который поспешили сменить из-за доноса сапожника

Но Лорен утешил себя за это унижение четверостишием и, как было сказано в нем, отправился к Артемизе.

Артемиза обрадовалась приходу Лорена. Погода, как мы сказали, была превосходная, и она пригласила его прогуляться по набережным.

Разговаривая о политике, они дошли до угольной пристани Лорен рассказывал о своем изгнании из Тампля, терялся в догадках, за что бы могли

его выгнать, как вдруг, возле улицы Барр, они заметили женщину с букетами, которая также шла по правому берегу Сены.

— Лорен, — сказала Артемиза, — надеюсь, что ты подарить мне букет?

— Если угодно, два, — отвечал Лорен.

И они ускорили шаги, догоняя цветочницу, которая тоже шла очень быстро.

Дойдя до моста Марии, девушка остановилась и, наклонившись через перила, опрокинула корзину в реку.

Отдельные цветочки на мгновение закружились в воздухе. Букеты, по тяжести своей, упали быстрее; потом и букеты, и цветы всплыли на поверхность и поплыли по течению.

— Постой-ка!.. Да... Нет, кажется, нет!.. — говорила Артемиза, смотря на цветочницу, которая занималась такой странной торговлей. — Да!.. Так и есть!.. Странное дело!

Цветочница приложила к губам пальчик, как будто упрямившая Артемизу молчать, и исчезла.

— Что это значит, — спросил Лорен. — Знаете ли вы эту смертную?

— Нет. Мне показалось было сначала.. Но я ошиблась.

— Однако же она сделала вам какой-то знак, — настаивал Лорен.

«Отчего бы сегодня утром она сделалась цветочницей?» — задавала молча себе вопрос Артемиза.

— Так вы знаете ее, Артемиза? — спросил Лорен.

— Да, немножко, иногда покупаю у нее букеты.

— Во всяком случае, — заметил Лорен, — она удивительно сбывает с рук свой товар.

И в последний раз взглянул на цветы, которые уже доплыли до деревянного моста и свернули в колено реки, бегущей под арками; Лорен и Артемиза пошли далее, к набережной Рапэ, где надеялись пообедать наедине.

Случай на мосту покуда не имел последствий; однако же по странности своей и какой-то таинственности врезался в памяти Лорена.

Тем временем донос жены Тизона на Мориса и Лорена наделал много шума в клубе якобинцев, и Морис получил в Тампле извещение из Коммуны, что его свободе угрожает общественное негодование. Извещение это значило, чтобы молодой муниципальный чиновник скрылся, если был виноват. Но Морис, чувствуя себя правым, остался в Тампле, и его застали за исполнением своих обязанностей, когда пришли арестовывать.

Морис был тотчас же приведен к допросу.

Твердо решив не вмешивать в дело ни одного из своих друзей, в которых он был уверен, Морис, не желая, подобно какому-нибудь романтическому герою смешно обрекать себя в жертву молчанию, потребовал разыскать цветочницу.

Лорен воротился домой в шестом часу после обеда и в ту же минуту узнал об аресте Мориса и о его требовании.

Лорену тотчас пришла на ум цветочница, бросившая цветы с моста в Сену: это было внезапное открытие. Странная цветочница, совпадение кварталов, полупризнание Артемизы — все это инстинктивно говорило Лорену, что тут кроется разгадка тайны, объяснения которой требовал Морис.

Лорен выбежал из комнаты, спустился как на крыльях с четвертого этажа

и побежал к Богине Разума, которая вышивала золотые звезды по голубому газовому платью.

Это было ее парадное платье.

— Бросьте, моя милая, звезды, — сказал Лорен, — Морис арестован сегодня утром, и, вероятно, меня арестуют нынче вечером.

— Морис арестован!

— Да, да! В наше время столько великих событий, что на них и не обращают внимания; а так как почти все великие события происходят из-за пустяков, то не будем пренебрегать пустяками... Скажите, кто была та цветочница, которую мы встретили сегодня утром?

Артемиза вздрогнула.

— Какая цветочница?

— А та, что так щедро бросала цветы в реку.

— Боже мой, — сказала Артемиза, — неужели обстоятельство это так важно, чтобы настаивали на нем?

— Да, так важно, что я прошу вас отвечать мне немедленно.

— Не могу!

— Для вас нет ничего невозможного.

— Я поклялась честью молчать.

— А я поклялся честью заставить вас говорить.

— Но зачем же вы так настаиваете?

— Зачем?.. Черт возьми!.. Чтобы Морису не отрубили голову!

— Как? Морису грозят гильотиной! — в ужасе вскричала молодая женщина.

— Не говорю вам о себе; не смею ручаться, что и моя голова уцелеет на плечах.

— О, нет, нет! — сказала Артемиза. — Это значило бы неизбежно погубить ее.

В эту минуту слуга Лорена вбежал в комнату Артемизы.

— Спасайся, гражданин, — кричал он, — спасайся!

— Что такое? — спросил Лорен.

— К тебе явились жандармы... Покуда они вламывались в дверь, я ускользнул по крышам в соседний дом и прибежал сюда.

Артемиза испустила ужасный крик. Она любила Лорена.

— Артемиза, — сказал Лорен, принимая значительную позу. — Неужели вы кладете на одни весы жизнь какой-то цветочницы, жизнь Мориса и вашего любовника? Если так, объявляю вам, что перестану считать вас Богиней Разума и назову Богиней Глупости.

— Бедная Элоиза! — вскричала бывшая оперная танцовщица. — Не я виновата, если предаю тебя!

— Хорошо, хорошо, моя милая, — сказал Лорен, подавая бумагу Артемизе. — Вы уже назвали мне имя, теперь скажите фамилию и адрес.

— Написать? О, никогда, никогда! — вскричала Артемиза. — Сказать, пожалуй, я еще согласна.

— Ну, так скажите и будьте спокойны. Не забуду.

И Артемиза громко объявила имя и адрес ложной цветочницы.

Ее звали Элоиза Тизон, а жила она на улице Нонандьер, № 24.

При этом имени Лорен вскрикнул и бросился со всех ног.

Но не успел он добежать до конца улицы, как Артемиза получила следующую записку в три строчки:

«Ни слова обо мне... Если откроешь мое имя — я погибла... Подожди открывать его до завтра, потому что вечером я успею убраться из Парижа.

Твоя Элоиза».

— Господи, — вскричала будущая богиня, — если б только я могла знать это, я подождала бы до завтра!

И она бросилась к окну, чтобы вернуть, если еще можно, Лорена, но он скрылся из виду.

XXIV. МАТЬ И ДОЧЬ

Мы уже сказали, что весть об этом событии в несколько часов разнеслась по всему Парижу. Действительно, очень легко понять тогдашнюю болтливость правительства, политика которого запутывалась и распутывалась на улице.

Итак, страшный и угрожающий слух прошел по старинной улице Сен-Жак, и через два часа после того, как Морис был арестован, уже все знали об этом.

При содействии Симона подробности заговора быстро распространились из Тампля; но так как каждый вышивал по фону свои узоры, то до кожевника дошла истина порядочно искаженной. Рассказывали, будто королеве кто-то дал цветок, отравленный ядом, и что с помощью этого цветка австриячка должна была усыпить свою стражу и уйти из Тампля. К этим слухам прибавились еще некоторые подозрения касательно верности батальона, уволенного накануне Сантером, так что уже было подготовлено несколько жертв для народной ненависти.

Но старая улица Сен-Жак не ошиблась, и не без причины, в сущности события, и Моран с одной стороны, Диксмер — с другой вскоре вышли, оставив Женевьеву в полном отчаянии.

В самом деле, если б с Морисом случилось несчастье, то причиной его была бы Женевьева, потому что она неосторожной рукой довела молодого человека до темницы, из которой, по всей вероятности, он вышел бы только на эшафот.

Но во всяком случае, Морис не заплатил бы своей головой за преданность капризу Женевьевы. Если б Мориса осудили, она сама пошла бы в суд, обвинила себя и призналась во всем. Она брала ответственность на себя и собственной жизнью спасала Мориса.

Вместо того, чтобы дрожать при мысли о смерти за Мориса, Женевьева, напротив, находила в ней какое-то горькое блаженство.

Она любила молодого человека, любила больше, нежели это возможно женщине, которая не принадлежит себе. Это было для нее средством — отдать богу свою душу такой же чистой, какую получила от него.

Выйдя из дому, Моран и Диксмер расстались. Диксмер пошел по улице Кордери, а Моран побежал на улицу Нонандьер.

Дойдя до конца моста Марии, он заметил толпу зевак и любопытных, какая обыкновенно собирается во время и после происшествия на том месте, где происшествие случилось, как вороны слетаются на поле сражения.

Увидев это, Моран остановился; ноги у него подкосились, и он вынужден был опереться о перила моста.

Через несколько секунд он опять овладел собой с тем удивительным присутствием духа, которое обнаруживал в трудных обстоятельствах, смешался с толпой, расспрашивал и узнал, что десять минут назад захватили на улице Нонандьер, № 24, молодую женщину, вероятно, виноватую во вменяемом ей преступлении, потому что ее захватили врасплох, в то самое время, как она связывала свои пожитки.

Моран справился, в каком клубе будут допрашивать бедную девушку, узнал и побежал, куда ее отвели.

Клуб был битком набит любопытными, однако Моран локтями и кулаками расчистил себе дорогу к трибуне — и прежде всего ему бросилась в глаза высокая, благородная фигура Мориса, который с презрительной улыбкой стоял у скамьи обвиняемых, уничтожая своим взором разглагольствовавшего Симона.

— Да, граждане! — кричал Симон. — Да, гражданка Тизон обвиняет гражданина Лендэ и гражданина Лорена. Гражданин Лендэ хочет свалить свою вину на цветочницу, но, предупреждаю вас, цветочница скрылась, и след ее простыл. Аристократия составляет заговор и перекидывает мячик из рук в руки. Впрочем, мы видели, что гражданин Лорен улизнул из своей квартиры, когда явились к нему. И его не отыщете, как не отыщете цветочницу.

— Лжешь, Симон! — раздался грозный голос. — Он найдется!.. Потому что он здесь!

И Лорен ворвался в зал.

— Пропустите, — кричал он, расталкивая зрителей, — пропустите!

И он встал возле Мориса.

Появление Лорена, совершенно естественное, без рассчитанных эффектов, без напыщенности и со всей откровенностью и силой, свойственными молодому человеку, очень сильно подействовало на трибуны. Они принялись аплодировать и кричать: «Браво!»

Морис удовольствовался улыбкой и подал руку своему другу как человек, который сказал самому себе: «Я уверен, что недолго буду стоять один за скамьей обвиняемых».

Зрители с видимым участием смотрели на двух красивых молодых людей, которых обвинял гнусный сапожник из Тампля, как демон, завистник молодости и красоты.

Симон заметил, что на нем начинает тяготеть неприятное впечатление, и решил нанести последний удар.

— Граждане, — горланил он, — я требую, чтобы вы выслушали великодушную гражданку Тизон, требую, чтобы она обвиняла.

— Граждане, — сказал Лорен, — я прошу, чтобы сначала вы выслушали молодую цветочницу, которая только что арестована и, без сомнения, будет приведена сюда.

— Нет, — сказал Симон, — это опять какой-нибудь лжесвидетель, приверженец аристократов. Притом гражданка Тизон горит желанием осведомить правосудие.

В это время Лорен шепотом разговаривал с Морисом.

— Да, — кричали трибуны, — да!.. Показание гражданки Тизон!.. Да, да! Пусть она даст показание!..

— Здесь ли гражданка Тизон? — спросил президент.

— Разумеется, здесь! — закричал Симон. — Гражданка Тизон, что же ты не откликаешься?

— Вот я... здесь... — отвечала тюремщица. — Но если я дам показание, отдадите ли вы мне мою дочку?

— Между настоящим делом и твоей дочерью нет ничего общего, — сказал президент. — Дай сперва показание, а потом проси, чтобы возвратили тебе твои детище.

— Слышишь? Гражданин президент приказывает тебе представить показание! — кричал Симон. — Говори же!

— Подождите минутку, — сказал президент, изумленный спокойствием Мориса, обыкновенно строптивного, — постоит минутку. Гражданин, — продолжал он, обращаясь к молодому человеку, — не желаешь ли ты прежде сказать что-нибудь?

— Ничего, президент, — отвечал Морис. — Скажу разве, что Симону прежде следовало бы получше навести справки, а потом уже называть трусом и изменником человека, подобного мне.

— Толкуй, толкуй! — повторил Симон насмешливым тоном, свойственным парижской черни.

— Я толкую, Симон, — возразил Морис более с печалью, нежели с гневом, — что ты жестоко будешь наказан сию же минуту, когда узнаешь то, что случилось.

— А что, например, случилось? — спросил Симон.

— Гражданин президент, — сказал Морис, не отвечая своему ненавистному обвинителю, — я прошу вместе с моим другом Лореном, чтобы арестованная сегодня девушка была выслушана прежде, нежели позволят говорить этой бедной женщине, которой, без всякого сомнения, подсказали ее показание.

— Слышишь, гражданка, слышишь? — закричал Симон. — Говорят, что ты ложная свидетельница!

— Я... я... ложная свидетельница? — сказала Тизон. — Ладно, сейчас увидишь! Постой, вот увидишь!

— Гражданин, — сказал Морис, — велите хоть из жалости замолчать этой несчастной.

— Ага! Боишься, боишься! — кричал Симон. — Гражданин президент, я требую показаний гражданки Тизон.

— Да, да! Показания! — завопили трибуны.

— Тише! — закричал президент. — Возвращается Коммуна!

В эту минуту послышался на улице стук экипажа, который катили при громких криках и звоне оружия.

Симон с беспокойством обернулся к двери.

— Долой с трибуны! — сказал ему президент. — Твоя речь кончена.

Симон сошел с трибуны.

В это время жандармы вошли в залу, сопровождаемые наплывами любопытных, которые, впрочем, тотчас были оттиснуты назад, и к судилищу толкнули молодую женщину.

— Она ли? — спросил Лорен у Мориса.

— Да, да! Она самая!.. Несчастливая женщина! Она погибла!

— Цветочница! Цветочница! — пробежал говор между трибунами, волнуемыми любопытством. — Это цветочница!

— Прежде всего я требую показаний от гражданки Тизон! — ревел сапожник. — Ты приказал ей, президент, дать показание, а, видишь, она молчит!

Призвали Тизон, и она начала донос, ужасный, с мельчайшими подробностями. По ее словам, цветочница была, правда, виновата, но Морис и Лорен были ее сообщниками.

Донос этот произвел невыразимое впечатление на публику.

Между тем Симон торжествовал.

— Жандармы, привести сюда цветочницу! — закричал президент.

— О, это отвратительно! — проговорил Морис, закрывая лицо руками.

Цветочница была вызвана и села внизу трибуны, напротив жены Тизона, показание которой открыло все ее преступление.

Обвиняемая приподняла свою вуаль.

— Элоиза! — вскричала Тизон. — Дочь моя!.. Ты здесь!..

— Да, матушка, — кротко отвечала молодая женщина.

— Зачем ты между двумя жандармами?

— Потому что меня обвиняют, матушка.

— Обвиняют?.. Тебя? — в отчаянии вскричала Тизон. — Кто же?..

— Вы, матушка!

Ужасающая тишина, тишина смерти вдруг спустилась на шумную толпу, и все сердца сжались тягостным чувством при этой страшной сцене.

— Это ее дочь! — шептали голоса. — Ее несчастная дочь!..

Морис и Лорен смотрели на обвинительницу и обвиняемую с чувством глубокого сострадания и почительной горести.

Как ни хотелось Симону досмотреть до конца сцену, в которой, он надеялся, будут замешаны Морис и Лорен, однако же он старался увернуться от взглядов тетки Тизон, озиравшейся блуждающими глазами.

— Твое имя, гражданка? — спросил взволнованный президент у спокойной и покорной девушки.

— Элоиза Тизон, гражданин.

— Сколько лет?

— Восемнадцать.

— Где живешь?

— На улице Нонандьер, № 24.

— Ты ли продавала сегодня утром гвоздики муниципальному члену, гражданину Лендэ, который сидит на этой скамейке?

Девушка обернулась к Морису и, глянув на него, отвечала:

— Да, гражданин, я.

Обвинительница тоже устремляла на свою дочь глаза, расширенные ужасом.

— Знаешь ли ты, что в каждой гвоздике было по записке на имя вдовы Капет?

— Знаю, — отвечала обвиняемая.

По залу пробежало движение ужаса и удивления.

— Зачем подала ты этот букет гвоздики гражданину Морису?

— Потому что видела на нем муниципальный шарф и думала, что он идет в Тампль.

— Кто твои сообщники?

— У меня их нет.

— Как! И ты одна составила заговор?

— Если это заговор, то я составила его одна.

— А знал ли гражданин Морис..?

— Что в цветах были записки?..

— Да.

— Гражданин Морис — муниципальный чиновник; гражданин Морис мог видеть королеву наедине во всякую пору дня и ночи. Если бы гражданин Морис захотел сказать что-нибудь королеве — ему не для чего было писать, он мог прямо с ней говорить.

— И ты не знаешь гражданина Мориса?

— Я видела, как он шел в Тампль, когда я была там с матушкой, но знаю его только потому, что видела один раз.

— Ну, что, негодяй! — закричал Лорен, грозя кулаком Симону, который, потупив голову и уничиженный оборотом, какой принимали дела, пытался убежать незамеченным. — Видишь, что ты наделал?

Все взоры с глубоким негодованием обратились на Симона.

Президент продолжал:

— Так как ты отдала букет, так как ты знала, что в каждой цветке было по записке, то ты должна также знать, что было написано на этих бумажках?

— Без сомнения, знаю.

— Ну, так говори, что там было написано!

— Гражданин, — твердо отвечала девушка, — я сказала все, что могла и, главное, что хотела сказать.

— И отказываешься отвечать?

— Да.

— Знаешь ты, чему подвергаешь себя?

— Да.

— Может быть, ты надеешься на свою молодость, на свою красоту?

— Я надеюсь только на бога!

— Гражданин Морис Лендэ, — сказал президент, — гражданин Гиацинт Лорен, вы свободны. Коммуна признает вашу невиновность и ваш патриотизм. Жандармы, отведите гражданку Элоизу в тюрьму.

При этих словах старуха Тизон как будто проснулась, испустила ужасающий крик и бросилась, чтобы еще раз обнять свою дочь, но жандармы не позволили ей этого.

— Я прощаю вас, матушка! — крикнула девушка, покуда тащили ее.

Старуха Тизон испустила дикий рев и упала замертво.

— Благородная девушка! — прошептал Моран в тягостном волнении.

XXV. ЗАПИСКА

После рассказанных нами происшествий к этой драме, начинавшей развиваться со всеми мрачными подробностями, присоединилась, в виде дополнения, последняя сцена.

Старуха Тизон, пораженная тем, что случилось, покинутая теми, которые окружали ее, потому что даже в невольном преступлении есть что-то ненавистное, а убить матери свою дочь, хотя бы в избытке патристической ревности — преступление ужасное, — старуха Тизон несколько секунд была совершенно неподвижна, потом приподняла голову, осмотрелась и, видя, что никого нет около нее, закричала и кинулась к дверям.

У дверей еще стояли кучкой любопытные, раздраженные более других. Увидев Тизон, они тотчас же расступились и говорили друг другу, указывая на нее пальцем:

— Видишь эту женщину? Она донесла на свою дочь!

Тизон закричала в отчаянии и побежала по направлению к Тамплю.

Но не пробежала она и трети улицы Мишель-де-Конт, как какой-то мужчина, закрывший свое лицо плащом, загородил ей дорогу.

— Ну что, теперь ты довольна? — сказал он. — Убила свое дитя!

— Убила свое дитя! Убила свое дитя! — вскричала бедная мать. — Нет, нет! Этого не может быть!

— Однако оказалось возможным: твоя дочь арестована.

— А куда отвели ее?

— В Консьержери; оттуда отправят в революционный суд, а ты знаешь, куда ведет из него дорога.

— Посторонись, — говорила Тизон, — пропустите меня!

— Куда ты идешь?

— В Консьержери.

— Зачем?

— Взглянуть на нее еще раз.

— Тебя не впустят.

— Все равно, позволят лежать у дверей; я не отойду от порога, покуда не выведут ее, и увижу ее еще раз.

— А что, если бы кто-нибудь обещал возвратить тебе дочь?

— Что вы говорите?

— Я спрашиваю: предположим, что кто-нибудь обещал бы возвратить тебе дочь, сделала ли бы ты все, что он велит тебе сделать?

— Все для моей дочери, все для Элоизы! — кричала женщина, в отчаянии ломая себе руки. — Все, все, все!

— Послушай, — продолжал незнакомец, — тебя наказывает сам бог.

— За что же?

— За мучения, которые ты накликала на бедную мать, подобную тебе.

— О ком вы говорите? Что вы хотите сказать?

— Ты часто доводила свою узницу до отчаяния, сквозь которое проходишь теперь сама, за свои доносы и жестокости. Господь наказывает тебя смертью любимой дочери.

— Вы сказали, что есть человек, который может спасти ее?.. Где же он? Чего хочет? Чего требует?

— Человек этот хочет, чтобы ты перестала преследовать королеву, просила бы у нее прощения за все нанесенные тобой оскорбления и что если бы ты заметила, что этой женщине — она также страдающая мать, она также плачет в отчаянии, — если бы ты заметила, что этой женщине по какому-нибудь неисповедимому случаю представится возможность бежать, то ты содействовала бы этому побегу, сколько достанет у тебя средств, вместо того, чтобы ему препятствовать.

— Послушай, гражданин, — сказала Тизон, — не ты ли этот человек?

— Так что же?

— Обещаешь ты спасти мою дочь?

Незнакомец молчал.

— Обещаешь ли ты? Обязешься ли, поклянешься ли мне? Отвечай.

— Послушай, все, что мужчина может сделать для спасения женщины, я сделаю для спасения твоего дитища.

— Он не может спасти ее! — завопила Тизон. — Не может спасти! Значит, он лгал, когда обещал спасти ее!

— Сделай, что можешь, для королевы, я сделаю, что могу, для твоей дочери.

— Какое мне дело до королевы! Это мать, у которой есть дочь, вот и все! Если отрубят кому-нибудь голову, так уж не дочери, а ей. Пусть отрубят мне голову и спасут мою дочь! Пускай ведут меня под гильотину, только бы ни один волос не упал с головы дочери, и я пойду припеваючи тра-ла-ла!

И Тизон принялась петь ужасающим голосом, потом вдруг замолчала и залилась хохотом.

Человек в плаще, по-видимому, также испугался этого начала помешательства и отступил на шаг.

— О, ты не уйдешь так легко! — в отчаянии сказала Тизон, ухватив его за плащ. — Нельзя говорить матери: сделай то-то, и я спасу твое дитя, а потом прибавлять: «может быть». Спасешь ли ее?

— Да.

— Когда же?

— Когда поведут ее из Консьержери на эшафот.

— Зачем ждать? Почему не сегодня ночью, не сегодня вечером, не сию минуту?

— Затем, что не могу.

— А, не можешь! — кричала Тизон. — Видишь, что не можешь... А я так могу!

— Что же ты можешь?

— Могу преследовать узницу, как ты называешь ее. Могу наблюдать за королевой, как ты говоришь, аристократ ты этакий! Могу входить в темницу во всякий час, днем и ночью — и буду делать это. А чтобы она убежала — об этом еще мы потолкуем... Увидим, убежит ли она, если не хочешь спасти мою дочь? Голову за голову — хочешь? Мадам Вето была королевой — знаю; Элоиза Тизон бедная девушка — знаю; но перед гильотиной нет разницы.

— Итак, пусть будет по-твоему! — сказал человек в плаще. — Спаси ту, и я спасу эту!

— Поклянись.

— Клянусь.

— Чем?

— Чем хочешь.

— Есть у тебя дочь?

— Нет.

— Так чем же тебе клясться тогда? — сказала Тизон, в отчаянии опустив руки.

— Клянись могилой моего отца.

— Не клянись могилой — накличешь несчастье! Боже! Боже! Как подумаю, что дня через три и мне, может быть, придется клясться могилой моей дочери!.. Дочь моя, бедная моя Элоиза! — вскричала Тизон таким громким голосом, что многие растворили окна.

Увидев, что отворяются окна, второй мужчина отделился от стены и подошел к первому.

— С этой женщиной нечего делать, — сказал первый второму, — она помешана.

— Нет, она мать, — отвечал тот и увел своего товарища.

Когда они начали удаляться, Тизон как будто образумилась.

— Куда же вы? — кричала она. — Спасать Элоизу? Так подождите, и я пойду с вами. Подождите же!.. Подождите!

И несчастная мать с криком побежала за ними; но на первом же повороте улицы потеряла их из виду. Не зная, куда повернуть, она с минуту стояла в нерешительности, смотря во все стороны, и, видя себя одинокой посреди ночи и безмолвии, этого двойного символа смерти, она испустила раздирающий душу крик и без чувств рухнула на мостовую.

Прошло десять часов.

Одновременно пробили часы и на башне Тампля. Королева сидела в знакомой нам комнате у чадающей лампы между своей сестрой и дочерью и, закрывая от взоров муниципальных чиновников дочерью, притворившейся, будто она обнимает свою мать, читала записку, написанную на тончайшей бумажке и таким мелким почерком, что глаза ее, обожженные слезами, едва разбирали написанное.

Вот содержание записки:

«Завтра, во вторник, попроситесь выйти в сад, что, без всякого сомнения, позволят вам, потому что приказано сделать вам эту милость, как только вы попросите. Обойдите сад три или четыре раза, притворитесь, что вы устали, подойдите к харчевне и попросите позволения у старухи Плюмо посидеть у нее. Там через минуту сделайте вид, что вам сделалось еще хуже, и упадите в обморок. Тогда запрут двери, чтобы оказать вам помощь, и вы останетесь с принцессой Елизаветой и дочерью. Люк погреба тотчас откроется. Бросайтесь в это отверстие с вашей сестрой и дочерью — и вы трое будете спасены».

— Господи, — сказала дочь королевы, — неужели будет конец нашей несчастной участи?

— Не ловушка ли этот листок? — спросила Елизавета.

— Нет, нет, — сказала королева, — этот почерк мне всегда напоминал присутствие таинственного друга, но друга честного и верного.

— Кавалера? — спросила дочь королевы.

— Его самого, — отвечала королева.

Принцесса Елизавета сложила руки.

— Прочитаем каждая потихоньку эту записку, — продолжала королева, — чтобы, если одна из нас забудет что-нибудь, другая вспомнила.

И все трое читали глазами; но когда доканчивали чтение, дверь из комнаты закрипела на петлях. Обе принцессы обернулись. Одна королева не изменила своего положения, только каким-то почти незаметным движением она поднесла билетик к голове и спрятала в своей прическе.

Дверь отворял муниципал.

— Что вам угодно, милостивый государь? — спросили в один голос принцесса Елизавета и дочь королевы.

— Гм, — заметил муниципал, — кажется, сегодня вечером вы ложитесь поздненько...

— Разве община издала новый указ, определяющий, в котором часу мне ложиться в постель? — сказала королева, обернувшись с обыкновенным видом своего достоинства.

— Нет, гражданка, — отвечал муниципал. — Но если это необходимо, пожалуй, издадут.

— А покуда, милостивый государь, — сказала Мария-Антуанетта, — имейте уважение не говорю к комнате королевы, но к комнате женщины.

Муниципал проворчал что-то сквозь зубы и удалился.

Через минуту лампа погасла, и три дамы по обыкновению разделись в потемках: темнота служила им покровом стыдливости.

На следующий день, в девять часов утра, королева перечитала в постели вчерашнюю записку, чтобы ни в чем не уклониться от заключавшихся в ней инструкций, изорвала на части, почти неосозаемые, потом оделась за занавеской и, разбудив сестру, пошла будить дочь.

Спустя еще минуту она вышла и позвала карауливших муниципалов.

— Что тебе надо, гражданка? — спросил один из них, явившись в дверях, между тем как другой продолжал завтракать, не обращая внимания на зов королевы.

— Милостивый государь, — сказала Мария-Антуанетта, — я сейчас была в комнате у дочери... Бедняжка в самом деле больна... У нее от беспокойства распухли и ломают ноги. Вы знаете, что я осудила ее на это бездействие. Мне было позволено прогуливаться в саду. Но так как проходить туда надобно мимо дверей комнаты, в которой жил когда-то мой муж, то у меня разрывалось сердце, силы изменяли мне, и я возвращалась, довольствуясь прогулкой по террасе. Теперь этой прогулки недостаточно для моего бедного ребенка. Итак, прошу вас, гражданин муниципал, попросить у генерала Сантера, чтобы мне предоставлено было право пользоваться данной мне свободой... Я вам буду за это очень благодарна.

Королева произнесла эти слова так нежно и вместе с тем с таким достоинством; она так хорошо избежала всякого титула, могущего оскорбить республиканскую стыдливость ее собеседника, что он, явившись, как большая часть этих людей, с покрытой головой, мало-помалу приподнял с нее простой колпак и, когда королева договорила, поклонился ей, сказав:

— Будьте спокойны, сударыня; у гражданина генерала попросят позволения, которого вы желаете.

Потом, уходя как будто за тем, чтобы самому убедить себя, что он уступил справедливости, а не слабости, муниципал повторял:

— Справедливо, справедливо, что ни говори, а справедливо.
— Что там справедливого? — спросил другой муниципал.
— Чтобы эта женщина пошла прогуливаться с больной дочерью.
— А еще чего надо ей?
— Да просит прогуляться с часок по саду.
— Вот вздор! — возразил тот. — Пускай-ка лучше попросит позволения пройтись от Тампля до площади Революции; вот эта прогулка действительно освежит ее.

Муниципал закончил завтрак и ушел. Королева, в свою очередь, попросила позволения позавтракать в комнате у дочери, что и было ей позволено.

Дочь королевы, чтобы подтвердить слух о своей болезни, не встала, и принцесса Елизавета и королева сидели возле ее постели.

В одиннадцать часов по обыкновению пришел Сантер. Приход его был возведен барабанным боем и появлением нового батальона и новых муниципалов, пришедших на смену тем, которые кончили караул.

Осмотрев вступающий и выступающий батальоны, он порисовался на тяжелой, коренастой лошади посреди тампльского двора и потом остановился. В это время к нему обычно обращались, кому надо было, с требованиями, доносами и просьбами.

Муниципал воспользовался свободной минутой и подошел к генералу.

— Что тебе? — отрывисто спросил Сантер.

— Гражданин, — отвечал муниципал, — я пришел по просьбе королевы...

— Это еще что? От какой королевы? — перебил Сантер.

— Ах, в самом деле! — сказал муниципал, удивляясь собственному увлечению. — Что это сорвалось у меня с языка?.. Неужели я с ума сошел? Я пришел по просьбе мадам Вето...

— Давно бы так; теперь я понимаю. В чем же дело?

— Я пришел сказать, что маленькая Вето больна, кажется, от недостатка воздуха и движения.

— Так что же! Неужели и в этом обвиняют нацию?.. Нация позволила ей гулять в саду — она отказалась. Как угодно!

— Вот в этом-то и раскаивается она теперь и просит у тебя позволения прогуляться в саду.

— И ей никто не мешает. Слушайте, вы! — сказал Сантер, обращаясь к целому батальону. — Вдова Капет может прогуливаться по саду. Ей позволено нацией; да только смотреть, чтобы она не улизнула через стены... Случись это — я всем вам отрублю головы.

Шутка гражданина генерала была воспринята с гомерическим смехом.

— Я предупредил вас, а теперь прощайте. Еду в Конвент. Кажется, поймали Родана и Барбару, и дело идет о выдаче им паспорта... на тот свет.

Эта новость и привела гражданина генерала в приятное расположение духа.

Сантер поскакал галопом.

За ним вышел сменный батальон. Наконец муниципалы уступили место новопришедшим, которым Сантер дал инструкции касательно королевы.

Один из муниципалов пошел к Марии-Антуанетте и заметил, что она покраснела, а сестра мысленно благодарила бога.

«О, — думала она, смотря в окно на небо, — укротится ли твой гнев, господи, и десница твоя перестанет ли тяготеть над нами?»

— Благодарю вас, милостивый государь, — сказала королева муниципалу с той прелестной улыбкой, которая погубила Барнава и столько людей свела с ума. — Благодарю!

Потом, обратившись к своей собачке, прыгавшей около хозяйки и хдившей на задних лапках — животное понимало по глазам госпожи, что готовится что-то необыкновенное, — королева сказала:

— Пойдем, Блек, пойдем гулять.

Собака залаяла, запрыгала и, посмотрев хорошенько на муниципала, как будто понимая, что он обрадовал ее хозяйку, подползла к нему, махая длинным пушистым хвостом, и даже осмелилась приласкаться.

Муниципал, который, может быть, остался бы равнодушным к мольбам королевы, был тронут ласками собаки.

— Хоть бы для этого бедного животного, гражданка Капет, выходили вы почаще, — сказал он. — Сострадание велит заботиться обо всех созданиях.

— В котором часу, милостивый государь, можно нам выходить? — спросила королева. — Как вы думаете, солнце принесло бы нам пользу?

— Можете выходить когда захотите, — отвечал муниципал. — На этот счет нет особых распоряжений. Впрочем, я полагаю, что лучше бы в полдень, когда сменяют караульных. Это произвело бы менее движения в замке.

— Хорошо, в полдень, — сказала королева, прижимая руку к сердцу, чтобы унять его биение.

И она взглянула на этого человека, который, по-видимому, был не так жесток, как его собратья, и, быть может, за уступчивость желанием узницы готовился погубить жизнь в борьбе, замышляемой заговорщиками.

Но в это мгновение какое-то сострадание смягчило сердце женщины; душа королевы встрепенулась; она подумала про десятое августа и трупы ее друзей, усеявшие дворцовые ковры. Она вспомнила второе сентября и голову принцессы Ламбаль, выставленную на пике перед ее окнами; ей пришли на ум двадцать первое января и голова ее мужа, умершего на эшафоте под шум барабанов, заглушавших его голос... Но королева подумала, наконец, о своем сыне, бедном ребенке, болезненные крики которого не один раз слышала она из своей комнаты, хотя не могла подать ему помощи, — и сердце ее огрубело.

— Увы, — прошептала она, — несчастье, все равно что кровь древней гидры, оплодотворяет жатву новых несчастий!

XXVI. БЛЕК

Муниципал вышел, чтобы позвать своих товарищей и прочесть протокол, составленный сменными муниципалами.

Королева осталась с сестрой и дочерью.

Все трое переглянулись.

Дочь королевы обвила руками ее шею.

Принцесса Елизавета приблизилась к сестре и подала ей руку.

— Помолится богу, — сказала королева, — но будем молиться так, чтоб никто не подозревал нашей молитвы.

Бывают роковые минуты, когда молитва, этот естественный гимн, вложенный в сердце человека, возбуждает в людях подозрение, потому что молитва есть плод надежды и благодарности. В глазах же сторожей надежда или благодарность возбуждали беспокойство, потому что королева могла надеяться только на одно — бегство и могла благодарить бога только за одно — за средство бежать.

Окончив эту мысленную молитву, все трое не произносили ни слова.

Пробило три четверти двенадцатого, потом двенадцать.

Еще не замер бронзовый звук последнего удара часов, как на спиральной лестнице послышался шум, поднимавшийся к комнате королевы.

— Это смена, — сказала она, — сейчас придут за нами.

Королева увидела, что сестра и дочь ее побледнели.

— Будьте смелей, — сказала она, тоже побледнев.

— Двенадцать часов! — кричали внизу. — Велите выйти узникам!

— Мы здесь, господа! — отвечала королева, почти с сожалением бросив последний взгляд на черные стены и, если не грубую, то, по крайней мере, простую мебель, подругу ее заключения.

Первая дверь вела в коридор. Он был совершенно темный, и три узницы могли скрыть свое волнение. Впереди бежал маленький Блек, но, добежав до второй двери, той, от которой Мария-Антуанетта старалась отвести взгляд, верное животное уткнулось мордой в гвозди с широкими шляпками и после жалобного лая испустило продолжительный стон. Королева поскорее прошла, будучи не в силах отогнать собачку, и искала стену, чтобы прислониться.

Королева сделала еще несколько шагов, но потом ноги изменили ей, и она вынуждена была остановиться. Сестра и дочь приблизились к ней, и с минуту три женщины стояли неподвижно, образуя из себя печальную группу; мать прижалась лицом к голове дочери.

Блек подбежал к своей хозяйке.

— Ну, что же, идет она или нет? — раздался чей-то голос.

— Сейчас, — отвечал муниципал, который оставался стоять из уважения к этой горечи, величественной в своей простоте.

— Пройдем, — сказала королева и пошла по лестнице.

Когда заключенные спустились по винтовой лестнице, напротив последней двери, над которой солнечный свет прочертил широкие золотые полосы, барабан пробил дробь, призывавшую стражу, потом воцарилась тишина, вызванная любопытством, и тяжелая дверь лениво отворилась, повернувшись на скрипучих петлях.

У тумбы, смежной с этой дверью, сидела или, вернее, лежала на земле женщина. Это была Тизон, которую королева не видала целые сутки, что и вчера вечером и сегодня утром немного ее удивляло.

Королева увидела дневной свет, деревья, сад и по ту сторону барьера глаза ее с жадностью искали маленькую харчевню, где, без сомнения, дожидались ее друзья, как вдруг при шуме ее шагов Тизон раздвинула руки, и королева увидела бледное и расстроенное лицо под начинавшими седеть волосами.

Перемена была так разительна, что королева остолбенела от изумления.

Тогда с медлительностью, свойственной людям, у которых уже нет рассудка, старуха стала на колени перед дверью и загородила дорогу Марии-Антуанетте.

— Чего хотите вы, милая? — спросила королева.

— Он сказал, чтобы вы меня простили.

— Кто такой? — спросила королева.

— А человек в плаще, — отвечала Тизон.

Королева с удивлением взглянула на дочь и на принцессу Елизавету.

— Ладно, ладно, — сказал муниципал, — пропусти вдову Капет. Ей позволено гулять в саду.

— Знаю, — отвечала старуха, — оттого-то я и пришла сюда... Я должна была просить у нее прощения; а меня не пускали наверх, я и дождалась здесь.

— Отчего же не пустили вас наверх? — спросила королева.

Тизон расхохоталась.

— Они думают, что я сумасшедшая!

Королева посмотрела на нее и действительно увидела в блуждающих глазах несчастной странный отблеск, смутный свет, свидетельствующий об отсутствии мысли.

— Боже мой! Что с вами случилось, бедняжка?

— Что случилось!.. Так вы не знаете?.. Нет, вы очень хорошо знаете... потому что за вас осудили ее...

— Кого?

— Элоизу!

— Вашу дочь?

— Да, ее... мою бедную дочь!

— Осудили!.. Кто же? Как? За что?

— Потому что она продала букет...

— Какой букет?

— А гвоздику-то... Однако ж ведь она не цветочница, — продолжала Тизон, как будто собираясь с мыслями. — Как же могла она продать букет?

Королева вздрогнула. Невидимая нить связала эту сцену с теперешним ее положением; она понимала, что не должна терять времени на бесполезные разговоры.

— Пропустите меня, милая, — сказала она, — прошу вас, вы расскажете мне после.

— Нет, сейчас; вы должны меня простить; я должна помочь вашему бегству, чтоб он спас мою дочь.

Королева побледнела, как смерть.

— Боже мой! — прошептала она, обращая глаза к небу.

И потом сказала муниципалу:

— Потрудитесь, милостивый государь, удалить эту женщину; вы видите, что она помешана.

— Ну, ну, старая, долой! — крикнул муниципал.

Но старуха Тизон ухватилась за стену.

— Нет, пусть она простит меня, чтоб он спас мою дочь!

— Да кто такой?

— Человек в плаще.

— Сестра, — сказала принцесса Елизавета, — утешьте ее несколькими словами.

— О, с удовольствием, — отвечала королева. — В самом деле, это будет короче.

И потом обратилась к старухе:

— Чего же хотите вы, моя милая? Скажите.

— Я хочу, чтоб вы простили мне все дерзости, которые я наговорила вам, все доносы, и чтобы вы, увидев человека в плаще, приказали ему спасти мою дочь... потому что он сделает все, что вы захотите.

— Я, право, не понимаю, что это за человек в плаще, — отвечала королева, — но если вам для успокоения совести необходимо получить от меня прощение за обиды, которые, как говорите, вы нанесли мне, — о, я прощаю вас от души, бедная женщина, и пусть простят меня так же точно все те, кого я обидела.

— О, — вскричала Тизон с непередаваемым выражением радости. — Он спасет мою дочь, если вы меня простите! Дайте вашу руку, сударыня, вашу руку!

Королева, ничего не понимая, подала ей руку. Тизон схватила ее и прижала к губам.

В эту минуту на улице Тампль раздался хриплый голос глашатая:

«Суд и решение над заговорщицей девицей Элоизой Тизон, приговоренной к смерти!»

Лишь только слова эти коснулись ушей старухи Тизон, лицо ее расстроилось, она привстала на одно колено и раскинула руки, заслоня путь королеве.

— Боже мой, — прошептала Мария-Антуанетта, не пропустившая ни слова из ужасного объявления.

— Приговорена к смерти! — вскричала мать. — Моя дочь осуждена!.. Элоиза моя погибла!.. Значит, он не спас ее! Значит, не мог спасти!.. Значит, поздно!.. А, а!

— Бедняжка, верьте, что мне вас искренне жаль, — сказала королева.

— Тебе, — закричала Тизон, и глаза у нее налились кровью. — Тебе!.. Ты жалеешь меня! Никогда! Никогда!

— Вы ошибаетесь; я жалею вас от всего сердца... Но дайте мне пройти.

— Пропустить тебя!.. — И Тизон залилась смехом. — Нет, нет! Я позволяла тебе бежать, потому что он обещал спасти мою дочь, если я попрошу у тебя прощения и дам тебе бежать; но теперь моя дочь осуждена, моя дочь умрет — и ты не убежишь!..

— Господа, помогите! — закричала королева. — Боже мой! Боже мой! Вы видите, что эта женщина сумасшедшая.

— Нет, я не сумасшедшая; знаю, что говорю!.. — кричала Тизон. — Тут действительно был заговор... Симон открыл его... Моя дочь, моя бедная дочь продала букет... Она призналась перед судом... Букет гвоздики... в нем были бумажки...

— Милая, бога ради... — проговорила королева.

На улице снова послышался крик:

«Суд и решение над Элоизой Тизон, приговоренной к смерти за заговор!»

— Слышишь? — простонала безумная, около которой сгруппировалась

национальная стража: — Слышишь? Приговорена к смерти! Это ты, ты убиваешь мою дочь, слышишь ли! Ты, австрийское племя!

— Господа, бога ради, если вы не хотите извинить меня от этой безумной, — сказала королева, — то, по крайней мере, позвольте мне возвратиться наверх... Я не могу сносить упреков этой женщины; как бы ни были они несправедливы — от них разрывается мое сердце.

И королева отвернулась, рыдая.

— Да, да, плачь, притворщица! — кричала помешанная. — Дорого стоит ей твой букет... И то сказала: она должна была ожидать этого... так умирают все, кто только служил тебе. Ты приносишь несчастье, австрийское отродье; убили твоих друзей, твоего мужа, твоих защитников, наконец, убивают мою дочь!.. Когда же ты расплатишься, чтобы никто не погибал за тебя?..

И несчастная/ горланила, сопровождая свои слова угрожающими жестами.

Королева закрыла лицо руками.

— Несчастливая, — проговорила принцесса Елизавета, — ты забыла, что говоришь королеве.

— Королеве!.. Она!.. Королева? — повторила Тизон, в которой бешенство возрастало с каждой минутой. — Если она королева, то пускай запретит палачам убивать мою дочь!.. Пускай велит помыловать мою бедную Элоизу!.. Короли милуют!.. Полно! Возврати мне дочь, и я буду признавать тебя за королеву... А до тех пор ты женщина... и женщина, которая вносит в дом несчастье!

— О, пощадите, пощадите! — вскричала Мария-Антуанетта. — Вы видите мое горе, видите мои слезы!

И Мария-Антуанетта пыталась прорваться мимо, чтобы не видеть как ужасно беснуется Тизон.

— Нет, не уйдешь! — горланила старуха. — Не убежишь, мадам Вето!.. Все знаю, человек в плаще все рассказал мне!.. Ты хочешь соединиться с пруссаками... Но не убежишь, — продолжала Тизон, ухватив королеву за платье. — Не позволю бежать! Стой, мадам Вето! Граждане, сюда!.. Морис!

И помешанная, с растрепанными седыми волосами, багровым лицом и налившимися кровью глазами, упала навзничь, разорвав в клочки платье, за которое ухватилась.

Королева, перепуганная, но по крайней мере избавленная от безумной, хотела было бежать в сад, как вдруг ужасный крик, смешанный с лаем и сопровождаемый странным шумом, вывел из оцепенения национальную стражу, которая окружала Марию-Антуанетту, привлеченная описанной сценой.

— К оружию! Измена! — кричал человек, которого королева по голосу приняла за сапожника Симона.

Возле этого человека, охранявшего с саблей в руке дверь харчевни, неистово лаял Блек.

— Сюда! Весь караул! — кричал Симон. — Нам изменили... Верните мадам Вето!

Прибежал офицер. Симон поговорил с ним, сверкая глазами, и указал на харчевню. Офицер закричал: «Караул!»

— Блек! Блек! — крикнула королева, сделав шаг вперед.

Но собака не отвечала и продолжала лаять во все горло.

Национальная стража сбежалась с оружием и бросилась к харчевне, а муниципалы схватили королеву, ее сестру и дочь и втолкнули в дверь, которая тотчас захлопнулась за ними.

— Готовь ружья! — закричали муниципалы караульным.

И раздался стук заряжаемых ружей.

— Там, там... под люком! — кричал Симон. — Я видел, как шевелился люк... Я уверен!.. Собака не участвовала в заговоре и лаяла на заговорщиков... Они, верно, в погребе! Слышите, все еще лает!..

Действительно, Блек, воодушевленный криком Симона, залаял пуще прежнего.

Офицер схватил кольцо люка. Два здоровых гренадера, видя, что он не в силах его приподнять, начали помогать ему, но безуспешно.

— Дело ясное, снизу держат, — сказал Симон. — Пали, друзья мои! Прямо в люк, так и стреляй сквозь доску!

— Эй, вы! — кричала Плюмо. — Перебьете бутылки.

— Пали! Пали! — повторял Симон.

— Замолчи, горлан! — сказал офицер. — Принеси топор, будем ломать доски. Взвод, готовься! И как откроем люк, стрелять туда.

Стук доски и сотрясение показали национальной страже, что внизу пока произошло движение. Вскоре из-под земли послышался шум, как будто задвигают железную решетку.

— Смелей, — сказал офицер прибежавшим саперам.

Топором разрубили доски; двадцать ружейных дул опустились к отверстию, которое расширялось с каждой секундой.

Но в отверстии не видно было ни души.

Офицер зажег факел и бросил в погреб; погреб был пустой.

Приподняли люк, и на этот раз он уступил без всякого сопротивления.

— За мной! — крикнул офицер, кинувшись по ступеням.

— Вперед! — кричала национальная стража, бросившись вслед за офицером.

— А, вот как, почтеннейшая Плюмо? Ты отдала свой подвал аристократам? — сказал Симон. — Ну, ладно!..

Проломили стену. На влажной земле были следы, и по направлению к улице Кордери показался проход фута в три шириной и около шести в высоту, похожий на колено траншеи.

Офицер влез в это отверстие, решив преследовать противников хоть в недра земли. Но едва сделал три-четыре шага, как был остановлен железной решеткой.

— Стой! — сказал он тем, которые толкали его сзади. — Дальше нельзя — загорожено наглухо!..

— Что там, посмотрим! — сказали муниципалы, которые уже успели запереть узницу и прибежали разносить новости.

— Что? Да тут целый заговор! — отвечал офицер, выползая из подземного хода. — Аристократы хотели похитить королеву во время прогулки, и, вероятно, у нее был с ними сговор.

— Черт побери! — вскричал муниципал. — Бежать сейчас же за гражданином Сантером и предупредить Коммуну.

— Солдаты, — сказал офицер, — оставайтесь в этом погребе и стреляйте во всякого, кто сунет сюда нос.

И, отдав этот приказ, офицер вышел наверх, чтобы составить рапорт.

— Ага! — кричал Симон, потирая руки. — Ага! Пускай теперь называют меня сумасшедшим! Пускай попробуют!.. Блек, Блек! О, да ты настоящий патриот... Блек спас республику... Поди сюда, Блек, поди ко мне!..

И мерзавец, приласкав бедную собаку, дал ей такого пинка ногой, что животное отлетело на двадцать шагов.

— О, как я люблю тебя, Блек! — сказал он. — По твоей милости отрубят голову твоей хозяйке. Подойди сюда, Блек, подойди!

Но на этот раз Блек завизжал и бросился к тюрьме.

XXVII. ФРАНТ

Прошло часа два после того, как совершились описанные нами события.

Лорен прохаживался в комнате Мориса, а тем временем Сцевола чистил в прихожей сапоги своего господина; но для удобства разговора дверь оставалась растворенной, и Лорен, шагая взад и вперед, останавливался перед ней и обращался с вопросами к слуге.

— И ты говоришь, Сцевола, что господин твой уехал сегодня утром?

— Ну, да, утром!..

— А когда он обычно уезжает?

— Минут десять раньше, минут десять позже, как случится.

— А ты не видал его с тех пор?

— Нет, гражданин.

Лорен молча раза три или четыре прошелся по комнате и опять остановился.

— А как ушел он, с саблей?

— Разумеется, он всегда ходит на службу с саблей.

— А уверен ты, что он ушел на службу?

— По крайней мере, так он сказал.

— В таком случае я пойду к нему, — сказал Лорен. — Если мы разминемся, скажи, что я был и вернусь.

— Пойдите, — сказал Сцевола.

— Что такое?

— Я слышу его шаги на лестнице.

— Право?

— Будьте уверены.

И почти в то же мгновение дверь открылась и вошел Морис.

Лорен быстро взглянул на него и, видя, что в нем нет ничего необыкновенного, сказал:

— Наконец-то!.. Я жду тебя битых два часа.

— Тем лучше, — с улыбкой отвечал Морис, — ты успел за это время наделать двустипший или четверстипший.

— Ах, любезный Морис, — произнес импровизатор, — я перестал сочинять.

— Двустипшья и четверстипшья?

- Да.
- Ого! Значит, скоро конец света?
- Морис, друг мой, я скучаю...
- Ты скучаешь?
- Я несчастен.
- Ты несчастен?
- Что делать! Упреки совести.
- Упреки совести?
- Да, да, — сказал Лорен. — Или ты, или она — середины не было. Ты или она... Ты знаешь, я не колебался. Но видишь ли, Артемиза в отчаянии: это была ее подруга.
- Бедная девушка!
- И так как Артемиза дала мне ее адрес...
- Гораздо лучше бы ты сделал, если б дал всему идти своим чередом.
- И значит, вместо нее теперь ты был бы приговорен к смерти? Умное рассуждение! А еще я приходил к тебе советоваться.
- Все равно говори, в чем дело?
- Понимаешь ли, мне хотелось предпринять что-нибудь, чтобы ее спасти. Если б я дал или получил за нее порядочного пинка, право, кажется, мне было бы легче.
- Да ты с ума сошел, Лорен, — сказал Морис, пожимая плечами.
- Как ты думаешь: не вступить ли за нее перед революционным трибуналом?
- Теперь уже поздно. Она осуждена.
- Право, — сказал Лорен, — противно видеть, что губишь такую девушку.
- Тем более противно, что мое избавление повлекло ее смерть. Но знаешь, Лорен, мы можем сколь-нибудь утешиться мыслью, что она была заговорщица.
- Да кто же в наше время не заговорщик во Франции?.. Бедная женщина!
- Однако же не слишком жалею, мой друг, и, главное, не жалею вслух, а не то и нас потащат вместе с нею. Поверь, что и мы не слишком отстранены от обвинения в соучастии. Не дальше как сегодня капитан егерей Сен-Ле назвал меня жирондистом, и я принужден был ударить его саблей в доказательство, что он ошибается.
- Так вот отчего ты и возвратился так поздно?
- Именно.
- А почему не предупредил меня?
- Потому что в таких делах ты не годишься: тут надо было покончить сию же минуту, чтобы не начался шум. Мы взяли каждый, что было у нас под рукой.
- И эта каналья назвал тебя жирондистом, тебя, Морис!..
- Да!.. Теперь ты видишь, любезный друг, еще одна такая история, и мы лишимся популярности; а ты знаешь, Лорен, что в наше время слово «непопулярный» синоним слову «подозрительный».
- Знаю, — сказал Лорен, — от этого слова трепещут самые смелые.

Но... все равно!.. Мне страшно пустить Элоизу на эшафот, не испросив у нее прощения...

— Чего же, наконец, ты хочешь?

— Я хотел бы, чтоб ты остался здесь, Морис, потому что тебе не в чем упрекать себя на ее счет. Я дело другое; так как я ничего не могу сделать для нее, то, по крайней мере, провожу ее, пойду вслед за ней, Морис... понимаешь... и если б только она подала мне руку...

— В таком случае и я пойду с тобой, — сказал Морис.

— Невозможно, друг мой! Только подумай: ты муниципал, ты секретарь секции Коммуны, тебя обвиняли, тогда как я был твоим защитником... Тебя сочтут виновным... Оставайся лучше... Я другое дело, я ничем не рискую и пойду.

Лорен говорил так убедительно, что нечего было и возражать. Стоило Морису обменяться одним знаком с Элоизой Тизон во время ее шествия на эшафот, тут же решили бы, что он соучастник.

— В таком случае иди, но будь осторожен.

Лорен улыбнулся, пожал руку Морису и вышел.

Морис открыл окно и послал ему прощальный знак рукой. Но прежде чем Лорен повернул за угол, Морис некоторое время смотрел ему вслед, и всякий раз, как будто повинуюсь какому-то магнитному влечению, Лорен оборачивался, чтобы взглянуть на него с улыбкой.

Наконец, когда он исчез на набережной, Морис закрыл окно, бросился в кресло и впал в дремоту, которая у сильных характеров и крепких организаций служит предчувствием великих несчастий, потому что дремота этого рода похожа на тишь перед бурей.

Морис был выведен из дремоты или, вернее, забытья слугой, который бежал за какими-то делами в город и возвратился с чрезвычайно оживленным лицом, какое вообще бывает у слуг, когда они горят нетерпением сообщить господам свеженькую новость.

Но видя, что Морис занят мыслями, слуга не посмел его расстраивать и удовольствовался тем, что несколько раз без всякой причины прошел перед ним по комнате.

— Что такое? — небрежно спросил Морис. — Говори, коли что хочешь сказать.

— Ах, гражданин, еще заговор, да какой!

Морис пожал плечами.

— Такой, скажу вам, что волосы становятся дыбом, — продолжал Сцевола.

— Право? — отвечал Морис тоном человека, привыкшего к подобным новостям в то ужасное время.

— Да, гражданин, просто дрожь берет, как подумаешь — мороз по коже.

— Посмотрим, в чем дело?

— Вообразите: австриячка-то чуть не убежала.

— О?.. — заметил Морис, начинавший слушать внимательнее.

— Кажется, — продолжал Сцевола, — у вдовы Капет были какие-то шашни с девочкой Тизон, которую казнят сегодня на гильотине.

— Какие же сношения могла иметь королева с этой девушкой? — спросил Морис, у которого пот выступил на лбу.

— Через гвоздику, представьте себе, гражданин. Тизон передала ей весь план побега в гвоздике!

— В гвоздике? И кто же это?..

— Кавалер... де... Дайте припомнить!.. Имя-то звонкое, да я забыл все такие имена... Пойдите... Кавалер... Мезон...

— Мезон Руж?

— Именно!

— Не может быть!

— Как не может быть, когда я сказал вам, что нашли люк, подземелье, кареты.

— В том-то и дело, что ты не сказал об этом мне ни слова.

— Ну, так расскажу.

— Рассказывай! Если это сказка, все-таки послушаем.

— Нет, гражданин, это не сказка, и лучшее доказательство то, что я услышал от привратника. Аристократы сделали подкоп, извольте видеть; подкоп этот начинался от улицы Кордери и упирался в погреб харчевни гражданки Плюмо... Вообразите, ведь гражданку Плюмо тоже втянули в заговор... Кажется, вы знаете ее?

— Да. Что же дальше?

— А вот слушайте. Вдова Капет должна была дать тягу через это подземелье. Она уж стала ногой на первую ступеньку — какво! Да хорошо, что гражданин Симон поймал ее за платье... Пойдите: бьют сбор... слышите барабан? Говорят, пруссаки в Даммартене и прошли до границы.

Посреди этого разлива слов правды и лжи, возможного и нелепого, Морис почти поймал путеводную нить. Все началось из-за гвоздики, отданной на его глазах королеве и купленной у несчастной цветочницы. В этой гвоздике содержался план заговора, который вспыхнул с более или менее верными подробностями, рассказанными Сцеволой.

В это время грохот барабана приблизился, и Морис услышал на улице крик:

«Гражданин Симон открыл большой заговор в Тампле! Большой заговор в пользу вдовы Капет открыт в Тампле!»

«Да, да, — подумал Морис. — Тут есть и правда. А Лорен посреди этого народного опьянения, может быть, подаст руку этой женщине... Да его разорвут на куски!»

Морис схватил шляпу, застегнул портупю и в два прыжка очутился на улице.

«Где же он? — спрашивал себя Морис. — Вероятно, на дороге в Консьержери».

И он побежал к набережной.

На конце набережной Межиссери пики и штыки, сверкавшие среди сборища, поразили взор Мориса; ему показалось, что в группе увидел мундир национального гвардейца и заметил враждебные движения, и Морис побежал со стесненным сердцем к сборищу, загородившему берег.

Национальный гвардеец этот, окруженный ротой марсельцев, был Лорен, бледный, со сжатыми зубами, угрожающим взглядом, с рукой на эфесе сабли, намечавший места для ударов, которые он готовился нанести.

В двух шагах от Лорена стоял Симон и с диким хохотом указывал на него марсельцам и черни, говоря:

— Видите вон этого... видите? Это один из тех, которых я велел вчера выгнать из Тампля; один из тех, которые передавали записку в гвоздике... Это соучастник Элоизы Тизон, которую повезут сию минуту. Видите, как спокойно прогуливается он по набережной, между тем как его соучастницу поведут на гильотину... Может быть, она была даже больше, нежели его соучастница; может быть, она его любовница, и он пришел сюда, чтобы проститься с нею и попробовать спасти ее.

Лорен не мог более слушать и выхватил саблю из ножен.

В то же мгновение толпа раздалась перед человеком, который шел, опустив голову, и широкими плечами опрокинул трех или четырех зрителей, собиравшихся сделаться актерами.

— Твое счастье, Симон, — сказал Морис. — Вероятно, ты жалел, что меня не было с моим другом, и ты поэтому не мог составить донос в большем объеме. Доноси же, Симон, доноси: вот и я здесь!

— Вижу, и ты пришел очень кстати! — заревел Симон. — Граждане, — продолжал доносчик, — это прекрасный Морис Лендэ: он был обвинен вместе с Элоизой Тизон и отделался только потому, что богат!

— На фонарь! На фонарь! — завопили марсельцы.

— Ой ли! Попробуй кто-нибудь! — сказал Морис.

Он сделал шаг вперед и как будто для пробы ткнул саблей в лоб одного из самых отчаянных головорезов, которого тотчас же ослепила кровь.

— Убивают! — закричал тот.

Марсельцы опустили пики, подняли топоры, зарядили ружья; толпа в ужасе расступилась, и два друга остались одни мишенью для всех ударов.

Они переглянулись с последней благородной улыбкой, ожидая, что их пожрет этот вихрь угрожающего оружия и пламени, как вдруг дверь дома, к которому они прислонились, отворилась, и толпа молодых людей во фраках, так называемых «мюскатенов», франтиков, вооруженных каждый саблей и парой пистолетов, бросилась на марсельцев, и завязалась ужасная схватка.

— Урра! — закричали разом Лорен и Морис, воодушевленные этой помощью и поразмыслив, что, сражаясь в рядах вновь прибывших, они подтвердят обвинения Симона.

Но если они не думали о своем спасении, то за них думал другой. Молодой человек лет двадцати пяти, маленького роста, с голубыми глазами, без усталости и с необыкновенной ловкостью и жаром махавший саперной саблей, которую, по-видимому, не в состоянии была поднять его женская рука, — молодой человек, заметив, что Лорен и Морис вместо того, чтобы бежать в дверь, кажется, нарочно для них оставленную отворенной, сражаются рядом с мюскатенами, обернулся к ним и шепнул:

— Бегите в эту дверь... Что мы здесь делаем — вас не касается... Вы только напрасно себя компрометируете.

Потом, видя нерешительность двух приятелей, он закричал Морису:

— Назад! Не надо нам патриотов! Муниципал Лендэ, мы аристократы!

При этом слове, при дерзости, с которой молодой человек объявил звание, в ту эпоху стоившее смертного приговора, толпа испустила безумный крик.

Но белокурый молодой человек с тремя или четырьмя друзьями, вместо

того чтобы испугаться этого крика, толкнули Мориса и Лорена в коридор, дверь которого тотчас же заперли за ними, и снова бросились в схватку, увеличившуюся из-за приближения телеги, везшей жертву на эшафот.

Морис и Лорен, спасенные таким удивительным образом, в изумлении переглянулись как будто ослепленные.

Но они понимали, что нельзя было терять времени, и начали искать выход.

Выход этот был, как нарочно, приготовлен для них. Друзья вышли во двор и в глубине двора нашли скрытую дверцу, которая вела на улицу Сен-Жермен-Огзерруа.

В это время с моста Шанж съехал взвод жандармов, который вскоре очистил набережную, хотя из поперечной улицы, где стояли два друга, с минуту еще слышен был шум яростной схватки.

За жандармами ехала тележка, в которой везли на эшафот бедную Эловзу.

— В галоп, в галоп! — раздался голос.

Телега промчалась в галоп. Лорен увидел несчастную девушку, стоявшую с гордым взглядом и улыбкой на губах, но не мог обменяться с нею ни одним жестом, а она проехала, не заметив его в водовороте горланившей толпы.

Мало-помалу шум стал слабеть.

В то же время дверца, через которую вышли Морис и Лорен, снова отворилась, и из нее вышли в разорванных и окровавленных платьях трое или четверо мюскатенов. Вероятно, только они и уцелели из всей группы.

Последним вышел белокурый молодой человек.

— Увы, верно, это дело никогда не удастся! — сказал он и, бросив иззубренную и окровавленную саблю, кинулся в улицу Лавандьер.

XXVIII. КАВАЛЕР ДЕ МЕЗОН РУЖ

Морис поспешил возвратиться в отделение, чтобы принести жалобу на Симона.

Правда, перед расставанием с Морисом Лорен нашел средство посущественнее, а именно: собрать нескольких фермопильцев, ждать Симона, как только он выйдет из Тампля, и убить его в схватке; но Морис формально воспротивился такому плану.

— Ты погиб, если будешь расправляться своими руками, — сказал он — Уничтожим Симона, но уничтожим законным порядком. Это нетрудно будет сделать нашим юристам.

Итак, на следующее утро Морис отправился в отделение и представил жалобу.

Но как удивился он, когда президент, выслушав его, отозвался, что не может быть судьей в деле двух достойных граждан, одинаково одушевленных любовью к отечеству.

— Хорошо, — заметил Морис, — теперь я знаю, чем заслужить репутацию достойного гражданина. Созвать народ, чтобы убить человека, который вам не по душе, — это, по-вашему, любовь к отечеству! В таком случае я

примусь за систему Лорена, которую имел глупость оспаривать. С нынешнего дня я покажу вам патриотизм, как вы его понимаете, и испробую его на Симоне.

— Гражданин Морис, — отвечал президент, — Симон может быть меньше твоего виноват в этом деле. Он открыл заговор, не будучи призван к этому своей должностью, открыл там, где ты ничего не видел, хотя обязан был открыть его; притом же случайно или с намерением — не знаем этого, — но ты потворствовал заговорщикам, был заодно с врагами нации.

— Я! — вскричал Морис. — Вот это новость! А с кем, гражданин президент?

— С гражданином Мезон Ружем.

— Я? — сказал ошеломленный Морис. — Я был заодно с кавалером Мезон Ружем?... И знать его не знаю и никогда...

— Видели, как ты с ним разговаривал.

— Я?

— Жал ему руку.

— Я?

— Да.

— Где же это? Когда?.. Гражданин президент, — сказал Морис, убежденный в своей невинности, — ты солгал!..

— Ревность твоя к отечеству увлекает тебя слишком далеко, гражданин Морис, — сказал президент, — и ты сию минуту раскаешься в своих словах, когда я представлю доказательство, что сказанное мною — истина. Вот три различных доноса, обвиняющих тебя.

— Оставьте ваш вздор! — сказал Морис. — Неужели вы думаете, что я так глуп, что стал верить вашему кавалеру Мезон Ружу?

— А почему ты не веришь ему?

— Потому что это призрак заговорщика, готовый всегда составить заговор, чтобы присоединить к нему ваших врагов.

— Читай доносы.

— Читать я ничего не стану, — сказал Морис, — но объявляю, что я никогда не видел кавалера Мезон Ружа и никогда не говорил с ним ни слова. Кто не верит в честь моего слова — пускай скажет мне это в глаза, я сумею ответить.

Президент пожал плечами. Морис, не хотевший быть в долгу перед кем бы то ни было, сделал то же самое.

В остальной части заседания было что-то мрачное и осторожное.

После заседания президент, в душе честный патриот, избранный целым округом уважавших его сограждан, подошел к Морису и сказал:

— Морис, мне надо поговорить с тобой.

Морис пошел за президентом в маленькую комнатку, смежную с залой заседания.

Здесь президент, посмотрев пристально Морису в лицо и положив руку на плечо, сказал:

— Морис, я уважал твоего отца, значит, уважаю и люблю тебя. Поверь мне, Морис, ты подвергаешься большой опасности, изменяя своему убеждению: это первая ступень упадка духа, поистине республиканского. Морис, друг мой, коль скоро теряешь убеждение, перестаешь быть и верным.

Ты не веришь, что есть враги у твоей нации, и вот почему ты проходишь, не замечая, мимо них и делаешься орудием их заговоров, сам того не подозревая.

— Черт побери, гражданин! — отвечал Морис. — Я понимаю себя, я человек с характером, ревностный патриот; но ревность не делает меня фанатиком. Вот уже двадцать мнимых заговоров республика подписала все одним и тем же именем. Хотелось бы мне хотя бы раз увидеть их ответственного издателя.

— Ты не веришь в заговорщиков, Морис, — сказал президент. — Хорошо же! Скажи мне, веришь ли ты в красную гвоздику, за которую вчера отрубили голову девице Тизон?

Морис задрожал.

— Веришь ли ты в подземелье Тампльского сада, которое сообщалось от погребца гражданки Плюмо с каким-то домом на улице Кордери?

— Нет, — отвечал Морис.

— В таком случае ощупай и осмотри сам.

— Я не служу сторожем в Тампле, и меня туда не пустят.

— Теперь каждый может идти туда.

— Как так?

— Прочитай вот это донесение. Если уж ты такой неверующий, то я буду убеждать тебя официальными документами.

— Как! — вскричал Морис, читая донесение. — Неужели уж дошло до этого?

— Читай далее.

— Королеву переводят в Консьержери?

— Так что же! — отвечал президент.

— А-а!

— Неужели ты думаешь, что Комитет общественной безопасности принял такую меру, основываясь на каких-нибудь бреднях, фантазии, мечте?.. А?

— Мера эта принята, но не будет исполнена, как тысячи других мер, которые принимали на моих глазах... Вот и все!

— Да читай же до конца, — сказал президент.

И он подал Морису последнюю бумагу.

— Расписка Риша, тюремщика Консьержери! — вскричал Морис.

— Ее заперли туда в два часа.

На этот раз Морис задумался.

— Коммуна, ты знаешь, — продолжал президент, — действует по глубоким соображениям. Она проложила себе борозду, широкую и прямую, ее меры не ребячество... Прочитай эту секретную ноту министра полиции.

Морис прочел:

«Так как нам точно известно, что бывший кавалер Мезон Руж находится в Париже; что его видели в разных местах; что он оставил следы своего присутствия в разных заговорах, по счастью, неудавшихся, то я приглашаю всех начальников частей города удвоить свою бдительность.»

— Ну что? — спросил президент.

— Приходится верить, гражданин президент! — вскричал Морис.

И продолжал читать:

«Приметы кавалера Мезон Ружа: рост пять футов три дюйма; волосы

белокурые; глаза голубые; нос прямой; борода каштановая; подбородок круглый, голос приятный, но женский. Возраст между тридцатью пятью и тридцатью шестью».

При этом описании примет какой-то странный свет блеснул в уме Морисе. Он тотчас подумал о молодом человеке, который командовал группой мюскатенов, накануне спас его и Лорена и молодецки разил саперной саблей марсельцев.

— Черт поberi, — проговорил Морис, — неужели это он? В таком случае справедливо донесли, что я с ним говорил. Не помню только, пожал ли я ему руку.

— Ну что, Морис? — спросил президент. — Что теперь скажешь, мой друг?

— Скажу, что верю вам, — отвечал Морис в печальном раздумье (потому что с некоторого времени все вещи представлялись ему в каком-то мрачном свете, хотя он сам не знал, что за напасть тяготеет над ним).

— Не играй ты популярностью, Морис, — продолжал президент. — Популярность нынче — жизнь; непопулярность — берегись! — подозрение в измене; а гражданин Морис Лендэ не может быть подозреваем как изменник.

Морису нечего было отвечать на мнение, которое он тоже разделял. Он поблагодарил старого друга и возвратился к себе в секцию.

— Ух! — говорил он. — Переведем дух! Уж слишком много борьбы и подозрений! Пойдем к отдыху, к невинности, к радости; пойдем к Женевьеве. И Морис пошел на старую улицу Сен-Жак.

Когда он пришел к кожевнику, Диксмер и Моран поддерживали Женевьеву, с которой сделался сильный нервный припадок.

Слуга, вместо того чтобы свободно пропустить Мориса, как обычно, заслонил ему дорогу.

— Но все-таки доложи обо мне, — беспокойно сказал Морис, — и если Диксмер не может принять меня теперь, то я уйду.

Слуга вошел в маленький павильон, Морис остался в саду.

Ему показалось, что в доме происходит что-то необыкновенное. Мастерские не работали и с беспокойством мелькали по саду.

Диксмер сам-показался у дверей.

— Войдите, любезный Морис, войдите, — сказал он. — Вы не из тех, перед которыми запирают двери.

— Но что же случилось у вас? — спросил молодой человек.

— Захворала Женевьева, даже больше, чем больна. Она бредит.

— Боже мой! — вскричал молодой человек, видя, что и здесь его преследуют тревоги и страдания. — Что с нею?

— Вы знаете, любезный, — отвечал Диксмер, — что в женских болезнях никто ничего не смыслит, а особенно мужья.

Женевьева лежала, опрокинувшись на кресла. Возле нее был Моран и давал ей нюхать соль.

— Ну что? — спросил Диксмер.

— Все по-прежнему, — отвечал Моран.

— Элоиза, Элоиза! — шептала молодая женщина сквозь побелевшие губы и стиснутые зубы.

— Элоиза? — с удивлением повторил Морис.

— Ну да, — нетерпеливо отвечал Диксмер. — К несчастью, вчера Женестьева уходила со двора и видела, как провезли эту злополучную телегу с бедной девушкой по имени Элоиза... После того с Женестьевой было пять или шесть нервных припадков, и она не перестает повторять это имя.

— Особенно поразило ее то, — прибавил Моран, — что она узнала в этой несчастной девушке цветочницу, которая продавала известную вам гвоздику.

— Как не знать этой гвоздики! Из-за нее мне чуть не отрубили голову.

— Да, все мы это знаем, любезный Морис, и поверьте, перепугались как нельзя больше. Но Моран был на заседании и видел, что вы ушли из зала свободным.

— Тсс!.. — прервал его Морис. — Кажется, она что-то говорит.

— Отрывистые слова... не поймете, — сказал Диксмер.

— Морис... — бормотала Женестьева, — хотят убить Мориса...

За этими словами последовало глубокое молчание.

— Мезон Руж, — проговорила еще Женестьева, — Мезон Руж!

В голове Мориса мелькнуло что-то похожее на подозрение, но только мелькнуло; притом он был слишком взволнован страданиями Женестьевы, чтобы толковать ее слова.

— Посылали ли вы за доктором? — спросил он.

— К чему, — заметил Диксмер, — это легкий бред, вот и все.

И он так крепко сжал руку своей жены, что она опомнилась и, слегка вскрикнув, раскрыла глаза, которые до тех пор были сомкнуты.

— А, вы все здесь, — сказала она, — и Морис с вами. О, как я счастлива, что вас вижу, мой друг; если б вы знали, как я (она опомнилась)... как мы страдали эти два дня.

— Да, — сказал Морис, — мы все здесь; успокойтесь же и впредь не пугайте нас таким образом. В особенности есть одно имя, которое нам должно разуться произносить, потому что оно теперь не в духе общества.

— Какое же это имя? — с живостью спросила Женестьева.

— Кавалер Мезон Руж.

— Я назвала кавалера Мезон Ружа, я?.. — спросила испуганная Женестьева.

— Да, — отвечал Диксмер с принужденным смехом. — Но вы понимаете, Морис, что тут нет ничего удивительного... Публично говорят, что он был сообщником девицы Тизон и что руководил попыткой похищения, которая, к счастью, не удалась вчера.

— Я не говорю, чтоб тут было что-то удивительное, — отвечал Морис, — я говорю только, что ему надо хорошенько скрываться.

— Кому это? — спросил Диксмер.

— Разумеется, кавалеру Мезон Ружу. Коммуна ищет его, а у шпионов Коммуны тонкое чутье.

— Пусть только поймают его, — сказал Моран, — пока он не исполнил какого-нибудь нового предприятия, которое удастся лучше его последней попытки.

— В таком случае, — заметил Морис, — это никак не будет в пользу королевы.

— А почему? — спросил Моран.

— Потому что королева теперь охраняется сильнее прежнего.

— Где же она?

— В Консьержери, — отвечал Морис. — Ее туда отвезли в прошлую ночь.

Диксмер, Моран и Женевьева испустили крик, который Морис принял за возглас удивления.

— Итак, вы видите, — продолжал он, — планы кавалера лопнули!.. Консьержери надежнее Тампля.

Моран и Диксмер обменялись взглядом, который ускользнул от Мориса.

— Боже мой! — вскричал он. — Как побледнела мадам Диксмер.

— Женевьева, ляг, моя милая, в постель, — сказал Диксмер жене. — Ты нездорова.

Морис понял, что его удаляют, поцеловал руку Женевьеве и ушел.

Моран вышел вместе с ним проводил до улицы Сен-Жак.

Здесь Моран отошел от него, чтобы сказать несколько слов слуге, державшему оседланную лошадь.

Морис был так занят мыслями, что даже не спросил у Морана, с которым, впрочем, он не обменялся ни словом за всю дорогу от дома, кто был этот человек и к чему эта лошадь.

Морис отправился по улице Фоссэ-сэн-Виктор и вышел на набережную.

«Странное дело, — рассуждал он, — рассудок ли мой слабеет или события принимают важный оборот, но только все кажется мне преувеличенным, как будто я смотрю через микроскоп».

И, чтобы хоть несколько успокоиться, Морис подставил лицо под свежий вечерний ветерок и облокотился на перила моста.

XXIX. ПАТРУЛЬ

Покуда Морис стоял на мосту, доканчивая свои размышления, и с грустным видом смотрел на протекающую воду, слышались ровные шаги нескольких человек, как будто походка патруля.

Морис обернулся: точно, это был патруль из национальных гвардейцев, шедший с другого конца моста, и Морису показалось в темноте, что их ведет Лорен.

Действительно, это был он:

”Теперь же, мой друг, нашел я тебя,

И счастье уж не оставит меня.”

— Наконец-то я вижу тебя! — закричал он, подходя к Морису с распростертыми объятиями. — Надеюсь, на этот раз ты не будешь жалеть, что угощаю тебя Расином вместо того, чтоб предлагать Лорена.

— Что ты ходишь тут с патрулем? — беспокоило спросил Морис.

— Сегодня, мой друг, я начальник экспедиции. Надо, видишь ли, восстановить нашу покачнувшуюся репутацию на первобытном фундаменте.

И, обернувшись к патрулю, сказал:

— Ружья вольно! Теперь еще не глухая ночь. Можете, друзья мои, толковать о своих делишках, а мы поболтаем о своих.

И Лорен опять подошел к Морису.

— Сегодня я узнал две важные новости, — продолжал Лорен.

- Какие именно?
- Во-первых: нас, то есть тебя и меня, начинают подозревать.
- Знаю. Далее.
- А-а, ты знаешь?
- Да.
- Во-вторых: зачинщиком всего гвоздичного заговора был кавалер Мезон Руж.
- И это знаю.
- Но не знаешь, что заговор красной гвоздики и заговор подземелья — одно и то же?
- И это знаю.
- В таком случае перейдем к третьей новости... Уж этой, наверное, ты не знаешь... Сегодня вечером мы захватили кавалера Мезон Ружа.
- Схватили кавалера Мезон Ружа?
- Да.
- Значит, ты поступил в жандармы?
- Нет, но я патриот; каждый патриот должен служить отечеству, а так как этот кавалер Мезон Рууж своими заговорами произвел гнусные покушения в моем отечестве, то отечество и приказывает мне, патриоту, избавить его от вышеозначенного кавалера Мезон Ружа, который жестоко ему досаждал, и я повинуюсь отечеству.
- Все равно, — сказал Морис, — странно, что ты взялся за подобное поручение.
- Я не брался, на меня его возложили. Впрочем, скажу откровенно, я бы сам стал добиваться этого поручения. Нам необходимо подняться в глазах общественности каким-нибудь блистательным подвигом, потому что от этого восстановления репутации зависит не только наша безопасность, но оно даст нам еще и право при первом удобном случае распороть брюхо гнусному Симону.
- Но как же узнали, что зачинщиком подземного заговора был кавалер Мезон Руж?
- Этого покуда не знают наверное, но только подозревают.
- А! Вы заключаете по догадкам.
- Заключаем по верным следам.
- Любопытно узнать, потому что, наконец...
- Слушай же хорошенько.
- Слушаю.
- Только услышал я крик: «Большой заговор, открытый гражданином Симоном...» (везде суется мерзавец!..), как тотчас же захотел удостовериться в истине собственными глазами. Говорили о подземелье...
- Существует ли оно?
- Существует, я видел своими глазами.
- Итак, говоришь, ты видел...
- Подземелье... Повторяю, что я видел подземелье, ходил по нему; оно сообщается из погреба гражданки Плюмо с одним домом на улице Кордери... точно не помню, какой номер, двенадцатый или четырнадцатый.
- И в самом деле ты ходил в этом подземелье?
- Прошел во всю длину и уверяю тебя — славная труба; притом она

была загорожена тремя железными решетками, которые надо было откапывать одну за другой и которые в случае, если бы заговорщикам удалось, дали бы им время, пожертвовав тремя или четырьмя сообщниками, увести вдову Капет в безопасное место. По счастью, попытка не удалась, и опять-таки открыл эту штуку мерзавец Симон.

— Я думаю, прежде всего надо было забрать жильцов в доме на улице Кордери, — заметил Морис.

— Что, наверное, и сделали бы, если бы дом этот не был пуст.

— Но ведь он принадлежал же кому-нибудь?

— Да, новому хозяину, которого никто не знал. Знали только, что дом этот продан две или три недели тому назад — вот и все. Соседи слышали по временам шум, но так как дом был старый, то и думали, что в нем производится ремонт. Что касается прежнего хозяина, то он уехал из Парижа. Вот при таких обстоятельствах я и пришел в подземелье.

«Да, признаюсь, положение ваше затруднительно», — сказал я Сантеру, отведя его в сторону.

«Совершенно верно», — отвечал он.

«Дом этот продан, не так ли?»

«Да».

«Недели две тому назад?»

«Две или три».

«И купчая совершена у нотариуса?»

«Да».

«В таком случае разошлите ко всем парижским нотариусам узнать, у которого из них продан дом, и потребуйте купчую. Там вы увидите имя и место жительства покупателя».

«Вот и прекрасно! Вот это совет, — сказал Сантер. — И такого человека еще обвиняют в недостатке патриотизме! Нет, Лорен, я восстановлю тебя в мнении патриотов, или мне сейчас провалиться».

— Словом, — продолжал Лорен, — сказано — сделано. Нашли нотариуса, отыскали акт, а на акте прочли имя и адрес виновного. Тогда Сантер сдержал свое обещание и поручил мне арестовать его.

— И человек этот был кавалер Мезон Руж?

— Нет, его сообщник... то есть следует так предполагать.

— Так за что же вы арестуете Мезон Ружа?

— Мы арестуем всех вместе.

— Но прежде всего, знаешь ли ты кавалера Мезон Ружа?

— Как нельзя лучше.

— И знаешь его приметы?

— Еще бы! Сантер все рассказал: ростом пять футов и два или три дюйма, белокурый, с голубыми глазами, нос прямой, борода русая; притом я сам его видел.

— Когда?

— Не далее как сегодня.

— Видел?

— Да и ты видел.

Морис вздрогнул.

— Тот самый человек, который, помнишь, спас нас обоих и еще так бойко поколотил марсельцев.

— Так это был он? — спросил Морис.

— Он самый. Его преследовали и потеряли из виду около дома нового владельца на улице Кордери, так что полагают, что они живут вместе.

— В самом деле, очень вероятно.

— Даже полностью.

— Но, кажется мне, Лорен, — прибавил Морис, — если сегодня вечером ты арестуешь того, кто спас нас нынче утром, не будет ли это неблагодарностью?

— Что за вздор! — сказал Лорен. — Разве ты думаешь, что они спасли нас, желая спасти?

— Так для чего же?

— Они забрались в этот дом, чтобы похитить бедную Элоизу Тизон, когда ее повезут. Наши головорезы помешали им — и они кинулись на головорезов. Мы спасены просто случайно, а так как все дело в намерении, а тут не было никакого намерения, то и мне незачем упрекать себя ни в малейшей неблагодарности. Притом же, Морис, самое главное — необходимость, а нам необходимо отличиться блестящим подвигом, а вдобавок я отвечал за тебя.

— Кому?

— Сантеру; он знает, что ты командуешь экспедицией.

— Как так?

«Уверен ли ты, что арестуешь виновных?» — спросил меня Сантер.

«Да, — отвечал я, — если будет со мной Морис».

«Да уверен ли ты в Морисе? С некоторого времени он что-то остывает».

«Кто говорит это — ошибается. Морис так же горяч, как и я».

«Ручаешься?»

«Как за себя». Потом я пошел к тебе, но, не застав дома, отправился по этой дороге, во-первых, потому, что и мне тут было по пути, а во-вторых, я знал, что это твоя всегдашняя дорога, — и вот наконец мы встретились.

— Очень жаль, любезный Лорен, но у меня нет ни малейшей охоты идти в эту экспедицию. Скажи, что ты не встретил меня.

— Невозможно! Нас видели.

— Ну так скажи, что ты меня встретил, и я не захотел быть заодно с вами.

— Опять-таки невозможно!

— Отчего?

— Оттого, что тогда ты станешь не остывшим, а подозрительным... А тебе известно, как разделяются с подозрительными... Ведут их на площадь... и...

— Будь что будет, Лорен; но тебе покажется, без сомнения, странным, что я хочу сказать...

Лорен выпучил глаза и посмотрел на Мориса.

— Знаешь, — продолжал Морис, — мне опротивела жизнь.

Лорен расхохотался.

— То есть мы рассорились с возлюбленной и впали в меланхолию. Вздор, прекрасный Амадис! Будем мужчинами, а потом сделаемся гражданами... Что касается моей персоны, я делаюсь отличным патриотом именно в то время,

когда бываю не в ладу с Артемизой! Кстати, она посылает тебе миллион приветствий.

— Поблагодари от меня. Прощай, Лорен.

— Как «прощай»?

— Да, я ухожу.

— Куда это?

— Домой.

— Морис, ты губишь себя!

— Так что ж?

— Одумайся, Морис, одумайся, мой друг!

— Я уж все обдумал.

— Постой, я еще не все рассказал...

— Не все? Чего недостает?

— А что сказал мне Сантер.

— Что же он сказал?

— Когда я просил назначить тебя начальником экспедиции, он сказал мне: «Берегись!»

«Кого?» — спросил я.

«Мориса».

— Меня?

— Да. «Морис, — прибавил он, — часто похаживает в тот квартал».

— В какой квартал?

— А где живет Мезон Руж.

— Как! — вскричал Морис. — Так вот где он скрывается!

— Так, по крайней мере, думают, потому что здесь живет его возможный сообщник, купивший дом на улице Кордери.

— В предместье Виктор? — спросил Морис.

— Да, в предместье Виктор.

— А на какой улице предместья?

— На старой улице Сен-Жак.

— Боже мой! — проговорил Морис как ослепленный молнией.

Он закрыл глаза рукой и через секунду, как будто собравшись с духом, спросил:

— А к какому принадлежит он сословию?

— Кожевник.

— По фамилии?..

— Диксмер.

— Правда твоя, Лорен, — сказал Морис, скрыв силой воли даже внешнее волнение. — Иду с тобой.

— И прекрасно сделаешь. Есть при тебе оружие?

— Сабля, по обыкновению.

— Возьми еще пару пистолетов.

— А ты?

— У меня есть карабин. Ружья на плечо! Марш!..

И патруль двинулся, сопровождаемый Морисом, который шел рядом с Лореном, и предшествуемый человеком в серой одежде — полицейским.

По временам от углов улицы или от домовых дверей отделялись тени и

обменивались несколькими словами с человеком в серой одежде: это были караульные.

Дошли до переулка. Серый человек, не колеблясь ни секунды, повернул в него и остановился перед садовой калиткой, в которую втолкнули Мориса.

— Здесь, — сказал серый человек.

— Что здесь? — спросил Морис.

— Здесь мы найдем обоих зачинщиков.

Морис прислонился к стене, чтобы не упасть.

— Теперь, — продолжал серый человек, — тут есть три хода: главный, которым пойду я, этот и еще другой, который ведет в павильон. Я войду с шестью или восемью людьми в главную дверь; вы охраняйте вот эту дверь, приготовьте человека четыре или пять, да пускай трое самых надежных стоят у выхода из павильона.

— Я перелезу через стену, — сказал Морис, — и буду стеречь в саду.

— Прекрасно, — сказал Лорен, — ты отопрешь нам дверь.

— С удовольствием; но только не освобождайте прохода и явитесь, когда я вас кликну. Все, что будет делаться внутри, я увижу из сада.

— А тебе знаком этот дом? — спросил Лорен.

— Бывал когда-то; собирался купить.

Лорен откомандировал трех человек в закоулки плетня, в нишу двери, а полицейский сыщик ушел с десятком национальных стражей брать силой, как он говорил, главный вход.

Через минуту шум их шагов затих, не возбуждив в этом захолустье ни малейшего подозрения.

Люди Мориса стояли на своих местах и прятались как только могли. Казалось, все было спокойно и не происходило ничего особенного на старой улице Сен-Жак.

Морис закинул одну ногу через стену.

— Постой, — сказал ему Лорен.

— Что тебе?

— А пароль.

— И то дело.

— «Гвоздика и подземелье». Задерживай всех, кто не скажет тебе этих двух слов. Пропускай всех, кто скажет. Помни же!

— Благодарю! — сказал Морис и соскочил со стены в сад.

XXX. «ГВОЗДИКА И ПОДЗЕМЕЛЬЕ»

Первый шаг был ужасен; и Морису много надо было самообладания, чтобы скрыть от Лорена тревогу, которая охватила все его существо; но, очутившись в саду, один-одинешенек, среди ночного безмолвия, он стал спокойнее, и мысли его, вместо того чтобы беспорядочно копошиться в мозгу, ясно предстали его уму и могли быть проверены рассудком.

Как! Этот дом, который так часто посещал Морис с чистейшим удовольствием; этот дом, который он считал земным раем, был вертелом кровавых интриг! Ласковый прием и пламенная дружба были только притворством, а любовь Женевьевы была только страхом!..

Читатели наши уже знают расположение сада. Морис пробирался из кущи в кущу до тех пор, пока не скрыла его от лунного света своей тенью теплица, куда он был заперт, когда впервые забрел в этот дом.

Теплица находилась напротив павильона, в котором жила Женестьева.

Но в этот вечер вместо того, чтобы неподвижно озарять комнату молодой женщины, свет переходил от окна к окну. Сквозь полуприподнятую штору Морис заметил Женестьеву. Она поспешно складывала в чемодан пожитки, и он с изумлением увидел в ее руках оружие.

Морис привстал на тумбу, чтобы лучше видеть, что делается в комнате. Сильный огонь в камине привлек его внимание: Женестьева жгла бумаги.

В это время дверь открылась и в комнату вошел молодой человек.

Первой мыслью Мориса было, что это Диксмер.

Молодая женщина подбежала к вошедшему, схватила его за руки, и с секунду они смотрели друг другу в глаза, по-видимому, в сильном волнении. Отчего происходило оно — Морис не знал, потому что ни один звук не доходил до его ушей.

Но вдруг Морис смерил глазами рост вошедшего.

«Нет, это не Диксмер», — подумал он.

В самом деле, говоривший был худенький и маленького роста, между тем как Диксмер был высокий и плотный.

Ревность — сильная пружина; в одно мгновение Морис смерил глазами рост и талию незнакомца и внимательно рассмотрел его силуэт.

— Нет, это не Диксмер, — пробормотал он, как будто должен был повторить себе свои мысли, чтобы убедиться в коварстве Женестьевы.

Он приблизился к окну, но чем больше приближался, тем меньше видел: голова его горела.

Морис наступил на лестницу. Окно было футах в семи или восьми от земли. Он взял лестницу, приставил к стене, поднялся и приложил глаза к щели занавески.

Незнакомец, находившийся в комнате Женестьевы, был молодой человек лет двадцати семи или двадцати восьми, стройный, с голубыми глазами. Он держал молодую женщину за руку, утирая слезы, которые затемняли глаза Женестьевы.

Слабый шум, произведенный Морисом, заставил молодого человека обернуться к окну.

Морис удержался от крика: он узнал в незнакомце таинственного избавителя, который спас его на площади Шатле.

В это мгновение Женестьева выдернула руки из рук незнакомца и подошла к камину, посмотреть, все ли бумаги сгорели.

Тут Морис не мог долее выдержать; все ужасные страсти, терзающие человека — любовь, мщение, ревность, — сжали его сердце огненными когтями. Он воспользовался временем, сильно толкнул дурно притворенное окно и вскочил в комнату.

В ту же секунду два пистолета уперлись в его грудь.

Женестьева обернулась, услышав шум, и остолбенела, когда увидела Мориса.

— Милостивый государь, — сказал хладнокровно молодой республика-

нец человеку, державшему две смерти в жерле оружия, — милостивый государь, не вы ли кавалер Мезон Руж?

— А если б и я? — отвечал кавалер.

— О, если так, то вы человек смелый и, следовательно, спокойный, и я прошу позволения сказать вам два слова.

— Говорите, — отвечал кавалер, не отводя пистолетов.

— Вы можете убить меня, но не убьете прежде, чем я успею закричать, или, вернее, я не умру без того, чтобы не закричать. Если же я издам возглас, тысяча человек, оцепляющих этот дом, обратят его в пепел... Так опустите ваши пистолеты и выслушайте, что я скажу госпоже Диксмер.

— Женестье? — спросил кавалер.

— Мне? — чуть внятно проговорила молодая женщина.

— Да, вам.

Женестьева, бледная, как статуя, схватила Мориса за руку; молодой человек оттолкнул ее.

— Помните, что вы говорили мне? — сказал Морис с глубоким презрением, — Теперь я вижу, что вы говорили правду. Действительно, вы не любите Морана.

— Морис, выслушайте! — вскричала Женестьева.

— Мне нечего слушать, сударыня, — сказал Морис. — Вы обманули меня, одним ударом разбили цели, которые приковывали мое сердце к вашему. Вы сказали, что не любите Морана, но не сказали, что любите другого.

— Что изволите вы говорить о Моране или, вернее, о каком Моране вы изволите говорить? — спросил кавалер.

— О химике Моране.

— Моран-химик стоит перед вами; химик Моран и кавалер Мезон Руж одно и то же лицо.

И, протянув руку к стоявшему рядом столу, он в одну секунду надел черный парик, под которым так долго не узнавал его молодой республиканец.

— Да, да! — сказал Морис с еще большим пренебрежением. — Да, теперь я понимаю: вы любили не Морана, потому что его не существовало, а любили подлог, который хотя был ловчее, но тем не менее был достойнее презрения.

Кавалер сделал угрожающее движение.

— Милостивый государь, — продолжал Морис, — позвольте мне поговорить с госпожой Диксмер. Если угодно, вы даже можете присутствовать при нашем разговоре, он будет непродолжителен, отвечаю за это...

Женестьева сделала знак Мезон Ружу, чтоб он был терпеливее.

— Итак, — продолжал Морис, — итак, вы, Женестьева, сделали меня посмешищем моих друзей! Заставили меня служить слепым орудием ваших замыслов! Извлекли из меня пользу, как из инструмента! Послушайте, это гнусный поступок... но вы будете наказаны за него, сударыня, потому что человек, который стоит здесь, убьет меня на ваших глазах!.. Но не пройдет и пяти минут, как и он также упадет у ваших ног или же если останется в живых, то снесет свою голову на эшафот.

— Он, — вскричала Женестьева, — он снесет голову на эшафот! Но вы не знаете, Морис, что это мой защитник, защитник моего семейства; что я

отдам свою жизнь за его жизнь, что умри он — умру и я и что если вас люблю, то перед ним благоговеею...

— Пожалуй, вы еще станете уверять меня в любви... О, как слабы и низки женщины! Итак, милостивый государь, — сказал он молодому роялисту, — вы должны убить меня.

— Почему?

— Потому что, если вы не убьете меня, я вас арестую.

Морис протянул руку, чтобы схватить его за воротник.

— Я не стану оспаривать у вас своей жизни, — сказал Мезон Руж. —

Видите?

И он бросил оружие в кресло.

— Отчего же вы не станете оспаривать вашей жизни?

— Потому что моя жизнь не стоит угрызений совести, которым подвергнусь я, убив прекрасного человека, и главное, потому, что Женевьева любит вас.

— О, как вы добры, великодушны, благородны, Арман! — вскричала молодая женщина, заламывая руки.

Морис смотрел на обоих с глупым удивлением.

— Послушайте, — сказал кавалер, — я уйду в свою комнату; даю честное слово, не за тем чтобы бежать, но чтобы спрятать портрет.

Морис быстро взглянул на портрет Женевьевы: он висел на своем месте.

Угадал ли Мезон Руж мысль Мориса или хотел довести его великодушие до крайней точки, но только сказал:

— Я знаю, что вы республиканец, но знаю также, что у вас чистое и благородное сердце. Я доверяюсь вам, насколько это возможно.

И он снял с груди миниатюру и показал Морису: это был портрет королевы.

Морис пожал плечами и потер лоб рукой.

— Жду ваших приказаний, милостивый государь, — сказал Мезон Руж. — Если вы непременно хотите арестовать меня, потрудитесь постучать в эту дверь, когда я должен буду явиться к вам. Я более не дорожу жизнью с той минуты, как эта жизнь не поддерживается надеждой спасти королеву.

Кавалер вышел, причем Морис ни одним жестом не удерживал его.

Едва только вышел он из комнаты, как Женевьева бросилась к ногам молодого человека.

— Простите, Морис, — говорила она, — простите за все зло, которое причинила я вам! Простите мои обманы, простите ради моих страданий, ради слез, потому что, клянусь вам, я много страдала, много плакала... Муж мой уехал сегодня, я не знаю куда и, быть может, никогда не увижу его... Теперь остается у меня только один друг, брат... и вы хотите убить его! Простите, Морис, простите!

Морис поднял молодую женщину.

— Что делать, — сказал он, — бывают роковые обстоятельства! Теперь каждый ставит свою жизнь на карту; кавалер Мезон Руж играл подобно другим и проиграл; надо расплатиться.

— То есть как это понимать: умереть?

— Да.

— Умереть? И вы это говорите?

— Не я, Женестьева, но судьба.

— Судьба еще не досказала последнее слово в этом деле, потому что вы можете спасти его... да, вы!

— Изменяя моему слову и, следовательно, моей чести. Понимаю вас, Женестьева.

— Закройте глаза, Морис, вот все, чего я прошу у вас, и покажу вам, до чего может дойти женская благодарность.

— Напрасно закрывать их сударыня. Есть пароль, без которого никто не выйдет отсюда, потому что, повторяю вам, дом ваш оцеплен.

— А вы знаете его?

— Конечно.

— Морис!!

— Что прикажете?

— Друг мой, Морис!.. Скажите мне этот пароль...

— Женестьева! — вскричал Морис. — Женестьева! Что с вами сделалось, что вы решаетесь мне сказать: «Морис, во имя любви моей к тебе будь бесчестным человеком, измени своим убеждениям, отрекись от них!»! Что предлагаете вы мне, Женестьева, в обмен, вводя в такое искушение?

— Морис, — отвечала Женестьева, — прежде спасите его, а потом... требуйте хоть моей жизни.

— Выслушайте меня, Женестьева, — отвечал Морис глухим голосом. — Я стою одной ногой на дороге позора, чтобы стать на нее обеими ногами, я хочу, по крайней мере, иметь довод против самого себя... Женестьева, поклонитесь, что вы не любите кавалера Мезон Ружа...

— Я люблю кавалера Мезон Ружа как сестра, как подруга, но, клянусь вам, не иначе.

— Женестьева, любите ли вы меня?

— Морис, я люблю вас... бог свидетель!

— Если я исполню вашу просьбу, оставите ли вы своих родителей, друзей, родину, чтоб бежать с изменником?..

— Морис!.. Морис!..

— Не решается!.. Она не решается!..

И Морис отступил.

Женестьева, которая оперлась было на него, вдруг лишившись этой опоры, упала на колени.

— Морис, — говорила она, опрокинув назад голову и ломая сложенные руки, — клянусь, я исполню все, чего ты хочешь; прикажи — и я повинуюсь!

— Будешь ли ты моею, Женестьева?

— Когда бы ты ни потребовал.

— Поклянись над распятием.

Женестьева простерла руки.

— Господи! — сказала она. — Ты простил блудницу — простишь и меня!

И крупные слезы покатались по ее щекам и упали на длинные волосы, рассыпавшиеся по груди.

— О, не так! Не клянитесь так! — сказал Морис. — Или я не приму вашей клятвы.

— Господи, — продолжала она, — клянусь посвятить мою жизнь Морису, умереть вместе с ним и, если надо, за него, если он спасет моего друга, защитника, брата кавалера Мезон Ружа!

— Вот это так, и он будет спасен, — сказал Морис.

И пошел в смежную комнату.

— Милостивый государь, — сказала ему Морис, — наденьте платье кожевника Морана. Отдаю назад ваше слово, вы — свободны.

— А вам, сударыня, — сказал он Женевьеве, — сообщаю пароль, два слова — «Гвоздика и подземелье». С ними вы пройдете.

И как будто страшась остаться в комнате, где он произнес эти слова, делавшие его изменником, он отпер окно и выскочил в сад.

XXXI. РОЗЫСКИ

Морис снова занял свой пост в саду против окна Женевьевы, но только в этом окне уже не было света. Женевьева ушла в комнату кавалера Мезон Ружа.

Давно уже было пора Морису оставить комнату. Едва дошел он до угла оранжереи, как садовая калитка открылась и явился серый человек в сопровождении Лорена и пяти или шести гренадеров.

— Ну что же? — спросил Лорен.

— Как видите, — отвечал Морис, — стою на месте.

— Никто не пробовал напасть на часовых? — спросил Лорен.

— Никто, — отвечал Морис, радуясь, что избежал лжи ответом на предложенный вопрос. — Никто... А вы что делаете?

— Мы?... Мы убедились, что кавалер Мезон Руж возвратился час тому назад домой и с тех пор не выходил, — отвечал полицейский.

— А вы знаете его комнату? — спросил Лорен.

— Как же! Она отделяется от комнаты гражданки Диксмер только коридором.

— Ага! — проговорил Лорен.

— Я полагаю, что тут можно бы обойтись без всяких переговоров. Кажется, кавалер Мезон Руж молодец хоть куда!

Кровь бросилась Морису в голову, он закрыл глаза, и под опущенными веками у него сверкали молнии.

— Гм!.. А что бы на это сказал гражданин Диксмер? — спросил Лорен.

— Что это для него большая честь.

— Об этом после, — сказал Морис задыхаясь. — На чем же мы решили?

— А решили захватить его в комнате, пожалуй, даже в постели, — отвечал полицейский.

— Разве он ничего не знает?

— Ни-ни.

— А как расположен этот дом? — спросил Лорен.

— У нас есть самый верный план, — отвечал серый мундир. — В углу сада беседка... вот она; четыре ступеньки — к вашим услугам; площадка; направо дверь в покой гражданки Диксмер... вероятно, это ее окошко. Против

окна в глубине комнаты дверь в коридор, и в тот же коридор выходит дверь из комнаты изменника.

— Однако же славная топография, — заметил Лорен. — С таким планом можно идти, зажмурившись, а не только с открытыми глазами. Итак, идем, друзья мои!

— Хорошо ли стерегут на улицах? — спросил Морис с любопытством, которое присутствующие естественно приписали страху, чтобы кавалер не убежал.

— Улицы, проходы, перекрестки — все в наших руках, — отвечал серый мундир. Не пройдет и мышь, если не знает пароля.

Морис вздрогнул. Такие предосторожности заставляли его опасаться, что измена не поможет его счастью.

— Теперь назначьте сколько надо вам человек, чтобы арестовать кавалера, — сказал серый мундир.

— Сколько человек? — повторил Лорен. — Да я думаю, что Мориса и меня будет очень достаточно... Не правда ли, Морис?

— Полагаю, — пробормотал тот.

— Послушайте, — сказал полицейский. — Тут шутить нечего; уверены ли вы, что захватите его?

— Черт побери, уверены ли!.. Нечего и спрашивать! — вскричал Лорен. — Так ли, Морис? Ведь его надо схватить?

Лорен сделал ударение на последнем слове. Как он уже сказал, их начинали подозревать, а так как подозрения в то время развивались очень быстро, то и надо было не давать им установиться. Лорен понимал, что никто не посмел бы сомневаться в патриотизме двух человек, которые бы успели поймать кавалера Мезон Ружа.

— Ну, если вы так порешили, — сказал полицейский, — возьмите лучше трех человек, нежели двух, и лучше четырех, нежели троих; кавалер спит со шпагой под подушкой и парой пистолетов на столике.

— Нет, пойдем уж все разом, чтобы никому не отдавать предпочтения, — сказал один из гренадеров Лорена. — Если он сдастся, мы прибережем его для гильотины, а будет противиться — изрубим в куски.

— Славно сказано, — заметил Лорен. — Вперед!.. А как войти нам — в дверь или в окно?

— Разумеется, в дверь, — отвечал полицейский. — Может статься, в ней нечаянно оставлен ключ; а чтобы войти в окно, надо перебить стекла, это наделает шуму.

— Ладно, идем в дверь, — сказал Лорен. — Как ни войти, лишь бы войти. Морис, бери саблю!

Морис машинально вытащил саблю из ножен.

Отряд отправился к павильону, и, как сказал серый мундир, сначала увидели ступеньки крыльца, потом очутились на площадке, потом в прихожей.

— А! — весело вскричал Лорен. — Ключ-то остался в дверях!

Действительно, он впротымах протянул руку и нащупал пальцами в замочной скважине холодное железо ключа.

— Отворяй, гражданин ворушик, — сказал серый мундир.

Лорен осторожно повернул ключ в замке, дверь отворилась.

Морис отер со лба холодный пот.

— Милости просим, — сказал Лорен.

— Позвольте, — заметил серый мундир, — если топографические указания верны, то мы находимся в комнате гражданки Диксмер.

— Можно удостовериться, — сказал Лорен. — Зажжем свечи; в камине еще есть огонь.

— Зажжем лучше факелы, — заметил серый мундир. — Факелы не гаснут так скоро, как свечи.

И он взял из рук гренадера два факела, зажег на угасающем огне и сунул один в руку Мориса, другой в руку Лорена.

— Вот видите, я не ошибся. Направо дверь в спальню гражданки Диксмер, а вот дверь в коридор.

— Морис, в коридор! — сказал Лорен.

Потом отворили дверь, ведущую в коридор, которая была так же не заперта, как и первая, и очутились перед дверью комнаты кавалера. Морис двадцать раз видел эту дверь и никогда не спрашивал, куда ведет она: для него мир сосредоточивался в комнате Женеьевы.

— Ого, — сказал Лорен тихим голосом. — Здесь дело другое; дверь заперта и ключа нет.

— Но уверены ли вы, что именно эта его дверь? — спросил Морис, едва будучи в состоянии говорить.

— Если только план верен, то должна быть здесь, — отвечал полицейский. — Да вот посмотрим. Гренадеры, ломай дверь, а вы, граждане, будьте готовы, как только дверь выломают, тотчас бросайтесь в комнаты.

Четыре человека, отобранные полицейским сыщиком, подняли приклады ружей и по знаку руководителя экспедиции дружно ударили в дверь; она разлетелась вдребезги.

— Сдавайся, или тебе смерть! — закричал Лорен, бросаясь в комнату.

Ответа не было; занавески около постели были задернуты.

— Смотри за улицей! — сказал полицейский. — Целься и, чуть шевельнется занавеска, — стреляй!

— Постойте, — сказал Морис. — Дайте мне взглянуть за занавески.

И в надежде, что кавалер Мезон Руж спрятался за занавесками и первый удар кинжала или пистолета нанесет ему, Морис бросился к занавеске, и она скользнула с продолжительным писком по железному пруту.

Постель была пуста.

— Черт побери! Никого! — крикнул Лорен.

— Неужели улизнал? — пробормотал Морис.

— Быть не может, граждане, не может быть! — закричал серый мундир. — Говорю вам, что он с час тому вернулся домой и с тех пор не выходил. Все выходы охраняются.

Лорен обшарил шкафы, шарил повсюду, даже там, где не было физической возможности спрятаться человеку.

— Никого! Видите, однако же, нет никого!

— Никого! — повторил Морис с весьма понятным волнением. — Вы видите, что никого нет!

— А может быть, он в комнате гражданки Диксмер? — сказал полицейский.

— О, пощадите комнату женщины! — сказал Морис.

— Непременно, — отвечал Лорен. — Пощадим и комнату, и гражданку Диксмер тоже; но только надо все-таки осмотреть.

— Гражданку Диксмер? — спросил один из гренадер, довольный своей глупой остротой.

— Нет, — отвечал Лорен, — только комнату.

— В таком случае, — сказал Морис, — дайте мне войти первому.

— Проходи, ты капитан — по чину и честь, — отвечал Лорен.

Двух человек оставили стеречь комнату, из которой вышли, и потом возвратились в комнату, где зажигали факелы.

Морис подошел к двери, которая вела в спальню Женеьевы.

В первый раз он входил в эту комнату.

Сердце его билось.

Ключ был в замке.

Морис положил руку на ключ, но не решался.

— Что же, отворяй! — сказал Лорен.

— А если гражданка Диксмер спит? — спросил Морис.

— Мы посмотрим у нее в постели, под постелью, в камине, в шкафах, а затем, если ничего не найдем, пожелаем ей спокойной ночи.

— Нет, уж извините, — заметил полицейский, — мы ее арестуем. Гражданка Диксмер аристократка, сообщница девицы Тизон и кавалера Мезон Ружа.

— Так отворяйте сами, — сказал Морис, — я не арестовываю женщин.

Полицейский искоса взглянул на Мориса. Гренадеры зашептались.

— О, вы шепчетесь, — сказал Лорен, — так шепчитесь про нас обоих, потому что я разделяю мнение Мориса.

И он отступил на шаг.

Серый мундир схватил ключ, быстро повернул в замке, дверь уступила, и солдаты бросились в комнату.

На маленьком столике горело две свечи, но в комнате Женеьевы, как и в комнате кавалера Мезон Ружа, не было ни души.

— Пусто! — закричал полицейский.

— Пусто? — побледнев, повторил Морис. — Где же она?

Лорен с удивлением посмотрел на Мориса.

— Поищем, — сказал полицейский.

И, сопровождаемый полицейскими, он начал обшаривать дом от погребов до мастерских.

Едва только отвернулись они, как Морис, нетерпеливо следивший за ними, бросился в комнату, отворяя шкафы, которые уже были отворены, и взывая встревоженным голосом: «Женеьева! Женеьева!»

Но Женеьева не отвечала, комната была пуста.

Тогда Морис с каким-то бешенством принялся шарить в доме — осмотрел все: оранжереи, сараи, чуланы, но напрасно.

Вдруг послышался шум; у дверей показалась толпа вооруженных людей, обменялась паролем с часовыми и разбрелась по саду и по дому. Во главе этого подкрепления блестел закоптелый султан Сантера.

— Ну, что же, — обратился он к Лорену, — где же заговорщик?

— Как где заговорщик?

— Спрашиваю у вас: что вы с ним сделали?

— Я то же самое спрошу у вас. Если ваш отряд хорошо охранял выходы, то должен был арестовать его, потому что кавалера уже не было в доме, когда мы вошли сюда.

— Что вы говорите! — вскричал взбешенный генерал. — Так вы дали ему убежать?

— Мы не могли дать ему убежать, потому что не поймали его.

— В таком случае, я ровно ничего не понимаю, — сказал Сантер.

— Чего вы не понимаете?

— Того, что вы передали мне с посланным.

— Мы?.. Посылали к вам?.. Когда это?

— Разумеется. Человек в коричневом фраке, черноволосый, в зеленых очках пришел уведомить нас с вашей стороны, что вы были на волосок от того, чтобы схватить кавалера Мезон Ружа, но что он защищался, как лев. Вот почему я поспешил сюда.

— Человек... в коричневом фраке.. черноволосый... в зеленых очках? — повторял Лорен.

— Конечно, да еще под руку с женщиной.

— Молодая она, хорошенькая? — закричал Морис, подбежав к генералу.

— Да, молодая, хорошенькая.

— Это он самый... и с гражданкой Диксмер!..

— Кто он самый?

— Мезон Руж.. Зачем я, мерзавец, не убил их обоих!..

— Успокойтесь, гражданин Лендэ, — сказал Сантер, — их поймают.

— Как же, черт возьми, вы пропустили их? — спросил Лорен.

— Очень просто, — отвечал Сантер, — они знали пароль.

— Пароль! — вскричал Лорен. — Значит, между нами был изменник?

— Нисколько, гражданин Лорен, — отвечал Сантер. — Вы люди испытанные, и между вами не может быть изменников.

Лорен посмотрел вокруг себя, как будто ища изменника, о присутствии которого он объявил так решительно, и увидел нахмуренный лоб и сверкавшие глаза Мориса.

— О-го, — прошептал Лорен, — чтобы это значило?..

— Человек этот, вероятно, недалеко отсюда, — сказал Сантер. — Пойщем хорошенько в окрестностях. Может быть, он натолкнулся на патруль, который был половчее нас и не поддался обману.

— Да, да, поищем, — сказал Лорен, схватив Мориса за руку, и под предлогом, что идет на поиски, потащил его в сад.

— Да, будем искать! — сказали солдаты. — А наперед не мешает...

И один из них бросил факел в сарай, набитый хворостом и сухими досками.

— Иди же, — говорил Лорен. — Иди!

Морис не прекословил, пошел, как ребенок, за Лореном. Потом они, не обменявшись ни словом, добежали до моста и там остановились; Морис обернулся.

Небо побагровело на горизонте предместья, и из-за домов поднимались облаком бесчисленные искры.

XXXII. КЛЯТВА

Морис задрожал и протянул руку по направлению к улице Сен-Жак.

— Пожар! — сказал он. — Пожар!

— Ну, так что же, пожар... Далее? — произнес Лорен.

— Боже мой! Боже мой! Если б она вернулась!

— Кто же она?

— Женевьева.

— Женевьева, то есть мадам Диксмер, не правда ли?

— Да, она.

— Не беспокойся, не затем она ушла, чтобы вернуться.

— Лорен, мне необходимо отыскать ее, необходимо отомстить.

— Ого! — заметил Лорен.

— Ведь ты сможешь мне отыскать ее? Не правда ли?

— Разумеется, дело нетрудное.

— Почему?

— Если, насколько мне известно, тебя так интересует судьба гражданки Диксмер, то ты должен знать ее, а зная ее, узнать и ближайших ее друзей. Она, по всей вероятности, не оставила Париж — они все помешались на Париже — и скрылась у какой-нибудь искренней приятельницы, а завтра поутру — смотришь — к тебе придет записочка в этом роде:

Si Mars veut revoir Cytheree,

Qu'il emprunte a la Nuit son echarpe azurée.

И пусть означенный Марс явится к превратнику... в такую-то улицу, такой-то номер... и спросит мадам. Ясно?

Морис пожал плечами; он очень хорошо знал, что Женевьеве не у кого скрыться.

— Нет, нам не найти ее, — проговорил он.

— Позволь заметить тебе одну вещь, Морис, — сказал Лорен.

— Что именно?

— А то, что, может быть, не велика беда, если ты и не найдешь ее.

— Не найду, Лорен? — сказал Морис. — Да это убьет меня!

— Так, значит, от этой-то любви ты чуть не умер?

— Да, — отвечал Морис.

Лорен призадумался на минуту и потом сказал:

— Морис, теперь около одиннадцати часов: улицы пусты... Вот каменная скамейка, как будто нарочно поставленная для двоих друзей. Позволь поговорить с тобой наедине. Даю слово, что я буду говорить чистой прозой.

Морис посмотрел вокруг себя и сел на скамейку. Лорен тоже осмотрелся и сел возле своего друга.

— Говори, — сказал Морис, опуская отяжелевшую голову на ладонь.

— Послушай, друг мой: без всяких предисловий, перифраз и комментариев скажу тебе одно: мы гибнем, или, вернее, ты нас губишь.

— Каким образом?

— Есть, мой нежный друг, некая статья Комитета общественной безопасности, объявляющая изменником отечества каждого, кто находится в сношениях с врагами вышеозначенного отечества. Гм!. Знакома тебе эта статейка?

— Без сомнения.

— Знаешь ее?

— Да.

— Мне кажется, ты порядочно-таки изменил отечеству. Что скажешь на это? — спрашиваю словами Манля.

— Лорен!

— Да... если только ты не считаешь величайшими патриотами тех, кто дает жилье, стол и постель кавалеру Мезон Ружу, каковой, выражаюсь деловым слогом, вовсе не иступленный республиканец, по крайней мере на мой взгляд, и едва ли не принимал участие в сентябрьских событиях.

— Ах, Лорен! — вздохнув, произнес Морис.

— Вследствие всего этого, — продолжал моралист, — кажется мне, что ты немножко слишком дружен с врагами отечества... Пожалуйста, не горячись, любезный друг, и признайся лучше, что ты не из числа ревностных.

Лорен произнес эти слова так нежно, как только позволяла его натура, и проскользнул под своим замечанием с ловкостью, чисто цицероновскою.

Морис возразил ему только жестом.

Но жест этот был признан недостаточным, и Лорен продолжал:

— О, если б мы жили в оранжерейной температуре благородства, которая неизменно стоит на шестнадцати градусах, я сказал бы тебе: «Любезный Морис, это прекрасно, деликатно, так и приличествует порядочному человеку; будем немножко аристократами: это хорошо и отзывается приятным букетом» — но... мы жаримся теперь в температуре тридцати пяти или сорока градусов! В этой жаре поневоле кажешься льдиной; если же ты холоден — тебя подозревают: сам это знаешь, Морис, а если уж сделался подозрительным... тебе должно хватить мудрости, Морис, чтобы понять, чем ты вскоре будешь или, вернее, что вскоре будешь ничем...

— Ну, хорошо! Пускай убьют меня — и концы в воду! — вскричал Морис. — Ты знаешь, что мне надоела жизнь.

— Четверть часа назад, — перебил Лорен. — Значит, еще не слишком давно, чтобы я позволил тебе исполнить свою затею. Притом, если уж умирать в наше время, то надо умирать республиканцем; а ты умрешь аристократом.

— О-го-го! — вскричал Морис, у которого кровь начала кипеть от боли, происходящей от сознания своей вины. — О, да ты зашел, мой друг, слишком далеко!

— И пойду дальше; потому, что, предупреждаю тебя, если ты сделаешься аристократом...

— Ты донесешь?..

— Фи!.. Нет, я запрю тебя в погреб и пошлю искать тебя с барабанным боем, как потерянную редкость, а потом объявлю, что аристократы, зная, что ты говорил им, скрутили тебя, измучили, чуть не уморили голодом; так что, когда отыщут тебя, как судью Эли де Бомона, мосье Латюда и других, рыночные торговки и тряпичники квартала Виктуар публично увенчают тебя цветами.

— Лорен, я чувствую, что ты прав, но я увлекся и скольжу по скату. Неужели ты негодуешь на меня за то, что меня увлекает слепая судьба!

— Не негодую, а просто хочу поссориться с тобой. Вспомни ежедневные сцены между Орестом и Пиладом, торжественно доказывающие, что

дружба — чистейший парадокс, потому что эти образцовые друзья ругались с утра до вечера.

— Оставь меня, Лорен, сделаешь гораздо лучше.

— Никогда!

— В таком случае предоставь мне любить, быть безумцем сколько мне угодно, пожалуй, даже сделаться преступником, потому что я не ручаюсь за себя и в состоянии убить ее, когда опять увижу...

— Или упасть к ее ногам, — перебил Лорен. — Ах, Морис, Морис! Влюбиться в аристократку... Вот уж этого я никогда бы не подумал!

— Довольно, Лорен, умоляю тебя!

— Морис, я вылечу тебя, или черт меня побери! Не хочу, чтобы ты выиграл в лотерею гильотину, как выражаются наши лавочники... Берегись, Морис! Не выводи меня из терпения, не сделай из меня кровопийцу! Я чувствую непреодолимое желание поджечь остров Сен-Луи... Скорее факел, головешку!

Морис невольно улыбнулся.

— Кажется, мы условились говорить в прозе, — сказал он.

— Сам виноват, зачем своей глупостью доводишь меня до крайности, — сказал Лорен. — Послушай, Морис: будем пьяницами, будем делать предложения в собрании, изучать политическую экономию, но, умоляю Юпитером, любить только независимость.

— Или Разум.

— Ах, да; Богиня Разума кланяется тебе и находит, что ты очаровательный смертный.

— И ты не ревнуешь?

— Морис, чтобы спасти друга, я способен на самопожертвование.

— Спасибо, мой бедный Лорен, и я умею ценить твою преданность. Но лучшее средство утешить меня — дать мне насытиться моей горестью. Прощай, Лорен, сходи к Артемизе.

— А ты куда?

— Домой

И Морис сделал несколько шагов к мосту.

— Так ты живешь нынче на улице Сен-Жак?

— Нет, но мне хочется пройти по ней.

— Чтобы еще раз взглянуть на место, где жила твоя жестоко-сердная?

— Чтобы посмотреть, воротилась ли она. О, Женевьева, Женевьева! Не думал я, что ты способна на такую измену!

— Морис, один тиран, основательно изучивший прекрасный пол, потому что он и умер от излишней любви, сказал: «Женщина слишком часто меняется, и безумец тот, кто ей верит».

Морис глубоко вздохнул, и два друга пошли далее по направлению к старой улице Сен-Жак.

По мере того как они приближались, они яснее и яснее слышали шум, ярче и шире был свет, и раздавались патриотические песни, которые днем, при солнце, в атмосфере битвы, показались бы героическими гимнами, но теперь только при зареве пожара принимали мрачный оттенок кровавого опьянения.

— Боже мой, боже мой! — воскликнул Морис, забыв, что произносит эти слова в злосчастную эпоху атеизма.

И пот струился по его лицу, пока он шел.

Лорен смотрел на него, напевая сквозь зубы:

Когда любовь волнует нас,
Тогда благоразумье — пас!

Казалось, весь Париж бросился на театр описанных нами событий. Морис принужден был пробираться сквозь шеренгу гренадер, ряды полицейских, потом густые толпы яростной, никогда не дремлющей черни, которая в это время с воем металась от зрелища к зрелищу.

По мере того как приближались они к пожарищу, Морис более и более прибавлял шаг. Лорен насилу успевал за ним; однако же он слишком любил его, чтобы оставить одного в такую минуту.

Почти все было кончено; из сарая, куда солдат бросил горящую головню, огонь перекинулся на мастерские, сколоченные из досок так, что между ними оставались широкие щели для циркуляции воздуха; товар уже сгорел, и начал загораться дом.

«Боже мой, — подумал Морис, — что, если она возвратилась, если она где-нибудь в комнате, объятай пламенем, ждет меня, зовет на помощь?!»

И Морис, полуобезумев от горести, лучше соглашаясь, чтобы та, которую он любил, лишилась рассудка, нежели изменила, Морис, нагнувшись, просунул голову в дверь, наполненную дымом. Лорен не отставал от него; Лорен пошел бы за ним хоть в самый ад.

Крыша горела; пламя начало подбираться к лестнице.

Морис, задыхаясь, осмотрел залу, комнату Женевьевы, комнату кавалера Мезон Ружа, коридоры, взывая сдавленным голосом:

— Женевьева! Женевьева!

Но никто не откликнулся.

Возвратившись в первую комнату, два друга увидели волны пламени, врывающиеся в дверь. Несмотря на крики Лорена, указывавшего ему на окно, Морис прошел сквозь пламя.

Потом он побежал к дому, прошел, не останавливаясь, двор, усыпанный ломаной мебелью, заглянул в столовую, гостиную Диксмера, кабинет химика Морана: все это было наполнено дымом, осколками, битыми рамами; огонь пробрался в эту часть дома и начал все пожирать.

И здесь, как в павильоне, Морис не оставил без осмотра ни одной комнаты, ни одного коридора, спустился даже в погреб, думая, не спустилась ли туда Женевьева.

Ни души!

— Черт побери! — сказал Лорен. — Сам видишь, кому охота оставаться здесь, кроме разве саламандры. Но ведь ты ищешь, кажется, не этих мифических животных. Справился бы лучше у кого-нибудь из зрителей; может быть, и видели ее.

Надо было много усилий, чтобы вытащить Мориса из дома.

Начались исследования. Друзья обошли окрестности, останавливали всех встречавшихся женщин, осмотрели все аллеи: напрасно. Был второй час ночи. Несмотря на свою атлетическую силу, Морис измучился и отказался наконец от беготни взад-вперед и беспрестанных столкновений с толпой.

По улице проезжал фиакар; Лорен остановил его.

— Любезный друг, — сказал он Морису, — мы сделали все, что только возможно человеку, чтобы спасти Женевьеву: измучились, прокоптелились дымом, проголодались. Как бы ни был замечателен Купидон, он не вправе требовать большего от влюбленного, а тем более от невлюбленного; возьмем фиакар и отправимся по домам.

Морис молча повиновался, и экипаж остановился у его дверей после непродолжительной езды, во время которой друзья не обменялись ни словом.

В ту минуту, как Морис выходил из экипажа, окно его квартиры захлопнулось.

— А, это хорошо! Тебя ждали. Теперь я спокоен, — сказал Лорен. — Стучи крепче.

Морис стукнул; дверь отворилась.

— Прощай! — сказал Лорен. — Завтра утром не выходи со двора, подожди меня.

— Прощай, — машинально сказал Морис.

И дверь захлопнулась за ним.

На первых ступеньках лестницы его встретил слуга.

— Гражданин Лендэ, сколько вы наделали нам беспокойства!

Слово «нам» поразило Мориса.

— То есть тебе? — сказал он.

— Да, мне и даме, которая ждет вас.

— Даме? — повторил Морис, находя очень некстати свидание, вероятно, с какой-нибудь из старинных своих приятельниц. — Ты очень хорошо сделал, что предупредил меня. Я ночую у Лорена.

— Невозможно, гражданин. Она была у окна, видела, как вышли вы из экипажа, и закричала: «Вот он!»

— Какое мне дело, знает ли она меня или нет! Мое сердце отказалось от любви. Поди и скажи этой даме, что она ошиблась.

Слуга хотел было идти, но остановился.

— Ах, гражданин, — сказал он, — напрасно вы так делаете. Бедная дама и без того уж очень скучает, ответ ваш приведет ее в отчаяние.

— Да кто же, наконец, эта дама?

— Не видел в лицо; знаю только, что закрылась капюшоном и плачет.

— Плачет?

— Да, но потихоньку, старается заглушить свои рыдания.

— Плачет, — повторил Морис, — значит, еще есть хоть одно существо в мире, которое любит меня до такой степени, что ее тревожит мое отсутствие?

И Морис медленно пошел за слугой.

И тогда глазам его представилась у углу гостиной трепещущая фигура, которая зарылась лицом в подушки, — женщина, которую можно было бы почесть за мертвую, если бы не судорожный стон и сотрясение всего тела.

Морис сделал слуге знак, чтобы тот вышел.

Слуга повиновался и запер за собой дверь.

Морис пробежал к женщине. Она подняла голову.

— Женевьева! — вскричал молодой человек. — У меня Женевьева! Не помешался ли я?

— Нет, мой друг, вы в полном разуме, — отвечала молодая женщина. —

Я обещала принадлежать вам, если вы спасете кавалера Мезон Ружа. Вы спасли его — вот я! Я дожидалась вас.

Морис ошибся в смысле этих слов; он отступил на шаг и печально посмотрел на женщину:

— Женеьева, — сказал он кротко, — Женеьева!.. Значит, вы не любите меня.

Глаза Женеьевы наполнились слезами; она отвернулась и, опершись локтем на спинку дивана, громко зарыдала.

— Увы! — сказал Морис. — Вы не любите меня, и не только не любите меня, Женеьева, но еще ненавидите... Иначе вы не доводили бы меня до отчаяния.

В последних словах Мориса было столько иступления и горести, что Женеьева выпрямилась и взяла его за руку.

— Боже мой, — сказала она, — неужели тот, кого считаешь лучшим, всегда бывает эгоистом?

— Эгоистом, Женеьева? Как это понимать?

— Неужели же не понимаете вы, что я страдаю? Муж мой сбежал, брат мой в изгнании, дом мой пылает — все это свершилось в одну ночь, и потом... эта ужасная сцена между вами и кавалером!

Морис слушал с восхищением, потому что действительно самая безумная страсть не могла не допустить, чтобы такие ощущения, скопившись в сердце, не довели Женеьеву до теперешнего ее положения.

— Но вот вы пришли... вы у меня... вы не покинете меня...

Женеьева вздрогнула.

— Куда бы я пошла? — отвечала она с горечью. — Разве есть у меня убежище, приют, защитник, кроме того, который назначил цену своему покровительству?.. О, Морис!.. Как безумная шла я через Новый мост, переходя, не раз оснатовливалась и смотрела, как темная вода разбивалась об углы арок; это нравилось мне, чаровало меня... Вот, бедная женщина, говорила я себе: вот где твое убежище. Здесь невозмутимый покой! Здесь забвение!

— Женеьева! Женеьева! — вскричал Морис. — И вы говорите это! Значит, вы не любите меня.

— Да, я сказала это, — шепотом отвечала Женеьева, — сказала и пришла.

Морис перевел дух и упал перед нею на колени.

— Женеьева, — проговорил он, — не плачьте, Женеьева, утешьтесь после всех ваших страданий, потому что вы меня любите. Именем неба прошу вас, скажите, что вас привлекли сюда не мои угрозы. Скажите, что если бы даже вы не видели меня сегодня вечером, оставаясь одинокой, без пристанища, вы пришли бы сюда, и примите от меня теперь клятву — освободить вас от клятвы, к которой я принудил вас силой.

Женеьева взглянула на молодого человека с выражением неизъяснимой благодарности.

— Великодушный человек! — сказала она. — Боже, благодарю тебя за его великодушие!

— Послушайте, Женеьева, — сказала Морис, — бог, которого изгоняют из наших храмов, но не могут изгнать из сердец, куда он вложил лю-

бовь, — бог соделал нынешний вечер мрачным, но, в сущности, преисполнил его радости и счастья. Господь привел вас ко мне, Женестьева, отдал вас в мои руки, говорит вам моим дыханием. Господь хочет наконец наградить нас за перенесенные страдания, за достоинство, которое выказали мы в борьбе с этой любовью, казавшейся противозаконной, как будто чувство, бывшее столь долго чистым и глубоким, могло быть преступным. Итак, не плачьте, Женестьева, дайте мне руку. Хотите ли вы быть у брата, хотите ли вы, чтобы этот брат почтительно целовал подол вашего платья, удалился, скрестив руки, и преступил этот порог, даже не обернув головы... Скажите одно слово, сделайте знак — и он удалится, и вы останетесь одна, свободно и без страха. И, напротив того, Женестьева, хотите ли вы вспомнить, что я любил вас до такой степени, что едва не умер от этой любви; что для этой любви, которую вы можете сделать гибельной или счастливой, я изменил своим, сделался ненавистным и презренным в собственных глазах; хотите ли вы размыслить обо всем этом, чтобы будущность обещала нам счастье; подумать сколько силы, энергии таятся в нашей молодости и нашей любви, чтобы защищать это счастье против каждого, кто бы осмелился нападать на него. О, Женестьева! Скажи, хочешь ли ты, хочешь ли сделать человека счастливым, чтобы он не сожалел о жизни и не желал вечного блаженства? В таком случае, Женестьева, вместо того, чтобы отталкивать меня, улыбнись мне, приложи руку к моему сердцу; склонись к тому, кто любит тебя всеми силами души, всеми стремлениями, Женестьева... жизнь моя, Женестьева, не бери назад своей клятвы...

Сердце женщины разрывалось от этих слов; томление любви, усталость от прошлых страданий истощили ее силы, слезы не возвращались на ее глаза, и, однако же, рыдания еще поднимали пылающую грудь.

Морис видел, что у нее уже не было сил сопротивляться, и обнял ее. Она опустила голову на его плечо, и длинные волосы рассыпались по плечам молодого человека.

Грудь Женестьева еще не успокоилась, как волны после бури.

— О, ты плачешь, Женестьева, ты еще плачешь, — сказал он с глубокой печалью. — Успокойся! Или нет! Нет, я не буду навязывать свою любовь горести. Никогда мои губы не осквернятся поцелуем, который будет отравлять хоть одна слеза сожаления!

И он, расцепив живое кольцо своих рук, медленно отвернулся от Женестьева.

Но в то же время по реакции, столь естественной женщине, которая защищается и, защищаясь, горит желанием, Женестьева обхватила трепещущими руками шею Мориса, сильно сжала ее и прильнула щекой, еще влажной от слез, к пылающей щеке молодого человека.

— О, — проговорила она, — не покидай меня, Морис, потому что для меня во всем мире — только ты один!..

XXXIII. НА ДРУГОЙ ДЕНЬ

Яркое солнце, пробиваясь сквозь зеленые решетки ставен, золотило листья трех больших розовых кустов, стоявших в деревянных ящиках на окне Мориса.

Цветы тем более приятные для глаз, что лето было уже на исходе, наполняли ароматом маленькую столовую, чрезвычайно опрятную, за стол которой, накрытый без роскоши, но изящно, только что сели Женевьева и Морис.

Дверь была заперта, потому что на столе было все нужное. Собеседники, вполне естественно, хотели обслуживать себя сами.

В смежной комнате копошился усердный слуга. Теплота и жизнь последних прекрасных дней входили в комнату сквозь ставни, и листья роз, ласкаемые солнцем, блестели, как золото и изумруды.

Женевьева выронила из кончиков пальцев на тарелку золотистый плод, и, задумчивая, улыбаясь только губами, между тем как большие глаза ее были подернуты какой-то меланхолией, оставалась молчаливой, утомленной, хотя оживала от солнца любви, как эти прекрасные цветы оживали под небесным солнцем.

Вскоре глаза ее обратились на Мориса и встретились с его глазами: он также смотрел на нее и мечтал.

Потом она положила нежную и белую руку на плечо молодого человека, вздрогнувшего при этом движении, и доверчиво оперлась головой о его плечо.

Женевьева смотрела на Мориса, не говоря ни слова, и краснела, глядя на него.

Так сидели они, усыпленные счастьем, к которому еще не привыкли...

Пронзительный звук колокольчика вывел их из дремоты и заставил вздрогнуть.

Они отодвинулись друг от друга.

Слуга вошел в комнату и таинственно затворил дверь.

— Гражданин Лорен, — доложил он.

— А, это мой милый Лорен, — сказал Морис. — Я выпровожу его. Извините, Женевьева.

Женевьева остановила Мориса.

— Как, вы не хотите, Морис, принять вашего друга, друга, который утешал вас и поддерживал, помогал вам?.. Нет, я хочу, чтобы такого друга вы не изгоняли ни из вашего дома, ни из вашего сердца; пусть войдет он, Морис, пусть войдет.

— Как, вы позволяете?.. — спросил Морис.

— Я этого хочу, — сказала Женевьева.

— О, вы находите недостаточным, что я вас люблю, — вскричал Морис, восхищенный такой деликатностью, — вы хотите, чтобы я обожал вас!

Женевьева наклонила покрасневший лоб к молодому человеку. Морис отпер дверь, и вошел Лорен, красавец красавцем в своем полушегольском наряде. Увидев Женевьеву, он выказал удивление, за которым, однако же, тотчас последовал почтительный поклон.

— Подойди сюда, Лорен, подойди! — сказал Морис. — Видишь эту даму?.. Теперь ты свержен с престола моего сердца, Лорен; теперь есть существо, которое я предпочитаю тебе. Я отдал бы жизнь за тебя; за нее, Лорен, — ты уже знаешь, — за нее отдал я свою честь

— Я постараюсь, сударыня, — сказала Лорен с серьезным видом, который обнаруживал в нем глубокое волнение. — Я постараюсь больше, нежели вы, любить Мориса, чтобы он вовсе не перестал любить меня.

— Садитесь, милостивый государь, — улыбаясь, сказала Женевьева.

— Да, сядь, — сказал Морис, который, жвав правой рукой руку друга, а левой своей возлюбленной, был преисполнен счастья, какого только может желать человек на земле.

— Значит, ты уже не хочешь умирать, не хочешь, чтобы тебя убили?

— Что вы говорите? — спросила Женевьева.

— Боже мой! Какое же непостоянное существо человек! — сказал Лорен. — И как правы философы, которые презирают его за ветреность! Вот вам живой пример, сударыня. Поверите ли вы, что этот человек не далее как вчера вечером хотел броситься в огонь, в воду, уверял, что для него невозможно счастье в мире, а сегодня утром — весел, улыбается, ожил, блаженствует перед вкусным завтраком! Правда, он не ест, но это еще не доказывает, что он несчастлив.

— Как, и он хотел сделать все, что вы сказали? — спросила Женевьева.

— Решительно все и еще кое-что другое; расскажу после, а теперь ужасно проголодался... И опять-таки виноват Морис: заставил меня вчера вечером обегать весь квартал Сен-Жак... Позвольте же начать завтрак, до которого вы не дотрагивались ни одна, ни другой.

— И то правда! — вскричал Морис с детской веселостью. — Позавтракаем; я не ел, да и вы тоже, Женевьева.

При этом имени он взглянул на Лорена, но Лорен даже не повел бровью.

— О, да ты угадал, кто она? — спросил Морис.

— Еще бы, — отвечал Лорен, отрезая кусок розового окорока с белой каемкой.

— Я тоже голодна, — сказала Женевьева, подставляя тарелку.

— Лорен, — сказал Морис, — вчера я был болен.

— Больше нежели болен: просто сошел с ума.

— А сегодня утром, знаешь ли, мне кажется, что болен ты.

— Это почему?

— Да ты не сказал еще ни одного стиха.

— Об этом именно я и думал сию минуту, — отвечал Лорен. — Впрочем, нам надо потолковать о вещах не очень-то веселых.

— Что еще? — с беспокойством спросил Морис.

— А то, что завтра я дежурю в Консьержери.

— В Консьержери, — сказала Женевьева, — у королевы?

— Кажется, да.

Женевьева побледнела; Морис приподнял брови и сделал знак Лорену.

Лорен отрезал еще ломоть окорока, вдвое толще прежнего.

Королева действительно была отведена в Консьержери, куда мы и последуем за нею.

XXXIV. КОНСЬЕРЖЕРИ

На углу моста Шанж и набережной Флер возвышаются остатки старинного дворца святого Людовика, который назывался по-прежнему дворцом, как Рим назывался городом, и до сих пор носит это громкое имя, хотя в стенах его живут только писцы да судьи.

Обширен и мрачен этот дом правосудия, скорее заставляющий бояться, нежели любить строгую богиню правосудия. Здесь на тесном пространстве соединены все атрибуты человеческой мстительности. Сперва комнаты, в которых содержат под стражей подсудимых; далее зала, где их судят; еще далее — темница, куда заключают их после вынесения приговора; у дверей — площадки, где клеймят их позорным раскаленным железом; наконец, в пятидесяти шагах от первой несколько большая площадь, где их убивают, — то есть Грэв, где доканчивают то, что было набросано эскизно во дворе.

У правосудия, как водится, все под рукой.

Вся эта группа зданий, лепившихся одно к другому, угрюмых, серых, с маленькими решетчатыми окошками, — Консьержери.

В этой тюрьме есть подземелья, которые вода Сены устилает своей черной тиной; есть таинственные выходы, по которым некогда отправляли жертвы в реку, если чьи-то интересы требовали, чтобы они исчезли с лица земли.

В 1793 году тюрьма Консьержери, неутомимо поставляющая пищу эшафоту, была переполнена заключенными, которые через час превращались в осужденных. В эту эпоху тюрьма святого Людовика действительно была постоянным двором смерти.

Под сводом ворот ночью качался фонарь с крашеной железной решеткой — ужасная вывеска этого места страданий.

Накануне того дня, когда Морис, Лорен и Женеьева завтракали вместе, глухой стук колес потряс мостовую набережной и окна темницы; потом стук прекратился перед воротами и стрельчатым сводом; жандармы постучались в ворота эфесами сабель, ворота отворились, карета въехала во двор, и когда ворота опять повернулись за нею на петлях, когда засовы скрипнули, — из нее вышла женщина.

Перед нею в ту же минуту зевнула дверца и поглотила ее. Три или четыре головы, которые высунулись было при свете факелов, чтобы взглянуть на узницу, снова погрузились во мрак; потом послышался грубый смех и прощания нескольких человек, которые удалились и которых не было видно.

Привезенная женщина оставалась за первой комнаткой с жандармами; ей надо было пройти еще во вторую, но она не знала, что для перехода необходимо поднять ногу и наклонить голову, потому что внизу был высокий порог, а сверху свод, наклоненный вниз.

Узница, вероятно, еще не привыкшая к архитектуре тюрьмы, хоть и прожила в ней довольно долго, забыла опустить голову и ударилась о железный брус.

— Вы ушиблись, гражданка? — спросил ее один из жандармов.

— Нет, — спокойно отвечала она и прошла без малейшей жалобы, хотя удар о железо оставил у нее под бровью почти кровавую полосу.

Вскоре показалось кресло сторожа, кресло, чрезвычайно уважаемое заключенными, потому что страж темницы есть раздаватель милостыни, а для узника важна каждая милость; часто малейшая ласка меняет его мрачное небо на лучезарный свод.

Сторож Ришар, погруженный в кресло, — сознание своей значительности не оставило его, даже когда раздался стук решеток и колес, известивших о прибытии гостей, — придверник Ришар понюхал табак, взглянул на узницу, развернул толстый реестр и начал искать перо в маленькой деревянной

чернильнице, в которой чернила, засохшие по краям, еще образовали немало кашицы, как в кратере вулкана еще остается жидкая лава.

— Гражданин, — сказал старший конвойный, — распишись в получении, да поскорее, нас ждет Коммуна.

— За мною дело не станет, — отвечал привратник, долив в чернила несколько капель вина, которое оставалось на дне стакана. — Слава богу, успел набить руку. Имя и фамилия, гражданка?

И, обмакнув перо в импровизированные чернила, он собрался писать внизу страницы, исписанной уже на семь восьмых, в то время как стоявшая позади его кресла гражданка Ришар, женщина с добродушным взглядом, пости с благоговейным удивлением смотрела на печальную, благородную, гордую узницу, которую он допрашивал.

— Мария-Антуанетта-Жанна-Жозефа Лотарингская, австрийская эрцгерцогиня, французская королева, — отвечала узница.

— Французская королева! — повторил страж, с удивлением привстав и опираясь на ручки кресла.

— Французская королева! — повторила узница тем же тоном.

— Иначе — вдова Капет, — сказал конвойный.

— Под каким же из двух имен записывать? — спросил сторож.

— Как хочешь, только поскорей, — отвечал конвойный.

Тюремщик снова опустился в кресло и с заметным трепетом пальцев внес в список имя, фамилию и титул, продиктованные узницей. Покрасневшие от времени чернила этих строк и теперь еще видны в реестре, хотя крысы республиканской тюрьмы изгрызли этот листок на самом интересном месте.

Жена Ришара все еще стояла за креслом мужа; она только сложила руки с чувством религиозного сострадания.

— Ваши лета? — спросил сторож.

— Тридцать семь лет и девять месяцев, — отвечала королева.

Ришар принялся записывать, потом составил приметы и кончил обычными словами и особым замечанием.

— Хорошо, теперь все, — сказал тюремщик.

— Куда отвести узницу? — спросил конвойный.

Ришар снова понюхал табак и посмотрел на жену.

— Нас не предупредили, — отвечала женщина, — право не знаем!

— Поискать, — сказал бригадир.

— Комната совета совсем пустая, — заметила женщина.

— Ну, она очень велика, — пробормотал Ришар.

— Тем лучше; в ней легко будет поместить караул.

— Ладно, пусть будет комната совета, — сказал Ришар. — Но только в ней нельзя теперь жить — нет постели.

— Правда твоя, — отвечала женщина, — мне и не пришло в голову.

— Ну что ж, — сказал один из жандармов, — постель можно поставить и завтра: ночь пройдет скоро.

— Впрочем, гражданка может переночевать в нашей комнате, не правда ли? — спросила Ришар, обращаясь к мужу.

— А мы-то куда же? — заметил тюремщик.

— А мы не будем ложиться; ведь гражданин жандарм сказал, что ночь пройдет скоро.

— В таком случае, — сказал Ришар, — отведите гражданку в нашу комнату.

— А вы покадите приготовите квитанцию, так ли?

— Как вернетесь, будет готова.

Ришар взяла со стола свечу и пошла впереди.

Мария-Антуанетта пошла за нею, не говоря ни слова, спокойная и бледная, как всегда; два тюремщика, которым Ришар подала знак, замкнули шествие. Королеве показали постель, на которую Ришар тотчас же постелила чистое белье. Тюремщики стали у выходов. Потом дверь замкнулась на два оборота ключа, и Мария-Антуанетта осталась одна.

Как провела она эту ночь, никто не знает, потому что она провела ее лицом к лицу с богом. Только на следующий день королеву привели в палату совета — продолговатый четырехугольник, двери которого выходили в коридор Консьержери и который разделялся во всю длину перегородкой, не доходившей до потолка.

Одно из отделений было назначено для караула, другое для королевы. Каждая из двух келий освещалась окном с толстой железной решеткой. Ширмы, заменявшие дверь, отделяли королеву от ее сторожей и заменяли промежуток между комнатами. Пол был кирпичный; стены были когда-то украшены деревянной вызолоченной рамкой, на которой еще висели лохмотья обоев, усеянных лилиями. Меблировка королевской темницы ограничивалась постелью, поставленной напротив окна, и парой стульев.

Войдя в комнату, королева попросила, чтобы принесли ее книгу и работу. Ей принесли «*Revolutions d'Angleterre*», которую она начала читать еще в Тампле, «*Voyages du Jeune Anacharsis*» и ее вышивание.

Жандармы расположились в соседней келье. История сохранила их имена, как поступает она с самыми низкими существами, которых жребий связал с великими катастрофами и которые крадут у них луч света.

Жандармов эти звали Дюшен и Жильбер.

Коммуна нарочно выбрала этих людей, считая их самыми усердными патриотами, и они должны были оставаться бессменно у кельи Марии-Антуанетты до исполнения приговора. Коммуна надеялась таким образом устранить разные беспорядки, почти неизбежные при частой смене караула, и возложила на этих стражей ужасную ответственность.

Королева в первый же день узнала об этой мере из разговора этих двух стражей, которые говорили обо всем громко, не стесняясь ее, разве что какое-нибудь особенное обстоятельство не заставляло их понижать голос, и почувствовала одновременно и радость и беспокойство: если, с одной стороны, люди эти были самые надежные — за эту верность и выбрали их, — то, с другой стороны, размышляла королева, друзьям ее удобнее будет подкупить дух и постоянных сторожей, нежели сотню знакомцев, наряжаемых в караул случайно и сменяющихся ежедневно.

В первую ночь один из двух жандармов по привычке закурил на сон грядущий трубочку. Табачный дым проник сквозь щели перегородки, и несчастная королева, у которой бедствия не притупили, а, напротив, обострили все чувства, ощутила головокружение и тошноту; голова ее отяжелела, но, верная неукротимой своей гордости, королева не изменила ей ни малейшей жалобой.

В болезненной бессоннице, посреди ничем не нарушаемого ночного безмолвия королеве почудилось вдали что-то похожее на стон, жалобный и протяжный, как завывание ветра в пустом коридоре, когда буря заимствует человеческий голос, чтобы оживить страсти стихий.

Вскоре узница разобрала, что стон, заставивший ее сначала задрожать, что этот жалобный голос был воем собаки на набережной. Она тотчас вспомнила бедного Блека, о котором не думала с той минуты, как была увезена из Тампля... Действительно, это был Блек. Бедное животное, которое за излишнюю бдительность лишилось своей госпожи, незаметно бежало за ней, не отставало от ее кареты вплоть до решетки Консьержери и удалилось только потому, что краем железной решетки, которая заперлась за узницей, разрезало бы ее пополам. Но бедное животное вскоре вернулось и, понимая, что хозяйка его заключена в эту огромную каменную темницу, вызывало ее стоном и лаем и в десяти шагах дожидалось ласкового ответа.

Королева ответила вздохом, при котором караульные навестили уши. Но так как вздох этот не сопровождался никаким шумом в комнате Марии-Антуанетты, то сторожа снова успокоились и скоро впали в дремоту.

На другой день на рассвете королева встала и оделась. Сидя у решетчатого окна, сквозь которое синеватый свет падал на ее исхудавшие руки, она, по-видимому, читала, но мысли ее были далеко от книги.

Жандарм Жильбер немного раздвинул ширмы и молча посмотрел на нее. Мария-Антуанетта услышала шорох мебели, скользнувшей по полу, но не подняла головы.

Королева сидела так, что жандармы могли видеть ее голову, освещенную утренним светом.

Жандарм Жильбер сделал знак своему товарищу, чтобы тот посмотрел с ним в щелку.

Дюшен приблизился.

— Посмотри, какая она бледная, — шепнул ему Жильбер, — просто ужас; глаза покраснели. Видно, что страдает и даже как будто плакала.

— Ты знаешь, что вдова Капет никогда не плачет: она слишком горда для этого.

— Ну, так она больна, — сказал Жильбер.

И потом громче прибавил:

— Не больна ли ты, гражданка Капет?

Королева тихо подняла глаза, и ясный, испытующий взор ее остановился на жандармах.

— Не мне ли говорите вы, господа? — спросила она кротким голосом, потому что в тоне говорившего выразалось некоторое участие.

— Да, гражданка, тебе, — продолжал Жильбер. — Мы спрашиваем, не больна ли ты?

— Почему?

— Потому что у тебя покраснели глаза.

— И что ты очень бледна, — прибавил Дюшен.

— Благодарю вас, господа; я вовсе не больна, но только очень страдала этой ночью.

— Ты много тоскуешь.

— Нет, господа: грести мои все один и те же, так как религия научила

меня повергать их к подножию распятия, то я страдаю от них каждый день одинаково. Нет, господа: я больна от того, что не спала нынешней ночью.

— Конечно, перемена квартиры, другая постель... — заметил Дюшен.

— И притом квартира-то не блестящая, — прибавил Жильбер.

— Не то, господа, — сказала королева, покачивая головой. — Хорошее ли, дурное ли помещение — для меня это все равно.

— Так что же такое?

— Что такое?

— Да.

— Извините за откровенность, но меня очень беспокоил запах табака, который и теперь еще курит этот господин.

И действительно, Жильбер курил, но это, впрочем, было его обыкновенное занятие.

— Так вот что! — вскричал Жильбер, смущенный кротостью, с которой говорила ему королева. — Так вот оно что! Почему было не сказать об этом, гражданин?

— Потому что я не считала себя вправе стеснять ваших привычек.

— Хорошо же, тебя не будут больше беспокоить, по крайней мере, отвечаю за себя, — сказал Жильбер, бросив на пол трубку, которая тут же разлетелась вдребезги. — Я не буду курить.

И он повернулся, уводя за собою товарища, и задвинул ширму.

— Очень может статься, что ей отрубят голову; это дело нации. Но зачем мучить женщину! Мы солдаты, а не палачи, как Симон.

— Это немножко пахнет аристократом, товарищ, — заметил Дюшен, покачивая головой.

— Что называешь ты аристократом? Объясни-ка.

— Я называю аристократом все, что бесит нацию и доставляет удовольствие ее неприятелям.

— Так, по-твоему, я бешу нацию тем, что не хочу коптить вдову Капет? Полно, товарищ, — продолжал Жильбер. — Я очень хорошо помню клятву, которую дал бригадиру; вот она наизусть: «Не давать узнице бежать; никого не допускать к ней; не допускать ей никаких сношений и разговоров и умереть на своем посту». Вот что я обещал — и сдержу слово.

— Я говорю тебе не потому, что хотел тебе зла, — напротив. Но мне бы не хотелось, чтобы ты компрометировал себя.

— Тс!.. Кто-то идет сюда.

Королева не пропустила ни слова из этого разговора, хотя говорили шепотом.

Шум, привлечший внимание двух сторожей, были шаги нескольких человек, приближавшихся к двери.

Она отворилась, и в комнату вошли два муниципала в сопровождении швейцара и тюремщиков.

— Ну, что узница? — спросили они.

— Здесь, — отвечали жандармы.

— Каково помещение?

— Посмотрите.

И Жильбер толкнул ширмы.

— Что вам угодно? — спросила королева.

— Это видит Коммуны, гражданка Капет.

«Кажется, он человек добрый, — подумала Мария-Антуанетта, — и если бы друзья мои захотели...»

— Хорошо, хорошо, — сказали муниципалы, оттолкнув Жильбера и входя к королеве. — К чему тут церемонии!

Королева не подняла головы; судя по ее бесстрастию, можно было бы сказать, что она не видала и не слыхала происходившего и считала себя в одиночестве.

Депутаты Коммуны с любопытством осмотрели все подробности комнаты, освидетельствовали мебель, постель, решетку окна, выходившего на женский двор, и, наказав жандармам наблюдать с величайшей бдительностью, вышли, не сказал ни слова Марии-Антуанетте, которая, в свою очередь, кажется, не заметила их присутствия.

XXXV. ЗАЛ ПОТЕРЯННЫХ ШАГОВ

Под конец того же дня, в который муниципалы так внимательно осматривали темницу королевы, человек в серой карманьолке, с густыми черными волосами, в длинном шерстяном колпаке, каким отличались тогда самые отчаянные патриоты из простонародья, прохаживался по комнате, философски названной «Залом потерянных шагов»* и, по-видимому, очень внимательно рассматривал проходящих и уходящих — постоянную публику этого зала, очень расплодившуюся в эту эпоху, когда процессы приобрели особенную важность и адвокаты ораторствовали только для того, чтобы спасти свои головы от палачей и гражданина Фукье-Тенвиля, неутомимо поставлявшего пищу их кровожадности.

Человек, портрет которого мы нарисовали здесь, принял позу, обличавшую в нем очень хороший вкус. Общество того времени разделялось на два класса: на баранов и волков; последние, разумеется, наводили страх на первых, потому что одна половина общества пожирала другую.

Свирепый наблюдатель наш был маленького роста и потрясал грязной рукой дубинку, называвшуюся конституцией. Правда, рука, игравшая этим ужасным оружием, показалась бы очень маленькой каждому, кто бы вздумал разыграть перед странным незнакомцем роль инквизитора, какую он разыгрывал перед другими; но никто не осмеливался контролировать в чем бы то ни было человека с такой грозной наружностью.

В самом деле, человек с дубинкой наводил серьезное беспокойство на иные группы мелких писцов за огороженными конторками, рассуждавших об общественных делах, которые в это время шли от худшего или от хорошего к лучшему, смотря по тому, разбирать ли вопрос с консервативной или революционной точки зрения. Писцы искоса поглядывали на длинную черную бороду незнакомца, на его зеленоватые глаза, сверкавшие из под густых, как щетки, бровей и трепетали всякий раз, когда ужасный патриот приближался к ним, расхаживая по залу.

* Salle des Pas Perdus — название одного из залов Парижской судебной палаты, происшедшее от некоторых особенностей эха этого зала

Но страх этот одолевал их особенно от того, что всякий раз, как они осмеливались приблизиться к незнакомцу или даже пристально взглянуть на него, он опускал на плиты пола тяжелую дубинку, и она извлекала из камня звук, то глухой, то ясный и звонкий.

Но не только писцы, обычно известные под названием дворцовых крыс, чувствовали это страшное впечатление; его разделяли и другие лица, входившие в зал, и все они прибавляли шагу, проходя мимо человека с дубинкой, который продолжал шагать из конца в конец зала и ежеминутно находил предлог ударить дубинкой по полу.

Не будь писцы напуганы, а прохожие подальновиднее, они, конечно, заметили бы, что наш патриот останавливался предпочтительно на некоторых плитах, например, на тех, которые были поближе к правой стене и посередине зала, и что плиты эти издавали звук чище и громче.

Наконец, он сосредоточил свой гнев на известных плитах, особенно на центральных, и раз забылся до того, что даже остановился, как будто измерял глазами расстояние.

Забудьте это, правда, было непродолжительным, и взгляд его, в котором на мгновение сверкнула молния радости, опять стал свирепым.

Почти в то же самое мгновение другой патриот — в эту эпоху у каждого его мнение было написано на лбу или на одежде, — почти в то же мгновение другой патриот входил через дверь, которая вела из галереи, и, по-видимому, несколько не разделяя впечатления, производимого на прочих странным незнакомцем, пошел почти одной с ним походкой, так что они встретились на середине зала.

Новопришедший также был в колпаке шерстью вверх, в серой карманьолке, с грязными руками и дубинкой; кроме того, на боку у него была сабля, которая шлепала по икрам; но второй был ужаснее первого, потому что насколько первый ужасал своим видом, настолько же второй казался фальшивым, отталкивающим и гнусным.

И потому, хотя эти два человека, по-видимому принадлежали к одной партии и разделяли одни и те же взгляды, однако же присутствующие боязливо ждали, чем закончится их встреча, потому что они шли не каждый по своей линии, а точно навстречу друг другу. Но первый тур ожидания обманул публику: оба патриота только обменялись взглядами, и меньший ростом даже слегка побледнел, но лишь по невольному движению его губ было заметно, что бледность эта не от страха, а от отвращения.

Однако же во втором туре, может быть, от того, что патриот сделал усилие над собой, но только лицо его прояснилось, что-то похожее на улыбку, старавшуюся быть приятной, мелькнуло на его губах; и он пошел несколько левее с очевидным намерением остановить второго патриота.

Они встретились почти на середине зала.

— А, гражданин Симон! — сказал первый патриот.

— Я за него! Чего тебе надобно от гражданина Симона, и, прежде всего, кто ты сам?

— Еще притворяется, будто не узнает?

— Разумеется, не узнаю... по самой уважительной причине, потому что я никогда не видел тебя.

— Вот тебе раз! Не узнаешь того, кто имел честь нести голову Ламбаль?

И слова эти, произнесенные с глубокой яростью, сорвались, как пламя, с губ человека в карманьолке. Симон вздрогнул.

— Ты? — спросил он. — Ты?

— Чему тут удивляться! Я думал, гражданин, что ты лучше умеешь различать верных друзей!.. Очень жалею!..

— Прекрасно, что ты это сделал, — отвечал Симон. — Но все-таки я не знаю тебя.

— Да, гораздо выгоднее стеречь маленького Капета; тут по крайней мере на виду... Знаю тебя и уважаю.

— Очень благодарен.

— Не стоит благодарности... Скажи, ты прогуливаешься?

— Да, поджидаю кое-кого... А ты?

— И я тоже.

— А как зовут тебя? Я поговорю о тебе в клубе.

— Меня зовут Теодор.

— А дальше?

— Дальше... достаточно... Разве мало?

— О, совсем нет. Кого поджидаешь ты, гражданин Теодор?

— Приятеля; хочу сообщить ему донос.

— Право?.. Расскажи-ка мне.

— Да опять аристократы!

— Как их зовут-то?

— Нет, право, я не могу открыть никому, кроме как моему приятелю.

— Напрасно... А вот идет мой приятель... Этот, смею сказать, дока в крючкотворстве. Уж он славно бы порешил твоё дело... А?..

— Фукье-Тенвиль! — вскричал первый патриот.

— Ни больше ни меньше.

— Вот это хорошо.

— Еще бы не хорошо!.. Здравствуй, гражданин Фукье.

Фукье-Тенвиль, бледный, спокойный, с большими черными глазами под густыми бровями, выходил из боковой двери, держа под мышками список и разные бумаги.

— Здравствуй, Симон, — сказал он, — что нового?

— Довольно наберется. Во-первых: донос гражданина Теодора, того самого, который нес голову Ламбаль. Имею честь представить.

Фукье устремил пронизательный взгляд на патриота, который при всей твердости своих нервов смешался от этого взгляда.

— Теодор, — сказал Фукье. — Кто этот Теодор?

— Я, — отвечал человек в карманьолке.

— И ты нес голову Ламбаль? — спросил общественный обвинитель с явным выражением сомнения.

— Я... по улице Сент-Антуан.

— Я знаю другого, который приписывает себе эту честь, — сказал Фукье.

— А я знаю еще десятерых, — смело отвечал гражданин Теодор, — но так как те чего-нибудь просят за это, а я ничего не прошу, то, надеюсь, мне отдадут преимущество.

Ответ этот заставил Симона засмеяться и разгладил морщины на лбу Фукье.

— Правда твоя, — сказал он, — если ты и не сделал этого, то должен был сделать. Теперь оставь нас на минутку: мне надо сказать кое-что гражданину Симону.

Теодор отошел, не обидевшись откровенностью гражданина публичного обвинителя.

— Постой! — закричал Симон. — Не отсылай его так; выслушай прежде его донос.

— Донос? — рассеянно спросил Фукье-Тенвиль.

— Да, разговор, — прибавил Симон.

— В чем дело? Говори...

— Сущая безделица — кавалер Мезон Руж с приятелями...

Фукье отскочил; Симон поднял руки к небу.

— Неужели? — спросили они в один голос.

— Сущая истина, хотите поймать их?

— Сию же минуту... Где он?

— Я встретил Мезон Ружа на улице Грюандри.

— Ты ошибаешься, его нет в Париже.

— Я видел его, говорю тебе.

— Не может быть: за ним послали сто человек, и уж, верно, он не покажется на улице.

— Он, он, он! — настаивал патриот. — Высокий, черный силач и мохнатый, как медведь.

Фукье презрительно пожал плечами.

— Опять глупости! Мезон Руж низенький, худенький, даже нет пуха на бороде.

У патриота в отчаянии опустились руки.

— Все равно: доброе намерение стоит дела... Ну, Симон, теперь переговорим вдвоем, да не теряя времени. Меня ждут в регистратуре, скоро тронутся телеги.

— Нового ничего, ребенок здоров.

Патриот повернулся к ним спиной, так, чтобы не казаться любопытным, а на самом деле все слышать.

— Прощайте, — сказал он, — не хочу стеснять вас.

— Прощай, — сказал Симон.

— До свидания, — пропустил сквозь зубы Фукье.

— Скажи своему другу, что ты ошибся, — прибавил Симон.

— Ладно.

И Теодор несколько отошел и оперся на дубинку.

— А, ребенок здоров, — сказал тогда Фукье. — А каков он нравом-то?

— Заквашиваю его как мне угодно.

— Так он говорит?

— Когда я захочу.

— Я думаю, что он мог бы свидетельствовать в процессе Антуанетты.

— Я не только думаю, но уверен.

Теодор прислонился к колонне, устремив глаза на двери, но глаза эти

были мутны, между тем как уши гражданина навострились под широким шерстяным колпаком. Может быть, он ничего не видел, но непременно что-нибудь да слышал.

— Обдумай хорошенько, — сказал Фукье, — не делай глупости. Уверен ли ты, что Капет будет говорить?

— Все, что я захочу.

— Это очень важно, гражданин Симон: показание ребенка будет смертельным для матери.

— Еще бы нет!

— Подобных вещей не видали со времен признания Нерона Нарциссу, — глухо сказал Фукье. — Но еще раз хорошенько обдумай, Симон.

— Можно подумать, гражданин, что ты считаешь меня за осла, вечно повторяя одно и то же. Выслушай мое сравнение. Если размочить кожу в воде, сделается она мягче?

— Но... не знаю.

— Сделается мягче. Вот и маленький Капет в моих руках гибок, как самая мягкая кожа. На это есть у меня особый способ.

— Хорошо. Еще что?

— Ничего... Постой, есть еще донос.

— Вечно!.. У меня и так полны руки дел.

— Надо служить отечеству.

Симон подал бумажку, черную, как кожа, о которой он говорил, но не такую мягкую. Фукье прочитал.

— Опять твой гражданин Лорен... Значит, ты крепко ненавидишь этого человека?

— Он вечно во вражде с законом. Не далее как вчера вечером, раскланиваясь с одной женщиной, которая смотрела из окна, он сказал ей «сударыня...», завтра надеюсь сказать тебе несколько слов о другом подозрительном человеке, о Морисе, который был тампльским муниципалом во время красной гвоздики.

— Выражайся точнее, — сказал Фукье, улыбнувшись Симону.

Он подал ему руку и повернулся к нему спиной, что не совсем понравилось сапожнику.

— Какие же тебе точности! Ведь возили же на гильотину людей, которые поменьше его сделали!

— Потерпи, — спокойно сказал Фукье. — Нельзя все сделать разом.

И он быстрыми шагами вышел в тюремные двери. Симон искал глазами Теодора, чтобы хоть с ним отвести душу, но его также не было в зале.

Едва только он прошел через западную решетку, как Теодор опять явился у писарской будки в сопровождении писца.

— В котором часу запираются решетки? — спросил его Теодор

— В пять часов.

— А потом что делается здесь?

— Ничего; зал остается пустым до следующего дня.

— Нет ни патрулей, ни осмотров?

— Нет, сударь; будки наши запираются на ключ.

Слово «сударь» заставило Теодора нахмурить брови, и он посмотрел вокруг себя недоверчиво.

- Лом и пистолет в будке? — спросил он.
- Да, под ковром.
- Да, кстати, покажи-ка еще комнату трибунала с решетчатым окном, которая выходит во двор у площади Дофина.
- Налево между колоннами, под фонарем.
- Хорошо, иди да смотри, чтобы лошади были на указанном месте.
- Желаю успеха, сударь, желаю успеха!.. Надейтесь на меня.
- Удобное мгновение... никто не смотрит... отвори будку.
- Готово, сударь; я буду молиться за вас.
- Не за меня надо молиться... Прощай!

И гражданин Теодор после красноречивого взгляда так ловко скользнул под маленькую крышку будки, что исчез, словно он был тенью писца, запиравшего дверцу.

Писец вынул ключ из замка, взял бумаги под мышку и вышел из огромного зала с несколькими чиновниками, которых бой пяти часов выгнал из регистатуры, как рой запоздалых пчел.

XXXVI. ГРАЖДАНИН ТЕОДОР

Ночь окутала серым покрывалом этот огромный зал, оригинальное эхо которого повторяет только резкие слова адвокатов и жалобы судившихся.

В темноте белая колонна, прямая и неподвижная, казалось, бодрствовала в этом зале, как призрак — хранитель проклятого судилища.

Единственный шум, раздававшийся в этой темноте, было царапание и прыжки крыс, которые глотали бумаги в будках писцов, начав свою работу с дерева.

По временам до этого святилища Фемиды, как выразился бы иной академик, доходил стук кареты и лязг ключей, исходивший как будто из-под земли, но все это раздавалось в отдалении, точно так, как не нарушает тишины отдаленный шум, или подобно тому, как темнота кажется еще плотнее, когда вдали брезжит огонек.

Право, страшно стало бы и тому, кто в такую пору зашел бы в этот огромный зал судилища, стены которого снаружи еще были забрызганы кровью сентябрьских жертв, где по лестницам двадцать пять осужденных сошли на смерть, и только толща нескольких плит отделяла зал от казематов Консьержери, населенных побелевшими скелетами.

Однако же посреди угасающей ночи, посреди почти гробового молчания послышался шорох; дверь писарской будки повернулась на скрипучих петлях, и тень чернее самой ночи осторожно выскользнула из будки.

Тогда отчаянный патриот, которого шепотом называли господином и который назвал себя Теодором, ощупал легкой ногой выскобленные плиты.

— Я насчитал двенадцать плит, начиная от будки, — проговорил он. — Вот конец первой.

И, соображая, он ощупывал кончиками пальцев щель, которая от времени делается все шире и шире между камнями.

— Посмотрим, — прибавил он, останавливаясь, — все ли я принял меры, хватит ли у меня сил, а у нее — мужества... О, я знаю ее мужество... Боже мой!.. Когда я возьму ее за руку, когда скажу ей: «Государыня, вы спасены!»...

Он замолчал, как будто подавляемый тяжестью этой надежды.

— Дерзкое, безумное предприятие, скажут другие, кутаясь дома под одеялами или шатаясь в лакейской одежде около стен Консьержери. Но для отваги у них нет того, что побуждает меня: я хочу спасти не только королеву, но главное — женщину. К делу — и сообразим.

Приподнять плиту — это еще не есть опасность; оставить ее открытой — в этом опасность: может прийти патруль; впрочем, сюда никогда не ходят патрули. Подозрений быть не может, у меня пять сообщников; и притом много ли надо времени такому усердию, как мое, чтобы пройти темный коридор... В три минуты я буду под ее комнатой, в пять минут сниму камень, который служит очагом в камине; она услышит, как я стану работать, но у нее столько твердости, что она не испугается; напротив, она поймет, что приближается избавитель... Ее стерегут двое; нет сомнения, что люди эти прибегут... Но ведь только двое! — сказал патриот с мрачной улыбкой, поглядывая то на оружие, которое держал в руке, то на висевшее за поясом, двойной выстрел из этого пистолета или два удара этим железным брусом... Бедные люди!.. Ведь умирали же люди не преступнее их... К делу!

И гражданин Теодор осторожно воткнул лом в промежуток между плитами.

В то же мгновение яркий свет скользнул золотой струей по плитам, и шум, повторенный эхом свода, заставил заговорщика обернуться. Одним прыжком он очутился в будке.

Вскоре до ушей Теодора донеслись слова, ослабленные расстоянием и еще более ослабленные волнением, какое каждый чувствует ночью в обширном здании.

Теодор нагнулся и в отверстие будки заметил сначала человека в военном мундире с большой саблей, которая звенела по плитам пола; потом человека во фраке фиштакхового цвета с линейкой в руке и свертком бумаги под мышкой; потом третьего в толстом ратиновом камзоле и меховом колпаке; наконец, четвертого в деревянных башмаках и карманьолке

Решетка скрипнула на петлях и ударилась о железную цепь, которая держала ее дном отворенной.

Вошли четыре человека.

— Патруль! — прошептал Теодор. — Слава богу! Опоздай я десятью минутами — и я бы погиб

Потом с глубоким вниманием он начал осматривать дозорных.

Трое из них были знакомые лица.

Шедший впереди в генеральском мундире был Сантер; в ратиновом камзоле и меховом колпаке — тюремщик Ришар; человек в деревянных башмаках и карманьолке был, вероятно, тоже тюремщик.

Но он ни разу не видел человека в фиштакховом фраке, державшего в руке линейку и бумаги.

Кто бы мог быть этот человек, и зачем пришли в десять часов вечера в «Зал потерянных шагов» генерал Коммуны, придверник Консьержери, тюремщик и незнакомец?

Гражданин Теодор стал на колени, держа в одной руке пистолет, а другой поправляя колпак на волосах, которые растрепались от быстрого движения.

До сих пор четыре ночных посетителя молчали, или, по крайней мере, слова их доходили до ушей заговорщика неясным шумом.

Но в десяти шагах от лазейки Сантер заговорил, и гражданин Теодор явственно расслышал его слова.

— Вот мы в «Зале потерянных шагов,» — сказал он. — Ну, хорошо, веди нас, гражданин архитектор, да смотри, чтобы твои показания не оказались вздором... Революция, как тебе известно, учинила расправу над всеми этими глупостями, и мы не верим подземельям. Не правда ли, гражданин Ришар? — прибавил Сантер, обращаясь к человеку в меховом колпаке и ратиновом камзоле.

— Я никогда не говорил, что было подземелье под Консьержери, — отвечал Ришар. — Да вот вам Гракх: он уже десять лет служит тюремщиком и, следовательно, знает Консьержери, как свой карман, а не слышал ни о каком подземелье... Впрочем, гражданин Жиро — городской архитектор, он должен знать это лучше нашего: ему и книги в руки.

При этих словах Теодор задрожал с ног до головы.

— Хорошо еще, — прошептал он, — что зал огромный и им надо искать, по крайней мере, двое суток, пока найдут.

Но архитектор развернул большой свиток бумаги, надел очки и, став на колени при дрожащем свете фонаря, который держал Гракх, принялся рассматривать план.

— Не приснилось ли это подземелье гражданину Жиро? — насмешливо сказал Сантер.

— Вот увидишь, гражданин генерал, — сказал архитектор. — Подожди, подожди!

— Мы и так ждем, — отвечал Сантер.

— И прекрасно, — заметил архитектор.

И начал рассчитывать по пальцам.

— Двенадцать и четыре — шестнадцать... да восемь — двадцать четыре... разделить на шесть — будет четыре... остается половина. Так... вот где это место. Если я ошибся хоть на один фут, назовите меня болваном.

Архитектор произнес эти слова с такой уверенностью, что гражданин Теодор оцепенел от ужаса.

Сантер смотрел на план с каким-то уважением; видно было, что он тем более удивлялся, что не понимал ничего

— Следите за тем, что я вам скажу.

— Как следить? — спросил Сантер.

— Разумеется, по плану, который я составил! Ну, вот... в трех футах от стены — подвижная плита: я обозначил ее буквой А. Видите?

— Как нельзя лучше вижу А, — отвечал Сантер, — разве ты думаешь, что я не умею читать?

— Под этой плитой есть лестница, — продолжал архитектор. — Буква В... видите?

— В, — повторил Сантер, — вижу букву В, но лестницы не вижу.

И генерал расхохотался, чрезвычайно довольный своим остроумием.

— Как только поднимете плиту, как только станете на последнюю ступеньку, — продолжал архитектор, — отсчитайте пять-десять шагов по три

фута каждый и глядите вверх: вы очутитесь как раз в регистратуре, где кончается это подземелье, проходя под комнатой королевы.

— Ты хотел сказать: вдовы Капет, — перебил Сантер, нахмутив брови.

— Да, вдовы Капет.

— А сказал: «королевы».

— Привычка.

— Так вы говорите, что мы очутимся под регистратурой? — спросил Ришар.

— Не только в регистратуре, но даже скажу вам, в каком именно месте регистратуры: под печкой.

— Стойте, странная штука! — сказал Гракх. — Всякий раз, как я бросаю дрова на это место, из него выходит какой-то особенный звук.

— Да, гражданин архитектор, если мы найдем то, что ты говоришь, я соглашусь, что геометрия — прекрасная вещь.

— Ну, так согласись же, гражданин Сантер, я веду тебя прямо к месту, обозначенному буквой А.

Гражданин Теодор вонзил ногти себе в тело.

— Постой, дай увидеть собственными глазами, — заговорил Сантер. — Я ведь как святой Фома неверующий.

— Ага! Ты говоришь «святой Фома»?

— Да, сболтнул, как и ты сказал слово «королева», просто по привычке; но меня все же нельзя обвинить в заговоре в пользу святого Фомы.

— Да и меня в пользу королевы.

И после этого ответа архитектор, осторожно взяв линейку, отсчитал сажени и, сообразив расстояние, остановился и топнул по плите.

Это была та самая плита, по которой так энергично стучал Теодор в порыве гнева.

— Вот здесь, гражданин генерал.

— Ты думаешь, гражданин Жиро?

Патриот, спрятавшийся в будке, забылся до того, что хватил себя по ляжке стиснутым кулаком и глухо зарычал.

— Я совершенно уверен в этом, — отвечал Жиро, — и ваш осмотр как экспертов вместе с моим докладом покажут Конвенту, что я не ошибался. Да, гражданин генерал, — продолжал архитектор, возвышая голос, — эта плита поднимается над подземельем, которое кончается в тюремной конторе, проходя под комнатой вдовы Капет. Приподнимите эту плиту, спуститесь со мной в подземелье — и я докажу вам, что двое, даже один человек мог бы похитить ее — и никто бы этого не заметил.

Шепот ужаса и удивления, вызванный словами архитектора, пробежал по всей группе и замер в ушах гражданина Теодора, который как будто превратился в статую.

— Вот какой подвергались мы опасности, — продолжал Жиро. — А теперь, поставив в коридоре подземелья решетку, которая разделит его пополам, я спасаю отечество.

— Да, гражданин Жиро, у тебя чудесная мысль, — заметил Сантер

— Черт бы тебя побрал, болван, — проворчал патриот с удвоенной яростью.

— Ну-ка подними вот эту плиту! — сказал архитектор гражданину Гракху, который, кроме фонаря, держал еще лом

Гражданин Гракх принялся за дело; в одну секунду плита была поднята, и тогда представилось подземелье с лестницей, терявшейся в его глубине, и затхлый воздух вырвался из него густым клубом.

— Еще одна неудавшаяся попытка, — проговорил Теодор. — Значит, небу не угодно, чтобы она спаслась!

XXXVII. ГРАЖДАНИН ГРАКХ

Несколько мгновений группа из трех человек стояла неподвижно вокруг устья подземелья, покуда тюремщик опускал в его отверстие фонарь, не освещавший, однако ж, глубины.

Торжествующий архитектор господствовал над своими товарищами всей высотой своего гения.

— Ну что? — спросил он спустя секунду.

— Да, подземелье, это не подлежит сомнению, — отвечал Сантер. — Остается только узнать, куда ведет оно.

— Да, — повторил Ришар, — остается это узнать.

— За чем же дело, гражданин Ришар? Спустись в него и увидишь, правду ли я говорю.

— Для чего входить туда. Я придумал дело получше, — отвечал Ришар. — Мы вернемся втроем, то есть ты, генерал и я, в Консьержери, ты поднимаешь плиту в камине — и мы посмотрим.

— Отлично сказано, идемте, — сказал Сантер.

— А как же плита-то здесь останется поднятой? — заметил архитектор. — Пожалуй, еще заберется кто-нибудь.

— Кой черт заберется в такую пору, — отвечал Сантер — Притом в зале нет ни души; достаточно оставить одного Гракха. Останься-ка, гражданин Гракх, а мы пройдем к тебе с другого конца подземелья

— Извольте, — сказал Гракх.

— А есть ли при тебе оружие? — спросил Сантер.

— Сабля да лом, гражданин генерал.

— И чудесно. Смотри же хорошенько. Через десять минут мы будем здесь.

И все трое, заперев решетку, ушли через галерею.

Тюремщик смотрел, как они удалились; потом, когда все затихло и, по-видимому, опустело, поставил фонарь на пол, свесил ноги в подземелье и предался мечтам. Тюремщики также мечтают иногда, но только никто еще не проследил, о чем они мечтают.

Вдруг, как нарочно, в ту минуту, когда он глубже замечтался, на плечо ему упала тяжелая рука. Гражданин Гракх обернулся и, увидев перед собой незнакомую фигуру, хотел было закричать, но в то же мгновение холодный пистолет уперся ему в лоб. Голос тюремщика замер, руки опустились и глаза приняли самое умоляющее выражение.

— Ни слова — или ты убит, — сказал незнакомец.

— Что вам угодно, милостивый государь? — спросил тюремщик.

Как видите, даже в 93 году бывали минуты, в которые не говорили друг другу «ты» и забывали титуловаться «гражданами»...

— Я хочу, чтобы ты пустил меня вниз, — отвечал гражданин Теодор.

— Зачем это?

— Не твое дело.

Тюремщик с величайшим удивлением взглянул на просившего, но собеседник его заметил в этом взгляде молнию понятливости — и опустил свое оружие.

— Отказался бы ты иметь состояние?

— Не знаю, по этой части еще никто не делал мне предложения.

— Ну так я делаю первый.

— То есть предлагаете мне состояние?

— Да.

— А что вы понимаете под словом «состояние»?

— Да хоть бы пятьдесят тысяч ливров золотом; в наше время деньги редки, и пятьдесят тысяч ливров золотом стоят миллиона. Итак, я предлагаю тебе пятьдесят тысяч ливров.

— Чтобы я дал вам опуститься в эту яму?

— Да, но с условием, чтобы ты пошел в нее со мной и помог мне в том, что я хочу сделать.

— Но как же вы это сделаете? Через пять минут в подземелье нахлынут солдаты и схватят вас.

Справедливость этих слов поразила Теодора.

— А можешь ли ты помешать солдатам спуститься сюда?

— Нет никаких средств, как ни ломай голову.

Заметно было, что тюремщик напрягал всю свою сметливость, чтобы найти это средство, за которое ему заплатили бы пятьдесят тысяч ливров.

— А завтра, — спросил гражданин Теодор, — можем мы войти?

— Непременно, только беда в том, что не сегодня, так завтра поперек подземелья поставят железную решетку, и для большей благонадежности решетка эта будет сплошная, здоровая и без двери.

— В таком случае надо придумать что-нибудь другое.

— Да, надо придумать что-нибудь другое, — сказал тюремщик. — Подумаем.

По собирательному смыслу, в каком выражался гражданин Гракх, видно было, что он уже согласился с гражданином Теодором

— Уж это мое дело, — сказал Теодор. — А что ты делаешь в Консьержери?

— Я тюремщик.

— То есть?

— Отворяю и запираю двери.

— И ночуешь там?

— Да.

— И обедаешь?

— Не всегда. У меня бывает свободное время.

— И тогда?

— Я пользуюсь им.

— Каким, например, образом?
— Хочу строить куры хозяйке харчевни «Ноев Колодец», которая обещала выйти за меня замуж, когда у меня будет тысяча двести франков.
— А где харчевня «Ноев Колодец»?
— На улице Виель-Драпри.
— Ладно.
— Тс!..
Патриот наострил ухо.
— Ай, ай, — заметил Гракх.
— Что тебе почудилось?
— Точно... голоса... шаги...
— Это они идут назад?
— Вот видите, что мы не успели бы.
Это «мы» было ясным выражением согласия.
— Правда, ты честный малый, гражданин, и тебе, кажется, предназначено.
— Что?
— Разбогатеть со временем.
— Дай-то бог!
— Будь уверен, — сказал гражданин Теодор, сунув в руку тюремщику десять луидоров.
— Черт побери, однако ж, — сказал гражданин Гракх, любуясь при свете фонаря на золото. — Значит, это серьезно?
— Как нельзя серьезнее.
— Что же надо делать?
— Приходи завтра в «Ноев Колодец», и я скажу тебе, что мне надо.
Кстати, как тебя зовут?
— Гракх.
— Так вот, гражданин Гракх, устрой так, чтобы швейцар Ришар завтра прогнал тебя.
— Прогнал! А мое место?
— Разве ты думаешь остаться тюремщиком, когда у тебя будут пятьдесят тысяч франков?
— Нет, но покуда я беден — я уверен, что меня потащат на гильотину.
— Уверен?
— То есть около того; а когда буду на воле и разбогатею...
— Ты спрячешь деньги и будешь строить куры своей возлюбленной трактирщице.
— Ну хорошо! Идет!
— Так завтра в харчевне.
— В котором часу?
— В шесть после обеда.
— Улетайте скорее... вот они... Говорю «улетайте», потому что, кажется, вы прилетели сквозь потолок.
— Итак, до завтра, — проговорил Теодор, убегая.
В самом деле, уже давно было пора; шум шагов и голосов приближался; и в темном подземелье уже сверкал блеск приближавшихся огней.
Теодор добежал до двери, указанной писцом, который одолжил ему свою

будку; сорвал ломом замок, подбежал к окну, отпер его и спустился на улицу. Но, выбираясь из «Зала потерянных шагов», он еще мог слышать вопрос, заданный гражданином Гракхом Ришару, и ответ последнего.

— Гражданин архитектор совершенно прав: подземелье проходит под комнаты вдовы Капет; дело было опасное.

— Я думаю, — сказал Гракх, с совершенным сознанием, — что высказал высокую петицию.

Сантер показался в отверстии лестницы.

— Ну, а работники, гражданин архитектор? — спросил он Жиро.

— Придут на рассвете, и решетка будет тотчас на месте, — отвечал голос, как будто выходящий из глубины земли.

— И ты будешь спасителем отечества, — сказал Сантер полунасмешливо, полусерьезно.

— Ты не знаешь, как ты прав, гражданин генерал, — сказал про себя Гракх.

XXXVIII. КОРОЛЕВСКОЕ ДИТЯ

Однако следствие над королевой уже началось, как мы видели в предыдущей главе. Народная ненависть жаждала этой венценосной головы. В средствах принести эту жертву не было недостатка, и, однако же, Фукие-Тенвиль, общественный обвинитель, решил не пренебрегать и тем обвинением, какое обещал Симон.

На другой день после встречи Фукие с Симоном в «Зале потерянных шагов» шум оружия еще раз заставил вздрогнуть узников, содержавшихся в Тампле. Узники эти были: принцесса Елизавета, дочь королевы, и ребенок, который в колыбели назывался его величеством, а теперь — маленьким Капетом.

Генерал Анрио* с трехцветным султаном и саблей въехал на толстой лошади, сопровождаемый несколькими национальными гвардейцами в башню, в которой изнывало королевское дитя. По сторонам генерала шли: секретарь с чернильницей, свертком бумаги и неизмеримо длинным пером. Позади секретаря шел общественный обвинитель. Мы видели, знаем и еще раз увидим этого худощавого желтого и холодного человека, налитые кровью глаза которого заставляли трепетать самого Анрио в его военной броне. Шестые заключали национальные гвардейцы с поручиком. Симон с лукавой улыбкой, держа в одной руке меховой колпак, в другой шпандырь, шел впереди, указывая дорогу комиссии.

Они вошли в почерневшую, обширную и голую комнату, в глубине которой совершенно неподвижно сидел на постели юный Людовик. Когда мы видели бедного ребенка, бегавшего от зверской злости Симона, в нем еще была жизненная сила, которая боролась с гнусным обхождением тампльского сапожника: ребенок бегал, кричал, плакал, значит, он еще боялся, страдал,

* В этом месте Дюма вместо имени Сантера ставит имя Анрио. Кажется, что так и будет правильнее, потому что 17 сентября 1793 года Сантер уже отправляется в Вандею усмирять тамошнее восстание, а его место занимает Анрио. В дальнейшем изложении Дюма опять местами ставит имя Сантера, но в переводе мы уже везде будем ставить Анрио. — Прим. ред.

надеялся. Теперь же страх и надежда исчезли; страдание, без сомнения, существовало еще; но если и существовало оно, то ребенок-мученик таил его в глубине сердца, под покровом совершенной бесчувственности. Он даже не поднял головы, когда к нему подошли комиссары.

Без всяких предисловий они взяли стулья и уселись: обвинитель — у изголовья постели, Симон — в ногах, секретарь — у окошка; национальные гвардейцы с поручиком стали поодаль в тени.

Те из присутствующих, которые смотрели на узника, если не с участием, то хоть с любопытством, тотчас заметили в ребенке бледность, странную полноту, которая была не что другое, как опухоль, и кривизну колен, суставы которых начинали пухнуть.

— Ребенок этот серьезно болен, — сказал поручик с уверенностью, которая заставила Фукье-Тенвиля, уже сидевшего и готового начать писать допрос, обернуться.

Маленький Капет поднял глаза, лица в сумраке того, кто произнес эти слова, и узнал в нем молодого человека, который уже защитил его однажды на тюльрийском дворе от побоев Симона. Луч доброго чувства сверкнул в синих глазах ребенка — и только.

— А, это ты, гражданин Лорен, — сказал Симон, обращая внимание Фукье-Тенвиля на друга Мориса.

— Я самый, гражданин Симон, — отвечал с невозмутимой твердостью Лорен.

Но так как Лорен, всегда готовый стать лицом к лицу с опасностью, не искал ее без всякой пользы, то и воспользовался случаем поклониться Фукье-Тенвилю, который отвечал ему учтивым поклоном.

— Кажется, ты заметил, гражданин, что ребенок болен? — спросил обвинитель. — Разве ты лекарь?

— Если и не лекарь, то, по крайней мере, учился медицине.

— Что же ты находишь в нем?

— То есть какие признаки болезни? — спросил Лорен.

— Да.

— Опухшие глаза и щеки, бледные и исхудалые руки, опухоль в коленях, и если б я пощупал его пульс, то уверен, что насчитал бы от восьмидесяти пяти до восьмидесяти шести пульсаций в минуту.

Ребенок, по-видимому, бесчувственно слушал перечисление своих страданий.

— Чему же наука может приписать такое состояние узника? — спросил общественный обвинитель.

Лорен почесал за ухом.

— Право, гражданин, — отвечал он, — я не знаю хорошо, как содержать маленького Капета, и потому не могу сказать утвердительно... впрочем...

Симон наострил уши и смеялся в душе, ожидая, что его враг может скомпрометировать себя.

— Впрочем, — продолжал Лорен, — я полагаю, что он болен от недостатка движения.

— Я тоже полагаю, — сказал Симон. — Еще бы! Он не хочет ходить.

Ребенок не обратил внимания на слова сапожника.

Фукье-Тенвиль встал, подошел к Лорену и что-то шепнул ему на ухо.

Никто не слышал слов общественного обвинителя, но видно было, что он о чем-то спрашивал.

— О-о-о! Неужели ты веришь этому, гражданин? Это ужасно со стороны матери...

— Во всяком случае, мы узнаем это, — сказал Фукье. — Симон говорит, что слышал это от него самого, и взялся заставить его признаться.

— Это было бы чудовищно, — сказал Лорен. — Однако это возможно. Австриячка не без греха, и, справедливо или нет... это меня не касается... из нее сделали Мессалину... Но не довольствоваться этим и делать ее Агриппиной... воля ваша, это, по-моему, уж слишком.

— Однако вот что доносит Симон, — бесстрастно сказал Фукье.

— Я несколько не сомневаюсь, что Симон сказал это... Есть люди, которым не страшны никакие доносы, даже самые невозможные... Но не находишь ли ты, — продолжал Лорен, пристально смотря на Фукье, — ты, человек честный и умный, наконец, человек сильный, что спрашивать у ребенка подобные подробности о той, которую, по самым естественным и священным законам природы, он должен почитать, почти значило бы оскорблять целое человечество в лице этого ребенка?

Обвинитель не шевельнул бровью, вынул из кармана бумагу и показал Лорену.

— Конвент приказывает мне расследовать это дело, — сказал он. — Остальное меня не касается.

— Справедливо, — сказал Лорен, — и признаюсь, что если ребенок сознается...

И молодой человек с отвращением опустил голову.

— Впрочем, — продолжал Фукье, — мы опираемся не на одно только показание Симона; есть еще другое, публичное...

И Фукье вынул из кармана вторую бумагу. Это был листок газеты «Le Pere Duchesne», издаваемый под редакцией Эбера.

Действительно, обвинение было здесь напечатано без всяких околичностей, со всей откровенностью.

— Написано... даже напечатано, — сказал Лорен. — Но покуда я не услышу подобного обвинения из уст ребенка, разумеется, обвинения добровольного, свободного, не вынужденного угрозами...

— Далее?..

— Несмотря ни на каких Симонов и Эберов, я буду сомневаться, как сомневалась, конечно, и ты сам.

Симон с нетерпением выжидал конца разговора; мерзавец не знал, как сильно действует на умного человека взгляд, отличаемый им в толпе. Но Фукье почувствовал силу взора Лорена и хотел быть понятным этому наблюдателю.

— Начинается допрос, — сказал общественный обвинитель. — Секретарь, бери перо.

Секретарь настроил предисловие протокола и ждал, подобно Симону, Анри и всем прочим, окончания разговора Фукье-Тенвиля с Лореном.

Лишь ребенок, по-видимому, не принимал никакого участия в сцене, в которой он был главным актером, и глаза его, на мгновение озаренные молнией высшего разума, снова потухли, как олово.

— Тише, гражданин Фукье-Тенвиль будет допрашивать ребенка! — сказал Анрио.

— Капет, — сказал обвинитель, — знаешь ли ты, что стало с твоей матерью?

Лицо маленького Капета, бледное как мрамор, вспыхнуло румянцем, но он не отвечал.

— Слышал ли ты меня? — спросил обвинитель.

То же молчание.

— О, еще бы! Он прекрасно слышит, — сказал Симон, — но, знаете, он, как обезьяна, не хочет отвечать, чтобы его не приняли за человека и не заставили работать.

— Отвечай, Капет, — сказал Анрио. — Тебя спрашивает Комиссия Конвента, и ты должен повиноваться законам.

Ребенок побледнел, но не отвечал.

— Да будешь ли ты отвечать, волчонок! — сказал Симон и показал ему кулак.

— Замолчи, Симон, — сказал Фукье-Тенвиль, — тебе никто не предоставлял слова.

— Слышишь, Симон, тебе не предоставляли слова, — сказал Лорен. — Это во второй раз говорят тебе при мне. В первый раз это было, когда ты обвинял дочку Тизон, чтобы ей отрубили голову для твоего удовольствия.

Симон замолчал.

— Любила ли тебя мать, Капет? — спросил Фукье.

Прежнее молчание.

— Говорят, будто нет? — продолжал обвинитель.

Что-то похожее на бледную улыбку мелькнуло на губах ребенка.

— Ведь говорят вам, он сказал, что мать слишком любила его! — заревел Симон.

— Посмотри-ка, Симон, не досадно ли, что маленький Капет, такой разговорчивый наедине с тобой, делается немым при людях? — сказал Лорен.

— О, если бы только мы были вдвоем!

— Да, если б вы были вдвоем; но, к счастью, вы не вдвоем. О, если б вы были вдвоем, честный Симон, благородный патриот, как бы ты избил бедного ребенка! Но ты не один и не смеешь, подлое существо, перед честными людьми, которые знают, что древние, взятые нами за образец, щадили все слабое; ты не смеешь, потому что ты не один; да и не из честных, достойных людей, коли истязал детей ростом с мизинец!

— О! — заревел Симон, заскрежетав зубами.

— Капет, — продолжал Фукье, — признался ли ты в чем-нибудь Симону...

Во взгляде ребенка сверкнула невыразимая ирония.

— Насчет твоей матери, — продолжал обвинитель.

Ребенок посмотрел с презрением.

— Отвечай, да или нет? — вскричал Анрио.

— Отвечай «да»! — заорал Симон, замахнувшись шпандырем.

Ребенок вздрогнул, но не сделал ни малейшего движения, чтобы увернуться от удара.

Присутствующие испустили что-то вроде крика, возбуждаемого отвра-

щением. Лорен сделал еще лучше: он бросился со своего места, и прежде, чем рука Симона опустилась, схватил ее кисть.

— Отпустишь ли ты меня? — завопил Симон, побагровев от бешенства.

— Послушай, — продолжал Фукье, — нет ничего худого в том, что мать любит свое дитя; скажи же нам, Капет, как любила тебя мать? Это может принести ей пользу.

Малолетний узник вздрогнул при мысли, что может быть полезным своей матери.

— Она любила меня, — отвечал он, — как любит мать своего сына. Есть только один способ для матерей любить детей, и дети только одним способом любят свою мать.

— А, помнишь, змееныш, что мне говорил?.. А?..

— Тебе приснилось, Симон, — перебил Лорен.

— Лорен, Лорен! — закричал сапожник сквозь зубы.

— Ну да, Лорен! Что же дальше? Лорена трудно прибить — он сам колотит негодаев; на Лорена невозможно донести, потому что он удержал твою руку в присутствии генерала Анрио и гражданина Фукье-Тенвиля, и они одобряют это и не стали от этого холоднее! Лорена нельзя подвести под нож гильотины, как бедную Элоизу Тизон... Все это досадно, все это бесит тебя, мой бедный Симон!

— Ладно, ладно! Сочтемся после, — отвечал сапожник, рыча, как гиена.

— Да, любезный друг, — отвечал Лорен, — но я надеюсь с помощью Верховного Существа... слышишь, я сказал: «Верховного Существа»... — но я надеюсь с помощью Верховного Существа и моей сабли раньше распороть тебе брюхо... Ну-ка, посторонись, ты мешаешь мне видеть.

— Разбойник!

— Молчать! Мешаешь мне слушать!

И Лорен уничтожил Симона своим взглядом. Симон сжимал кулаки, грязью которых он так гордился, однако только этим и должен был ограничиться.

— Он начал говорить и, вероятно, будет продолжать, — сказал Анрио. — Спрашивай, гражданин Фукье.

— Будешь ты отвечать теперь? — спросил Фукье.

Ребенок снова замолчал.

— Видишь, гражданин, видишь! — сказал Симон.

— Удивительное упрямство, — заметил Анрио, смущенный этой чисто королевской гордостью.

— Его худо вышколили, — сказал Лорен.

— Кто же? — спросил Анрио.

— Разумеется, учитель.

— А!.. Ты обвиняешь меня! — вскричал Симон. — Доносишь на меня!.. Это любопытно!

— Попытаемся взять лаской, — сказал Фукье.

И, обратившись к ребенку, по-видимому, совершенно бесчувственному, продолжал:

— Что же, мой милый? Отвечайте национальной комиссии; не увеличивайте тяжесть вашего положения, отказываясь от полезных

показаний. Вы говорили гражданину Симону о том, как любила вас матушка, как выражала она свою любовь...

Людювик окинул собрание взором, который гневно остановился на Симоне, но не отвечал.

— Может быть, вы считаете себя несчастным? — продолжал обвинитель. — Может быть, вам не нравится помещение, пища, обхождение? Может быть, вы хотите более свободы, другой темницы, другого сторожа? Не хотите ли прогуливаться верхом на лошади, играть с вашими ровесниками?

Но Людювик снова впал в глубокое молчание, которое нарушил только для защиты матери. Комиссия не могла надвинуться твердости и уму ребенка.

— Какой же составить протокол? — спросил секретарь.

— Поручите Симону, — сказал Лорен. — Писать тут нечего, а это ему с руки.

Симон погрозил своему беспощадному неприятелю кулаком. Лорен расхохотался.

— Постой, не так посмеешься, когда будешь чихать в мешок! — сказал Симон, опьянев от бешенства.

— Не знаю, пойду ли раньше тебя или буду провожать тебя в церемонии, которой ты угрожаешь мне, — сказал Лорен, — но знаю только, что многие посмеются в тот день, когда дойдет до тебя очередь... боги!.. Слышишь, я сказал «боги»... вот противен-то, вот отвратителен-то будешь ты в этот день!

И Лорен с откровенным смехом стал позади комиссии.

Ей нечего было делать, и она удалилась; а ребенок, избавясь от допросчиков, опять запел на постели грустную песенку, которую так любил его отец.

XXXIX. БУКЕТ ФИАЛОК

Спокойствие, как и следовало предвидеть, не могло быть продолжительным в счастливом жилище Женевьевы и Мориса. В сильную грозу гнездо голубки качается вместе с деревом, на котором оно свито. Женевьеву ужасало если не одно, так другое; она более не боялась за Мезон Ружа, но трепетала за Мориса. Она знала, что если ее мужу удалось скрыться, то он спасен; но, уверенная в его безопасности, она дрожала за себя. Она не смела верить своих горестей человеку, наименее робкому в это бесстрашное время; но горести эти обнаруживались в ее покрасневших глазах и бледных губах.

Раз, когда Морис вошел незамеченным в комнату Женевьевы, она сидела, вытянув руки на коленях, в глубоком раздумье, опустив голову на грудь. Морис посмотрел на нее с истинным сожалением, потому что все происходившее в сердце молодой женщины было для него ясно, как хрусталь, и приблизился к ней на один шаг.

— Признайтесь, Женевьева, — сказал Морис, — вы больше не любите Францию; вы избегаете даже ее воздуха и с отвращением подходите к окну.

— Увы! — отвечала Женевьева. — Знаю, что я не могу скрыть от вас свою мысль: вы угадали ее, Морис... Я не останусь здесь, Морис, как злобный гений, не увлеку вас на эшафот!

— Куда же пойдете вы, Женевьева?

— Куда?.. Я сама подам на себя донос, не говоря, откуда я пришла. Я не хотела, чтобы моего брата схватили и убили как мятежника; я не хочу, чтобы моего любовника схватили и убили как изменника.

— И вы сделаете это, Женестьева? — вскричал Морис.

— Непременно, — отвечала молодая женщина. — Притом страх еще ничего бы, но у меня еще есть упрек совести.

И она опустила голову, как будто ей слишком тяжело было нести эти упреки.

— Вы понимаете, что я говорю и особенно что я чувствую, Морис, потому что и вас мучит совесть, — продолжала Женестьева. — Вы знаете, Морис, что я отдалась вам, не принадлежа себе; что вы взяли меня, хотя я не имела права отдаться...

— Довольно, довольно! — сказал Морис.

Лоб его покрылся складками, и в чистых глазах сверкнула какая-то мрачная мысль.

— Я докажу вам, Женестьева, что люблю только вас одну; докажу, что нет никакой жертвы выше моей любви! Вы ненавидите Францию — хорошо! Мы оставим Францию.

Женестьева сложила руки и посмотрела на Мориса с восторженным удивлением.

— Вы не обманываете меня, Морис? — прошептала она.

— Когда же я обманул вас? — спросил Морис. — Не в тот ли день, когда отказался от своей чести, чтобы владеть вами?

Женестьева обняла его

— Ты прав, мой друг, — сказала она. — Это я обманула себя. Я чувствую не угрызения совести, хотя это, может быть, и доказывает упадок моей души, но страх потерять тебя. Уйдем отсюда, уйдем далеко, чтобы никто не мог нас догнать!

— О, благодарю! — воскликнул Морис вне себя от радости.

— Но куда же бежать? — спросила Женестьева, вздрогнув при этой ужасной мысли. — Теперь нелегко избежать кинжала убийц 2 сентября и топора палачей 21 января.

— Бог поможет нам, Женестьева, — сказал Морис — Добро, которое я хотел сделать в этот несчастный день 2 сентября, приносит теперь свою награду. Мне хотелось спасти бедного священника, с которым я учился на одной скамье. Я пошел к Дантону, и по его просьбе Комитет общественного благополучия подписал паспорт этому несчастному и его сестре. Дантон вручил этот паспорт мне; но несчастный священник вместо того, чтобы прийти за ним ко мне, как я советовал, был заключен в Карм — и там умер

— Где же паспорт? — спросила Женестьева.

— У меня; теперь он стоит миллионов, стоит более миллионов, Женестьева, — стоит жизни, стоит счастья!

— Благодарю, благодарю тебя, господи! — вскричала молодая женщина.

— Имени мое, как тебе известно, состоит из земли, которой заведует старый слуга, преданный нашему семейству, чистейший патриот, благородная душа. Мы вполне можем ввериться ему, и он будет посылать мне доходы, куда бы я ни захотел. Дорогою мы заедем к нему.

— А где он живет?

— В Аббевилле.

— Когда отправимся мы, Морис?

— Через час.

— Надо, чтобы не знали, что мы едем.

— Никто не узнает. Я сбегаяю к Лорену: у него есть кабриолет без лошади, у меня лошадь без экипажа; мы уедем тотчас же, как он вернется. Ты, Женестьева, останешься здесь и пригостишь все нужное к отъезду. Нам не надо лишних вещей: в Англии можно закупить все что угодно. Я ушлю Спеволу под каким-нибудь предлогом из дома. Лорен объяснит ему наш отъезд сегодня вечером, а к вечеру мы уже будем далеко отсюда.

— А если нас задержат в дороге?

— Разве нет у нас паспорта? Мы поедем к Гюберу — так зовут управляющего. Гюбер служит в Аббевилльском муниципалитете; от Аббевилля он проводит нас до Булони, мы купим или найдем барку. Притом же я могу сходить в Комитет и выпросить себе какие-нибудь поручения в Аббевилль... Впрочем, нет, не надо хитрости! Не правда ли, Женестьева? Добьемся счастья, рискуя своей жизнью.

— Да, да, мой друг, и нам удастся это... Но как от тебя пахнет духами, друг мой! — сказала женщина, склонившись лицом на грудь Мориса.

— Сегодня утром я купил для тебя во дворце Эганитэ букет фиалок; но, войдя сюда в комнату и видя тебя печальной, я думал только о твоей печали.

— Дай же мне, дай этот букет.

И Женестьева начала нюхать букет с фанатизмом, какой почти всегда обнаруживают нервические натуры при сильных ароматах.

И вдруг глаза ее наполнились слезами.

— Что с тобой? — спросил Морис.

— Бедная Элоиза, — отвечала Женестьева.

— Да! — вздохнув, сказал Морис. — Но будем лучше думать о себе, друг мой, и к какой бы партии ни принадлежали умершие, оставим их почивать в могиле, которую вырыла им преданность. Прощай же, я ухожу.

— Воротись поскорее.

— Через полчаса, не позже.

— А если Лорена нет дома?

— Все равно, слуга знает меня; притом же я могу брать у Лорена что мне угодно даже в его отсутствие, так же как и он может распоряжаться у меня... А ты покуда приготовь, как я сказал, только самое необходимое. Надо, чтобы наш отъезд не походил на перевозку.

— Будь спокоен.

Молодой человек подошел к двери.

— Морис, — вернула его Женестьева.

Он оглянулся и увидел, что Женестьева простирает к нему руки.

— До свидания, до свидания, друг мой! — сказал он. — Люби и мужайся!.. Через полчаса я буду здесь.

Женестьева, как мы уже сказали, осталась одна готовить все необходимое для отъезда. Сборы эти прошли в каком-то лихорадочном волнении. Ей казалось, что, покуда она будет оставаться в Париже, на ней будет тяготеть двойное преступление; но что за пределами Франции, за границей, оно делается легче. Женестьева даже надеялась, что уединение

совершенно изгладит в ней память о существовании другого человека, кроме Мориса.

Они условились бежать в Англию, купить там загородный домик, уединенный, скрытый от всех глаз, нанять двух слуг, которые бы ничего не знали об их прошлом; переменить свои фамилии и слить их в одну. К счастью, Морис и Женевьева говорили по-английски. Ни он, ни она не оставляли во Франции ничего такого, о чем бы могли сожалеть, если не считать матери, о которой всегда грустишь, хотя бы даже была она мачехой, и которую зовут родиной.

Итак, Женевьева начала раскладывать вещи, необходимые для путешествия или, вернее, для бегства. Ей чрезвычайно было приятно останавливаться на тех, которые наиболее нравились Морису: на фраке, который лучше других обрисовывал его талию, на галстукке, который лучше шел к его лицу, на книгах, которые он перелистывал чаще прочих. Она уже выбрала все: платье, белье, узлы уже лежали на стульях, диванах, фортепиано в ожидании укладки в сундуки, как вдруг ключ заскрипел в замочной скважине.

«А, это Сцевола, — подумала Женевьева. — Верно, Морис встретил его».

И она продолжала раскладывать вещи.

Двери гостиной были растворены; в прихожей послышались шаги. Женевьева держала в эту минуту сверток нот, отыскивая шнуток, чтобы связать его.

— Сцевола! — крикнула она.

Шаги приблизились к смежной комнате.

— Сцевола! — повторила Женевьева. — Войдите, пожалуйста.

— К вашим услугам! — раздался голос.

Звук этого голоса заставил Женевьеву обернуться, и она испустила ужасающий крик.

— Муж мой!

— Я самый, — спокойно отвечал Диксмер.

Женевьева стояла на стуле, отыскивая что-то в шкафу; она чувствовала, что голова ее кружится, протянула руку и опрокинулась назад, желая в это мгновение, чтобы за нею была поглощающая пропасть.

Диксмер поддержал жену и, отнеся ее на софу, сел возле.

— Что с вами, друг мой? Что с вами? — спросил Диксмер. — Неужели мое присутствие так неприятно подействовало на вас?

— Я умираю... — проговорила Женевьева, падая навзничь и прижимая ладони к глазам, чтобы не видеть страшного явления.

— Так вы думали, друг мой, что я помер?.. Вы считаете меня привидением?

Женевьева посмотрела вокруг себя блуждающими глазами и, заметив портрет Мориса, соскользнула с дивана и упала на колени, как будто прося помощи у этого бессильного и бесчувственного изображения, продолжавшего улыбаться.

Женщина понимала, какие угрозы скрывались под принужденным спокойствием Диксмера.

— Да, моя милая, — продолжал кожевник. — Это я!.. Может быть, вы думали, что я далеко отсюда; однако я остался в Париже. На другой день

после того как я ушел из дому, я возвратился и нашел вместо него славную грудку пепла. Я справлялся о вас, но не мог добиться ответа. Кинулся искать и насылу нашел. Признаюсь, я не думал, чтобы вы были здесь; однако у меня были кое-какие подозрения: иначе я не пришел бы сюда. Но главное то, что мы оба здесь... А, кстати, здоров ли Морис?.. Я уверен, что вы жестоко мучились, вы, такая ревностная роялистка, попав под одну крышу с неистовым республиканцем.

— О, сжальтесь, сжальтесь надо мною! — проговорила Женевьева.

— Впрочем, — продолжал Диксмер, осматриваясь, — меня утешает, моя милая, что вы здесь поместились очень приятно и, кажется, не могли пожаловаться на тягость изгнания. А я после того, как сгорел мой дом и поггло в огне все мое имущество, жил в погребах, в корабельных трюмах, а порой и в сточных трубах, проведенных в Сену.

Женевьева хотела перебить его, но он продолжал:

— У вас на столе прекрасные, сочные плоды, а я частенько довольствовался одним десертом... за неимением обеда...

Женевьева зарыдала и закрыла лицо руками.

— Не потому, — продолжал Диксмер, — чтоб у меня не было денег. Благодаря богу я захватил на всякий случай тысяч тридцать франков золотой монетой, что в настоящее время стоит пятисот тысяч франков; но угольщику, трипичнику, рыболову трудно вынуть из кармана лувдор, чтобы купить кусок сыру или сосиску... Да, сударыня, я скрывался поочередно в каждой из этих трех ролей; а теперь, чтобы еще лучше преобразиться, сделался самым записным патриотом, марсельцем: картавлю и ругаюсь. Еще бы! Изгнаннику не так легко скрываться в Париже, как молодой и хорошенькой женщине, и у меня, к несчастью, в числе знакомых не было ревностной республиканки, которая бы могла запрятать меня.

— Ради бога, пожалейте, пожалейте меня, я умираю! — вскричала Женевьева.

— От беспокойства — это понятно: вы очень беспокоились за меня; но утештесь — я здесь, возвращаюсь, и мы уж никогда не разлучимся.

— Вы убиваете меня! — вскричала Женевьева.

Диксмер посмотрел на нее с ужасающей улыбкой.

— Убивать невинную женщину!.. Что это вы говорите, сударыня! Верно, печаль обо мне повредила вам рассудок.

— Милостивый государь, — вскричала Женевьева, — умоляю вас, лучше убейте меня, но не мучьте такими жестокими насмешками!.. Нет, я не невинна; да, я преступница; да, я достойна смерти!.. Убейте меня, убейте...

— Так вы сознаетесь, что вы достойны смерти?

— Да, да!

— И что, желая искупить неизвестное мне преступление, в котором вы обвиняете себя, вы пойдете на эту смерть безропотно?

— Убивайте меня, я даже не вскрикну, и вместо того, чтобы проклинать, напротив, благословляю руку, которая паразит меня!

— Нет, сударыня, я не хочу убивать вас. Однако вы умрете, это очень вероятно, но только смерть ваша будет не постыдная, чего вы опасаетесь, а самая славная... Благодарите же меня, сударыня, я награжу вас бессмертием.

— Что же вы сделаете?

— Вы дойдете до цели, к которой все мы стремились, пока не были остановлены на пути... Вы умрете за себя и за меня, умрете за всех...

— Но вы сведете меня с ума такими словами. Куда же ведете вы, куда влечете меня?

— Вероятно, к смерти.

— В таком случае позвольте мне прочитать молитву.

— Молитву?

— Да.

— Кому?

— Что вам за дело? Если вы убиваете меня — я плачу свой долг, и когда я заплачу, то не буду вам должна.

— Справедливо, — заметил Диксмер, уходя в другую комнату. — Я жду вас.

И он вышел из гостиной.

Женевьева стала на колени перед портретом, прижимая руки к сердцу, готовому разбиться.

— Морис, — шептала она, — прости меня!.. Я не ждала себе счастья, но надеялась тебя сделать счастливым. Морис, я отнимаю счастье, которое было для тебя жизнью: прости же мне смерть, прости, мой возлюбленный!

И, отрезав локон своих длинных волос, она обвязала его букетом фиалок и положила перед портретом, по которому, как ни было бесчувственно немое полотно, как будто мелькнуло горестное выражение прощания. По крайней мере, так показалось Женевьеве сквозь слезы.

— Что же, сударыня, готовы? — спросил Диксмер.

— Так скоро! — прошептала Женевьева.

— О, я не тороплю вас, — сказал кожевник, — мне некуда спешить. Притом Морис, может быть, скоро вернется, и мне хотелось бы поблагодарить его за оказанное вам гостеприимство. Женевьева вздрогнула при мысли, что ее муж и любовник могут встретиться.

Она встала, как будто какая-то пружина толкнула ее.

— Конечно. Я готова, — сказала она.

Диксмер вышел первый. Женевьева последовала за ним с полузакрытыми глазами и опущенной головой. Они сели в фиакр, дожидавшийся у дверей; экипаж покатился.

И, как сказала Женевьева, все было кончено.

XL. ХАРЧЕВНЯ «НОЕВ КОЛОДЕЦ»

Человек в карманьолке, который, как мы видели, шагал вдоль и поперек по Залу пропавших шагов и, как мы слышали во время экспедиции архитектора Жиро, генерала Анрио и Рипара, обменялся несколькими словами с тюремщиком, оставленным стеречь дверь подземелья, — этот отъявленный патриот в медвежьем колпаке, выдававший себя за гражданина, несшего голову принцессы Ламбаль, на другой день после этого вечера, исполненного сильных ощущений, вошел в семь часов после обеда в харчевню «Ноев Колодец», находившуюся, как известно, на углу улицы Виель-Драпри.

Он сидел здесь у винооторговца или, вернее, винооторговки, в глубине

комнаты, черной и закопченной табаком и свечами, делая вид, будто пожирает какую-то рыбу, изжаренную в грязном коровьем масле. В столовой, где он ужинал, не было почти никого, кроме двух или трех посетителей, которые остались долее прочих, пользуясь преимуществом постоянных гостей заведения. Столы большей частью были пусты; но к чести харчевни «Ноев Колодец» следует сказать, что красные или фиолетовые скатерти свидетельствовали о порядочном числе насыщенных гостей. Три последних гостя исчезли один за другим, и к четверти девятого патриот остался совершенно один.

Тогда с самым аристократическим отвращением он отодвинул грубое кушанье, которым, по-видимому, так наслаждался только что, вынул из кармана палочку испанского шоколада и начал есть его медленно, уже совершенно не с тем выражением, которое, как мы видели, прежде он старался придать своей физиономии.

Время от времени, кусая испанский шоколад, хрустевший под зубами, и черный хлеб, он с беспокойством и нетерпением поглядывал на стеклянную дверь, задернутую занавеской в красную и белую клетку; прислушивался и прерывал свой скудный завтрак с рассеянностью, заставлявшей порядочно призадумываться хозяйку, которая, сидя за конторкой почти возле самой двери, привлекавшей глаза патриота, могла без особенной самоуверенности счесть себя за предмет его мыслей.

Наконец колокольчик у входа зазвенел каким-то особенным тоном, от которого вздрогнул патриот; он опять принялся за рыбу и так, чтобы не заметила хозяйка харчевни, половину бросил собаке, умяльно смотревшей ему в глаза, а другую кошке.

Дверь с клетчатой занавеской открылась, и вошел гость, одетый почти так же, как наш патриот, но с той разницей, что вместо меховой шапки на нем был красный колпак. На поясе незнакомца висела связка ключей и широкая пехотная сабля с медным эфесом.

— Супу и бутылку! — крикнул гость, входя в общий зал, не дотронувшись до красного колпака и только кивнув хозяйке, и потом со вздохом усталого человека расположился возле стола, за которым ужинал патриот.

Хозяйка из уважения к новому посетителю пошла сама на кухню заказать требуемое. Двое гостей повернулись друг к другу спиной: один смотрел на улицу, другой на дверь, бывшую в глубине комнаты, и не обменялись ни словом до тех пор, пока хозяйка не скрылась совершенно. Когда же дверь захлопнулась за ней и при мерцании единственной сальной свечки, подвешенной на железной проволоке, но так искусно, что свет делился поровну между двумя гостями, наконец, при этом освещении человек в меховой шапке убедился с помощью зеркала, стоявшего перед ним, что в комнате нет никого.

— Здравствуй, — сказал он своему товарищу, не оборачиваясь.

— Здравствуйте, сударь, — сказал новопришедший.

— Ну, что? — спросил патриот с прежним притворным равнодушием. — Как дела?

— Кончено!

— Что кончено?

— Как условились мы, так я и сделал — разошелся с Ришаром под предлогом, что худо слышу, худо вижу, и в присутствии всей регистратуры притворился больным, упал в обморок.

— Прекрасно. А потом?

— Потом Ришар крикнул жену; она принялась тереть мне виски уксусом, и я пришел в чувство.

— Славно. Далее.

— Далее, по нашему уговору, я сказал, что от недостатка воздуха у меня слабеет зрение, потому, дескать, что я сангвиник и что служба в Консьержери, где содержалось в это время четыреста заключенных, убьет меня.

— Что же отвечали тебе?

— Жена Ришара пожалела меня.

— А сам Ришар?

— Выгнал меня за дверь.

— Но этого мало, что он тебя выгнал.

— Подождите... Тогда старуха Ришар, женщина добрая, стала упрекать его; говорила, что это бесчеловечно, что я отец семейства и прочее.

— И он сказал на это?..

— Сказал, что он совершенно согласен с ней, но что первое условие для тюремщика — жить в тюрьме, при которой он служит, что республика не любит шутить и что она рубит головы тем, с кем на службе делаются обмороки.

— Ого! — заметил патриот.

— И Ришар был прав; с тех пор как в тюрьме австриячка, служба там сущий ад.

Патриот дал собаке облизать тарелку.

— Дальше, — сказал он не оборачиваясь.

— Наконец, сударь, я принялся стонать, то есть со мною сделалось очень дурно, я попросился идти в больницу и уверил, что мои дети перемрут с голоду, если прекратится мое жалованье.

— И что же отвечал Ришар?

— Отвечал, что тюремщику не следует иметь детей.

— Но ведь за тебя, кажется, вступилась старуха Ришар.

— Хорошо, что так! Она затеяла с мужем историю, говорила, что он человек без сердца, и наконец Ришар сказал мне: «Так вот что, гражданин Гракх, уговорись с кем-нибудь из приятелей, чтоб он отдавал тебе частицу из своего жалованья, представь его мне вместо себя, а я даю слово, что он будет принят». И после того я ушел, сказав: «Хорошо, гражданин Ришар, пойду»

— И нашел, любезнейший... а?

В эту минуту хозяйка харчевни возвратилась с супом и бутылкой для гражданина Гракха. Но появление хозяйки было некстати ни для Гракха, ни для патриота, которым надо было еще кое о чем переговорить.

— Гражданка, — сказал тюремщик, — сегодня дядя Ришар дал мне награждение, значит, можно разгуляться на свиную котлетку с огурчиками да на бутылочку бургундского... Откомандируй-ка служанку да прогуляйся в погребок.

Хозяйка тотчас же сделала нужные распоряжения. Служанка вышла дверь, которая вела на улицу, а хозяйка отправилась в погребок.

— Недурно устроил, — заметил патриот. — Ты малый со смыслом.

— Да еще с таким смыслом, что, несмотря на ваши лестные обещания, не скрываю от себя, чем рискуем мы оба, если все это дойдет до Комитета общественной безопасности. Знаете вы чем?

— Разумеется.

— Мы оба рискуем своей головой.

— За мою не бойся.

— Да, сказать правду, боюсь-то я не за вашу голову.

— Так за свою?

— Точно так.

— А если я плачу за нее вдвое больше, чем она стоит?

— Все-таки голова — очень дорогая вещь.

— Только не твоя.

— Как не моя?

— По крайней мере, в настоящую минуту.

— Что это значит?

— А то, что голова твоя не стоит ни обولا, потому что если б я был, например, агентом Комитета общественной безопасности, то тебя завтра же свели бы на гильотину.

Тюремщик обернулся так быстро, что на него залаяла собака, и побледнел как смерть.

— Не оборачивайся и не бледней, — сказал патриот, — а, напротив, доедай спокойно свой ужин. Я вовсе не агент, вызывающий на откровенность. Введи меня завтра в Консьержери, определи на свое место, передай ключи — и завтра же я отчитаю тебе пятьдесят тысяч ливров золотом.

— И это верно?

— О, я даю тебе чудесный залог — мою голову.

Тюремщик задумался.

— Не размышляй, пожалуйста, — сказал патриот, видя его в зеркале. — Если ты донесешь на меня — ты исполнишь только свой долг, и республика не даст тебе ни одного су; если же, напротив, будешь служить мне и изменишь этому самому долгу — то несправедливо было бы заставлять тебя делать что-нибудь даром, и я дам тебе пятьдесят тысяч ливров.

— О, я очень понимаю, что гораздо выгоднее исполнить вашу просьбу, но опасуюсь последствий.

— Последствий!.. Чего тебе бояться их?.. Уж, верно, я не пойду доносить на тебя.

— Разумеется.

— На другой день после того, как я поступлю на службу, ты пойдешь осматривать Консьержери, и я дам тебе двадцать пять свертков, в каждом по две тысячи франков; свертки эти легко поместятся в двух карманах. Вместе с деньгами я дам тебе пропуск из Франции: ты уедешь, и где бы ты ни был, ты будешь если не богат, то, по крайней мере, человек независимый.

— Хорошо, будь что будет! Я бедняк, не вмешиваюсь в политику. Франция жила без меня и не пропадет без меня. Если поступок ваш дурен — вам же хуже.

— Во всяком случае, я поступаю не хуже других.

— Позвольте мне, сударь, не рассуждать о политике.

— Вот примерная философия и беспечность! Однако когда же ты отркомендуешь меня Ришару?

— Да хоть сегодня вечером, если вам угодно.

— Разумеется. Кто же я такой?

— Мой двоюродный брат, Мардош.

— Мардош!.. Славное имя. А по ремеслу?

— От торговца кожаными штанами до кожевника рукой подать.

— А разве вы кожевник?

— Мог бы сделаться им.

— Возможно.

— А в котором часу последует мое представление?

— Пожалуй, хоть через полчаса.

— Лучше в девять часов.

— А когда я получу деньги?

— Завтра.

— Значит, вы ужасный богач.

— Так себе, не нуждаюсь.

— Верно, из «бывших»?..

— Не твое дело.

— Иметь деньги и бросать деньги, рискуя попасть под гильотину! Воля ваша, «бывшие» очень глупы.

— Что делать. У санколотов столько ума, что другим ничего не осталось.

— Тише!.. Несут вино.

— Так до свидания... вечером... напротив Консьержери.

— Знаю.

Патриот расплатился и вышел.

За дверями раздался громовой голос.

— Шевелись же, гражданка! Подавай котлеты с огурчиками. Брат мой Гракх умирает с голоду!

— Экий молодец этот Мардош, — сказал тюремщик, пробуя стакан бургундского, который наливала ему хозяйка, устремив на гостя нежный взгляд.

XLI. РЕГИСТРАТОР ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА

Патриот вышел, но не удалился. Сквозь закоптелые окна он наблюдал за тюремщиком, чтобы убедиться, не заведет ли он речи с каким-нибудь агентом республиканской полиции, одной из самых лучших когда-либо существовавших полиций, потому что одна половина общества следила за другой не столько ради славы правительства, сколько для безопасности собственной головы.

И не случилось ничего такого, чего мог бы опасаться наш патриот. Около девяти часов тюремщик встал, потрепал тратирщицу за подбородок и вышел.

Патриот встретился с ним на набережной Консьержери, и они вошли вдвоем в темницу.

В тот же вечер уговор состоялся, и Мардош определился тюремщиком на место Гракха.

За два часа перед тем, как это дело улаживалось в квартире тюремного придверника, в другой части тюрьмы тоже происходила сцена, хотя, по-видимому, и нелюбопытная, но тем не менее весьма важная для действующих лиц этой истории.

Регистратор Консьержери, измученный дневной службой, уже собрал списки и собирался уходить, как вдруг перед его конторкой появился человек, пришедший гражданином Ришар.

— Гражданин регистратор, — сказала она, — ваш сослуживец, из военного министерства, прислан гражданином министром проверить списки военных преступников.

— Поздненько, гражданин, — сказал регистратор, — я уже спрятал бумаги.

— Извините, любезный сослуживец, — отвечал новопришедший, — но у нас такая тьма работы, что разъезжаешь только в свободное время, а свободное время бывает у нас тогда, когда другие ужинают и ложатся спать.

— Если так, то извольте, любезный товарищ, но только, пожалуйста, поторопитесь; теперь, как вы сказали, пора ужинать, а я ужасно проголодался. Есть у вас полномочие?

— К вашим услугам, — сказал регистратор военного министерства, вытащив из портфеля бумаги, которые товарищ его, как ни торопился уйти, однако пересматривал с величайшим вниманием.

— О, тут все в порядке, — сказала жена Ришара, — мой муж и я все освидетельствовали.

— А все-таки надо, все-таки надо, — сказал регистратор, продолжая рассматривать.

Регистратор военного министерства ждал очень терпеливо, как человек, готовый к подобным формальностям.

— Все в порядке, можете приступить к делу, когда вам будет угодно, — сказал тюремный регистратор. — А много списков надо вам проверить?

— Около сотни.

— В таком случае вам придется поработать не один день.

— Потому-то, любезный товарищ, я намерен завести у вас маленькое отделенье, разумеется, с вашего позволения.

— Как понимать это?

— А вот я познакомлю вас с моей женой — отличная стряпуха, а потом вы познакомитесь со мной: я добрый малый.

— Оно и видно; однако, любезный товарищ...

— Пожалуйста, без церемоний; я куплю дорогою устриц на площади Шатле да захвачу цыпленка в мясной, и мадам Дюран приготовит нам два-три отличных блюда.

— Право, любезный товарищ, вы соблазните меня, — сказал тюремный регистратор, ослепленный таким великолепным ужином, недоступным для чиновника, который получал в месяц всего-навсего десять ливров ассигнациями, в сущности же, едва стоивших два франка.

— Так, значит, вы не отказываетесь?

— Куда ни шло!

— В таком случае работу до завтра, а сегодня гуляем.
— Гуляем.
— Куда же вы?
— Сию минуту, надо только предупредить жандармов, которые стерегут австриячку.

— Это для чего?
— А чтобы они знали, что я ушел, и, следовательно, зная, что никого нет в регистратуре, обращали бы внимание на каждый шорох.

— Прекрасная предосторожность!

— Теперь вы понимаете меня?

— Понимаю. Идемте.

Тюремный регистратор постучался в дверцу, и один из жандармов отпер ее с вопросом:

— Кто там?

— Я... регистратор... ухожу. Прощай, гражданин Жильбер!

— Прощай, гражданин регистратор. — И дверца захлопнулась.

Регистратор военного министерства наблюдал эту сцену с величайшим вниманием, и покуда дверь темницы королевы оставалась растворенной, украдкой заглянул в первую половину: он увидел жандарма Дюшена, сидевшего у стола, и, следовательно, убедился, что при королеве состоят только два сторожа.

Само собой разумеется, когда тюремный регистратор обернулся, товарищ его придал своей физиономии вид совершеннейшего равнодушия.

При выходе из Консьержери им встретились два человека — гражданин Гракх и двоюродный брат его Мардош.

Кузен Мардош и военный регистратор, каждый как будто повинуваясь толчку одного и того же чувства, встретившись, надвинули себе на глаза один меховую шапку, другой — шляпу с широкими полями.

— Это что за люди? — спросил военный регистратор.

— Я знаю только одного — это тюремщик Гракх.

— А, значит, тюремщикам позволено выходить из Консьержери?

— В определенные дни.

Военный регистратор не наводил дальнейших справок. Два новых приятеля свернули на мост Шанж, на углу площади Шатле регистратор купил, как обещал, корзинку с двенадцатью дюжинами устриц, и потом они продолжали путь до Гревской набережной.

Квартира военного регистратора была простенькая. три комнаты на Гревскую площадь в доме без привратника. У каждого жильца был особый ключ от своей двери, выходящей на улицу, и они условились, на случай, если кто-нибудь позабыл свой ключ, стучать молотком один, два или три раза, смотря по тому, в котором кто жил этаже. Лицо, дожидавшееся другого, узнавало его по этому знаку, спускалось с лестницы и отпирало дверь. У гражданина Дюрана ключ был в кармане, и ему не пришлось стучать. Поднялись на второй этаж; Дюран вынул другой ключ и вошел в квартиру.

Военная регистраторша очень понравилась тюремному регистратору: в самом деле это была хорошенькая женщина, которая с первого взгляда могла заинтересовать каждого печалью, разлитой по ее физиономии. Замечательно, что печаль самая соблазнительная прелесть в молодой женщине: печаль

заставляет влюбиться любого мужчину, не исключая даже тюремного регистратора.

Новые знакомые поужинали с большим аппетитом; одна только мадам Дюран ничего не ела. С обеих сторон сыпались вопросы. Военный регистратор спросил у своего товарища с любопытством, довольно замечательным в эту эпоху каждодневных драм, и что передается в Суд, и когда решаются дела, и какой там надзор. Тюремный регистратор, очень довольный тем, что его слушают с вниманием, отвечал охотно, рассказывал о правах и привычках тюремщиков, о Фукье-Тенвиле и, наконец, о гражданине Сансоне, главном актере трагедии, которая каждый день разыгрывалась на площади. Потом, обращаясь к товарищу, начал, в свою очередь, осведомляться, как идут дела в его министерстве.

— О, между нами огромная дистанция, — отвечал Дюран. — Я далеко не такая важная особа, как вы, и потому не могу знать того, что там делается. Надо вам сказать, что я скорее секретарь регистратуры, нежели настоящий регистратор, и исполняю должность главного регистратора. Я человек темный, работаю, а другие пожидают лавры; таков обычай во всех присутственных местах Франции, даже республиканских. Небо и земля, может быть, изменятся когда-нибудь, бюрократия же наша никогда не изменится.

— Пожалуй, я буду вам помогать, — сказал тюремный регистратор, восхищенный добрым видом своего хозяина и в особенности прекрасными глазами госпожи Дюран.

— О, весьма благодарен вам, — отвечал тот, кому было сделано это милое предложение, — всякая перемена в месте или привычках приятно разнообразит жизнь бедного чиновника, и я скорее сожалел бы, что моя работа в Консьержери кончилась, нежели стал бы роптать, что она долго тянется... разумеется, если бы мне можно было каждый вечер брать с собою мадам Дюран, которая иначе будет томиться здесь от скуки.

— Я не вижу никакого препятствия, — отвечал тюремный регистратор, восхищенный приятным развлечением, которое обещал ему товарищ.

— Она будет мне диктовать роспись, — продолжал Дюран, — а я стану писать, а потом, по окончании работы, если нынешний ужин не очень дурен, вы иногда зайдете ко мне поужинать.

— Но только не очень часто, — наивно отвечал тюремный регистратор. — Если я буду возвращаться позже обычного, меня распекут в одной квартире на улице Пти-Мюск.

— И дела наши устроятся как нельзя лучше, — сказал Дюран, — не правда ли, моя милая?

Мадам Дюран, бледная и по-прежнему печальная, подняла глаза на мужа и отвечала:

— Как вам угодно.

Пробило одиннадцать часов; пора было расходиться. Тюремный регистратор встал и простился со своими новыми друзьями, выразив им удовольствие, какое внушили ему знакомство с ними и ужин.

Гражданин Дюран проводил гостя до лестницы и, вернувшись, сказал:

— Пора, Женестьева, ложитесь спать.

Женщина, не отвечая, встала, взяла лампу и ушла в правую дверь.

Дюран, или, вернее, Диксмер, посмотрел ей вслед, постоял несколько

секунд в задумчивости и потом ушел в свою комнату, находившуюся на противоположной стороне.

XLII. ДВЕ ЗАПИСКИ

Начиная с этого дня, регистратор военного министерства аккуратно каждый вечер занимался в конторе своего товарища — тюремного регистратора; мадам Дюран готовила бумаги, а муж их переписывал. Дюран наблюдал за всем, по-видимому, не обращая ни на что внимания. Он заметил, что каждый вечер, ровно в десять часов, Ришар или его жена приносили корзинку с провизией и оставляли ее у дверей. В ту минуту как регистратор говорил жандарму: «Я ухожу, гражданин», — жандарм Жильбер или Дюшен брал корзинку и относил к Марии-Антуанетте. Три вечера кряду, покуда Дюран долее обыкновенного оставался за своими делами, корзинка, также долее обыкновенного, оставалась у дверей, потому что, только отворяя дверь, чтобы проститься с регистратором, жандарм брался за провизию. Подав в комнату полную корзинку, жандарм через четверть часа брал пустую, поданную накануне, и ставил ее на место первой.

На четвертый день вечером — это было в начале октября — после обычного заседания, когда тюремный регистратор уже удалился, а Дюран, он же Диксмер, остался один с женой, бросил перо, оглянулся вокруг и, прислушиваясь с таким вниманием, как будто от этого зависела его жизнь, вскочил со своего места, подбежал неслышными шагами к тюремной двери, приподнял салфетку, которой была накрыта корзинка, и воткнул в мягкий хлеб узницы крошечный серебряный футлярчик. Потом, бледный и дрожащий от волнения, вернулся на свое место и положил одну руку себе на лоб, другую на сердце. Женевьева смотрела на мужа, но не произнесла ни слова; после того как муж увез ее из квартиры Мориса, она обыкновенно ждала, что Диксмер заговорит первый. Но в этот раз Женевьева прервала молчание.

— Это на нынешний вечер? — спросила она.

— Нет, на завтрашний, — отвечал Диксмер.

Он встал, снова прислушался, потом сложил бумаги и, подойдя к келье, постучал в дверь.

— Что надо? — спросил Жильбер.

— Я ухожу, гражданин.

— Прощайте, — сказал жандарм из комнаты.

— Прощайте, гражданин Жильбер.

Дюран услышал скрип задвижки; он понял, что жандарм отворил дверь, и ушел.

В коридоре, ведущем из квартиры Ришара во двор, он натолкнулся на тюремщика в меховой шапке, который встряхивал тяжелой связкой ключей. Диксмер испугался. Человек этот грубый, как все люди его сословия, мог окликнуть его, увидеть, может быть, даже узнать. Дюран надвинул на глаза шляпу, между тем как Женевьева закрыла свое лицо черной мантилей.

Дюран ошибся.

— Извините, — проговорил тюремщик, хотя, собственно, не он натолкнулся, а его самого толкнули.

Диксмер вздрогнул при этом приятном и вежливом голосе; но тюремщик, вероятно, торопился: он проскользнул в коридор, отпер дверь Ришара и скрылся. Диксмер продолжал идти, таща за собой Женевьеву.

— Странно! — сказал он, когда дверь захлопнулась за ним и воздух освежил его горевший лоб.

— Да, странно! — прошептала Женевьева.

Во время взаимной откровенности супруги сообщили бы друг другу причину своего удивления; но теперь Диксмер запер двери мыслей, а Женевьева удовлетворялась тем, что, свернув за угол моста Шанж, взглянула в последний раз на мрачную тюрьму, где что-то похожее на призрак потерянного друга мелькнуло в ее воображении, пробудив в ее душе горестные и вместе с тем приятные воспоминания.

Супруги, не обменявшись ни словом, дошли до Гревской площади.

В это время жандарм Жильбер вышел из кельи и взял корзинку с провизией, назначенной для королевы. В корзинке были плоды, жареный цыпленок, бутылка белого вина, графин воды и половина двухфунтового хлеба.

Жильбер, приподняв салфетку и, удостоверившись, что припасы эти были точно в таком же порядке, как уложил их гражданин Ришар, отодвинул ширмы.

— Гражданка, принесли ужин! — сказал он громко.

Мария-Антуанетта разломилла хлеб, но едва ее пальцы коснулись его, как она почувствовала холод металла и тотчас поняла, что хлеб заключал в себе что-то необыкновенное; потом она посмотрела вокруг себя, но жандарм уже вышел.

Королева несколько секунд сидела неподвижно, слушая, как постепенно он удалялся, и, когда убедилась, что он сел возле своего товарища, вынула футляр из хлеба. В футляре была следующая записка.

«Будьте готовы завтра в то же время, когда вы получите эту записку, потому что завтра в этот самый час одна женщина войдет украдкой в темницу вашего величества. Женщина эта наденет ваше платье и отдаст вам свое; потом вы выйдете из Консьержери под руку с одним из преданнейших слуг.

Не беспокойтесь о шуме, который услышите в первой комнате, не останавливайтесь ни на крик, ни на стоны; старайтесь только поскорее надеть платье и мантилью женщины, которая займет место вашего величества».

— О, преданность! — прошептала королева. — Благодарю тебя, господин! Я еще не так ненавидима всеми, как говорили.

Она еще раз прочитала записку, и тогда ее поразил второй абзац.

— Не останавливайтесь ни на крики, ни на стоны, — прошептала она. — О, это значит, что будут убивать моих сторожей, бедных людей, которые выказали столько жалости ко мне... О, никогда, никогда!

Она оторвала чистую половину записки, и так как не могла ни карандашом, ни пером отвечать неизвестному другу, который так беспокоился о ней, то вынула булавку из своего воротника и проколола на бумаге буквы, составившие следующие слова:

«Я не могу и не должна принимать ничьей жизни взамен моей собственной. М. А.».

Потом она вложила бумажку в футляр и всунула его в другую половину разломанного хлеба.

Едва она успела сделать это, как часы начали бить десять. Королева, держа в руке хлеб, печально считала удары колокола, медленно и с расстановкой дрожавшие в воздухе, как вдруг услышала у одного из окон, выходящих во двор, называемый «женским двором», резкий звук, похожий на скрип стекла, когда его режут алмазом. За этим шумом послышался легкий удар в стекло, повторившийся несколько раз и намеренно заглушаемый кашлем. Потом в углу стекла показалась маленькая свернутая бумажка, которая медленно скользнула в отверстие и медленно упала у плинтуса стены... Потом королева услышала звяканье ключей, ударявшихся один о другой, и стук шагов, удалявшихся по тротуару.

Королева увидела, что в углу стекла просверлена дырочка и что в это отверстие удалявшийся человек просунул бумажку — вероятно, записку. Она лежала на полу. Королева устремила на нее глаза, прислушиваясь, не подходит ли кто из сторожей; но они разговаривали потихоньку, как будто условившись не беспокоить ее. Тогда Мария-Антуанетта осторожно встала и, затаив дыхание, подняла бумажку.

Из нее выскользнул, как из ножен, тоненький и твердый предмет и издал металлический звук, упав на кирпич. Это была самая тоненькая пилка, скорее игрушка, нежели полезный инструмент, одна из тех стальных пружин, посредством которой самая слабая и неопытная рука могла бы в четверть часа разрезать самый толстый железный брус.

«Завтра в половине десятого, — сказано было в записке, — придет разговаривать через окно, выходящее на женский двор, с вашими жандармами один человек. В это время, ваше величество, распилите третью перекладинку окошка, считая справа налево... Режьте наискось; четверти часа будет достаточно вашему величеству. Потом будьте готовы выйти через окошко.. Совет этот дается одним из самых преданных и вернейших ваших подданных, который посвятил свою жизнь службе вашему величеству и сочтет за счастье пожертвовать ради вас жизнью».

— О, — прошептала королева, — не ловушка ли это? Но нет, кажется, знакомый почерк, тот же, какой я видала в Тампле... Это почерк кавалера Мезон Ружа... Богу угодно, может быть, чтобы я спаслась.

И королева упала на колени и предалась молитве, этому последнему балъзаму страдальцев.

XLIII. СБОРЫ ДИКСМЕРА

День, наступивший за этой бессонной ночью, был, можно сказать без преувеличения, кровавый. Замечательно, что в эту пору даже на ярком солнце были кровавые пятна.

Королева спала очень беспокойно; едва смыкала она глаза, как ей представлялись потоки крови и слышались крики и стоны. Она заснула с пилкой в руке. Часть дня провела в молитве; но так как сторожа часто чидели

ее молившейся, то и не обратили внимания на эту усиленную набожность. По временам узница вынимала спрятанную на груди пилку, переданную одним из ее избавителей, и сравнила слабость инструмента с силой перекладки. По счастью, перекладки эти были впаяны в стену только одним концом — снизу. Верхний конец входил в поперечный брус, так что, перепилив нижнюю часть, стоило только потянуть перекладину, и она выдергивалась.

Но не физические трудности удерживали королеву: она очень хорошо понимала, что это дело возможное, и эта-то самая возможность превращала надежду в кровавое пламя, ослеплявшее ее глаза; она понимала, что для доступа к ней необходимо было ее избавителям убить сторожей — и не согласилась бы на их смерть ни за какие выгоды, потому что только одни эти люди в течение долгого ее затворничества показали ей хоть какую-нибудь жалость.

С другой стороны, за перекладинами, которые ей советовали распилить, перешагнув тела двух человек, которые должны были пасть, не допуская избавителя дойти до нее, была жизнь, свобода, может быть, даже мщенье, три вещи столь приятные, особенно для женщины, которых она так пламенно желала, прося у бога простить ей это желание. Ей, однако же, казалось, что стражи не имели ни малейшего понятия о западне, в которую хотели поймать узницу, если только предположить, что заговор этот был западня; иначе жандармы как-нибудь изменили бы себе в ее опытных глазах, как бывают опытные и зоркие глаза у женщины, привыкшей предугадывать зло, потому что она много от него страдала.

Итак, королева почти отказалась от мыслей, заставлявших ее смотреть на средство к побегу как на западню; по мере того, как стыд быть пойманной в этой западне покидал узницу, ею овладевал страх; она ужасалась, что перед ее глазами за нее прольется кровь.

«Странная судьба и прекрасное зрелище, — думала Мария-Антуанетта. — Два заговора, чтобы спасти королеву или, вернее, бедную узницу, которой нечем обольстить или ободрить заговорщиков, и оба в одно и то же время. Как знать, быть может, они составляют один и тот же; может быть, это два подкопа, сходящиеся у одного пункта.. Но если б я захотела, значит, я могла бы спастись! Но чтобы за меня жертвовала другая женщина!.. Чтобы убили двоих, пока эта женщина дойдет до меня!.. Нет, этого не простит мне ни бог, ни будущее!.. Невозможно, невозможно!»

Но тогда же в уме ее проснулись высокие мысли о преданности подданных своим государям и древние предания о праве монархов на жизнь своих подданных, почти изгладившиеся призраки умирающей французской монархии.

— Но ведь Анна Австрийская согласилась бы, — говорила себе Мария-Антуанетта. — Анна Австрийская поставила бы это великое начало неприкосновенности королевских особ выше всяких мнений. Анна Австрийская была такой же крови, как и я, и почти в таком же положении, как и я... Какое безрассудство наследовать во Франции королевскую власть Анны Австрийской!.. Но ведь и я не сама пришла сюда. Два короля сказали: «Необходимо, чтобы двое королевских детей, которые никогда не виделись между собою, не любят друг друга и, может быть, никогда не полюбят, обвенчались у одного алтаря, чтобы умереть на одном эшафоте». И при том

разве смерть моя не повлечет за собою смерть бедного ребенка, который в глазах немногих друзей все еще король Франции?.. А если сын мой умрет, как умер мой муж, разве тени их не улыбнутся от жалости, что я запылила своей кровью обломки трона Людовика Святого, пощадив несколько капель престонародной крови?..

Посреди этого беспрепятственно возраставшего страха, в этой лихорадке сомнения, пульсации которой постоянно ускорялись, королева дождалась наконец вечера. Несколько раз посматривала она на сторожей, но никогда не казались они такими спокойными, никогда не были так предусмотрительными, как в этот вечер.

Когда наконец в келье стемнело, когда раздались шаги обхода, когда звук оружия и лай собак разбудили эхо мрачных сводов, когда, наконец, тюрьма явилась во всем своем ужасе и безнадежности, Мария-Антуанетта, побежденная слабостью, свойственной женской природе, вскочила в испуге.

— О, я убегу! Да, да, убегу! — сказала она. — Когда придут, когда будут говорить, я распилю решетку и буду ждать, что прикажет мне бог и мои освободители... Я обязана беречь себя для детей. Их не убьют, а если убьют, и я буду свободна — о, тогда я буду мстить.

Между тем Жильбер и Дюшен спокойно беседовали и готовили себе ужин.

А тем временем Диксмер и Женевьева, как обычно, вошли в Консьержери и расположились в регистратуре. Через час после их прихода тюремный регистратор окончил свою обычную работу и оставил их вдвоем.

Как только дверь заперлась за ним, Диксмер бросился к пустой корзинке, поставленной на месте вчерашней; схватил кусок хлеба, разломил и вынул футляр. В нем был ответ королевы. Диксмер прочитал, бледнея, разорвал бумажку на тысячу лоскутков и бросил в пылающую пасть камина.

— Хорошо, все условлено, — сказал он себе и потом, обращаясь к Женевьеве, прибавил: — Подойдите сюда.

— Я?

— Да; мне надо тихонько поговорить с вами.

Женевьева, холодная как мрамор, подошла к нему с выражением покорности.

— Теперь наступило время, выслушайте меня, — сказал Диксмер.

— Слушаю.

— Предпочитаете ли вы смерть, за которую благословляла бы вас вся партия и сожалел весь народ, предпочитаете ли вы такую смерть позорной смерти из мщения?

— Да.

— Я мог бы убить вас на месте, когда застал у любовника; но человек, подобный мне, посвятивший свою жизнь честному и святому делу, должен извлекать пользу из собственных своих несчастий и обращать их в пользу этого дела. Это самое и сделал я или, по крайней мере, надеюсь сделать. Вы видели, что я отказался от удовольствия совершить правосудие, я пощадил также вашего любовника...

Что-то похожее на улыбку, на ужасную улыбку, пробежало по губам Женевьевы.

— Что же касается вашего любовника, вы понимаете, потому что знаете меня, что я ждал только удобного случая.

— Я готова, — сказала Женестьева. — К чему же это предисловие?

— Вы готовы?

— Да, вы убиваете меня, вы правы... я жду.

Диксмер взглянул на Женестьеву и вздрогнул. В эту минуту она была очаровательна, озаренная самым ярким ореолом — ореолом любви.

— Продолжаю, — сказал Диксмер. — Я предупредил королеву, она ждет; однако, по всей вероятности, будет сначала возражать; но вы принудите ее.

— Приказывайте, я исполню все.

— Сию минуту я постучусь в дверь; Жильбер отойдет; этим кинжалом, — Диксмер расстегнул фрак и показал, выдернув до половины из ножен кинжал с двумя лезвиями, — этим кинжалом я убью его.

Женестьева невольно вздрогнула; Диксмер сделал рукой знак, чтобы она молчала.

— В то мгновение, как я поражу его, — продолжал он, — вы броситесь во вторую комнату, где содержится королева. Дверей нет, как вы знаете, есть только ширмы, и вы поменяетесь с нею платьем, пока я буду убивать второго солдата. Потом я возьму королеву под руку и выйду вместе с нею.

— Очень хорошо, — холодно ответила Женестьева.

— Понимаете? — продолжал Диксмер. — Каждый вечер видят вас в этой черной мантилье, закрывающей лицо. Наденьте мантилью на ее величество и закутайте так, как обычно сами закутываетесь.

— Сделаю все, как вы говорите.

— Теперь мне остается только простить вас и поблагодарить, — сказал Диксмер.

Женестьева кивнула с холодной улыбкой.

— Я не нуждаюсь, милостивый государь, ни в вашем прощении, ни в вашей благодарности, — сказала она, протягивая руку, — то, что я думаю или, вернее, что сделаю, могло бы загладить даже преступление. Мой же поступок не более как слабость, и притом вспомните хорошенько ваши действия — вы же сами вынудили меня на эту слабость. Я удалялась от него — вы кидали меня в его объятия, так что вы и подстрекатель, и судья, и мститель. Значит, я должна бы простить вам мою смерть — и я вам прощаю! Значит, мне следует благодарить, что вы отнимаете у меня жизнь, потому что жизнь сделалась для меня невыносимой в разлуке с человеком, которого одного только я люблю... Особенно с той минуты, когда вы своим свирепым мщением разорвали все узы, которые привязали меня к нему...

Диксмер стоял как на углях; он хотел было отвечать, но у него не достало голоса.

— Однако же время уходит, — сказал он с усилием, — а нам дорога каждая секунда. Готовы ли вы?

— Я уже сказала, что жду вас, — отвечала Женестьева со спокойствием мучеников.

Диксмер собрал все свои бумаги, посмотрел, хорошо ли заперты двери, не может ли кто войти в контору, и потом хотел еще раз напомнить инструкцию жене.

— Не трудитесь, — сказала Женестьева, — я прекрасно знаю, что мне делать.

— В таком случае — прощайте.

И Диксмер подал ей руку, как будто в эту минуту, последнюю и решительную, всякий упрек должен был померкнуть перед возвышенностью жертвы.

Женестьева дрожа дотронулась кончиками пальцев до руки мужа.

— Станьте же ближе ко мне, — сказал Диксмер, — и как только я постучу в дверь Жильбера — пройдите.

— Я готова.

Тогда Диксмер, сжав правой рукой широкий кинжал, левой толкнул дверь.

XLIV. СБОРЫ КАВАЛЕРА МЕЗОН РУЖА

Покуда описанная нами сцена происходила у двери тюремной конторы, ведущей в темницу королевы или, вернее, в первую комнату, занимаемую двумя жандармами, на противоположной стороне, то есть на женском дворе, происходили другие приготовления.

От стены вдруг отделился человек, сопровождаемый двумя собаками, и, распевая модную в то время песню «Са йга», провел ключами, которые были у него в руках, по пяти полоскам, защищавшим окно королевы.

Королева сначала вздрогнула, но, приняв этот звук за сигнал, тотчас же тихонько отперла окно и принялась за дело гораздо ловчее, нежели можно было предполагать, потому что не раз в слесарной мастерской, где супруг ее когда-то занимался по целым дням, она брала в свои нежные руки инструменты, похожие на тот, на который в эту минуту она возлагала все надежды на спасение. Услышав, что окно королевы отворилось, ключник постучался в окно жандармов.

— А, — сказал Жильбер, посмотрев в стекла, — это гражданин Мардош.

— Он самый, — отвечал тюремщик. — А что, товарищи, кажется, мы славно справляем службу.

— Как водится, гражданин ключник. Кажется, вы не заставляли нас спать.

— Еще бы, — заметил Мардош, — а в нынешнюю ночь надо держать особенно ухо востро.

— А что? — сказал Дюшен, подойдя к окну.

— Отворите окно, расскажу.

Жильбер отпер окно и обменялся рукопожатием с ключником, который успел уже подружиться с обоими жандармами.

— Что такое, гражданин Мардош? — повторил Жильбер.

— А то, что сегодня заседание Конвента было жарковато. Читали вы?

— Нет, не читали. Что же там было?

— Во-первых, гражданин Эбер обнаружил одно дельце.

— Какое же?

— А то, что заговорщики, которых считали подгябшими, живехоньки и в добром здравии.

— То есть Делессар и Тьерри, — сказал Жильбер. — Слышал о них; негодая бежали в Англию.

— А про кавалера Мезон Ружа слыщали? — спросил ключник, так возвышая голос, чтобы могла слышать королева.

— Что, разве он в Англии?

— Ничего подобного, во Франции, — продолжал Мардош тем же голосом.

— Значит, воротился?

— Никогда не уезжал отсюда.

— Вот дерзость-то! — заметил Дюшен.

— Да, порядочная дерзость.

— Ну что же, постараются схватить.

— Разумеется, постараются, да только дело-то, как видно, не совсем легкое.

В эту минуту пила королевы закричала, и ключник, испугавшись, чтобы не услышали этого жандармы, наступил на ногу собаке так, что та завизжала от боли.

— Бедная скотина! — сказал Жильбер.

— Ничего, — отвечал ключник, — пускай в другой раз надевает сапоги... Замолчишь ли ты, Жирондист! Цыц!

— Твою собаку зовут Жирондистом, гражданин Мардош?

— Да, пришла в голову такая кличка.

— Так ты говоришь, что... — продолжал Дюшен, который, находясь в тюрьме, слушал все новости с таким же любопытством, как и сами заключенные. — Так ты говоришь, что...

— Ах, да.. что это такое... Да!.. Так я сказал, что гражданин Эбер сделал предложение опять перевести австриячку в Тампль.

— Для чего это?

— Гражданин Эбер полагает, что ее перевели из Тампля для того, чтобы ее удалить от надзора Парижской коммуны.

— Да, кажется, кстаги, и от покушений Мезон Ружа, — прибавил Жильбер. — Что ни толкуй, а есть подземелье.

— Вот это именно и отвечал господин Анрио; но гражданин Эбер сказал, что коль скоро дано предостережение, то нечего и опасаться, что Марию-Антуанетту можно содержать в Тампле с меньшими предосторожностями, нежели здесь. Оно и действительно, Тампль будет понадежней Консбержи.

— А, право, лучше было бы, если бы ее отвезли в Тампль, — сказал Жильбер.

— Понимаю, тебе наскучило караулить

— Нет, жалко видеть ее.

Мезон Руж сильно закашлялся, потому что пила, глубоко зайдя в железо, очень завизжала.

— И на чем же решили? — спросил Дюшен, когда кашель ключника утихнул.

— А решили на том, что если она останется здесь, то немедленно начнется суд над нею.

— Бедная женщина! — промолвил Жильбер.

Дюшен — потому ли, что слух его был тоньше, нежели слух товарища, или потому, что рассказ Мардоша не так сильно занимал его внимание, — но только он наклонился, прислушиваясь, что делается за ширмами.

Ключник заметил это движение.

— Теперь ты понимаешь, гражданин Дюшен, — сказал он с живостью. — Покушения заговорщиков будут тем отчаяннее, что им мало остается времени, чтобы исполнить их. Надо удвоить надзор, господин жандарм. Заговорщики замышляют, не более не менее, как ворваться силой в Консьержери, перебить всех и добраться до королевы .. то есть я говорю, до вдовы Капет.

— А как бы забрались сюда эти заговорщики?

— Переодевшись патриотами, притворившись, будто хотят повторить 2 сентября... а там выломать двери — и мое почтение.

За остолбенением жандармов последовало молчание

Ключник с радостью и страхом слушал скрежет пилы, которая продолжала действовать. Пробыло девять часов. В то же время в дверь тюремной конторы постучали, но жандармы не обратили на это внимания.

— Ну, что же, мы будем наблюдать, — сказал Жильбер.

— И если надо, умрем на своем посту истинными республиканцами, — добавил Дюшен.

«Теперь она скоро кончит», — подумал ключник, вытирая со лба холодный пот

— Я думаю, и вы, со своей стороны, тоже не дремлете, — сказал Жильбер — Ведь и вам не будет поблажки, если бы случилось то, о чем вы говорите.

— Надо полагать, — отвечал ключник — Оттого-то я и хожу дозором по ночам; вы, по крайней мере, чередуетесь и можете спать из двух ночей одну.

В это время опять застучали в дверь конторы; Мардош вздрогнул. Каждое малейшее обстоятельство могло помешать ему в успехе дела

— Что там? — спросил он как будто нехотя.

— Ничего, — отвечал Жильбер. — Это регистратор военного министерства уходит домой и дает мне знать

— А, — заметил ключник.

Но регистратор продолжал стучать.

— Хорошо, слышу! — закричал Жильбер, не отходя от окошка — Спокойной ночи! Прощайте!

— Кажется, он говорит что-то тебе, — сказал Дюшен, обращившись к двери — Отвечай же ему .

За дверями послышался голос регистратора

— Гражданин жандарм, выйди на минутку! Нужно

Голос этот, у которого волнение отняло его обычный тон, показался знакомым ключнику, и он наострил уши.

— Что тебе, гражданин Дюран? — спросил Жильбер

— На пару слов

— Скажешь завтра.

— Нет, надо сегодня

«Что случилось? Это голос Диксмера», — сказал себе ключник.

Суровый и дрожащий голос Диксмера как будто занял свое выражение у отдаленного эха мрачного коридора.

Дюшен обернулся.

— Нечего делать, пойду, если ему уж такая крайность, — сказал Жильбер и пошел к двери.

Ключник воспользовался мгновением, покуда внимание жандармов было поглощено этим неожиданным обстоятельством, и подбежал к окну королевы.

— Готовы ли? — спросил он.

— Больше половины, — отвечала королева.

— Ради бога! Ради бога! Торопитесь, — прошептал он.

— Гражданин Мардош, где же ты? — спросил Дюшен.

— Весь внимание! — вскричал ключник, подскочив к окну первого отделения комнаты.

Но в то мгновение, когда он снова появился у окна, в тюрьме раздался ужасный крик и брань и потом звук сабли, сверкнувшей из металлических ножен.

— Разбойник! Злодей! — закричал Жильбер.

В коридоре завязалась драка. В то же мгновение дверь открылась и тюремщику представились две тени: они схватили одна другую за ворот и открыли дорогу женщине, которая, оттолкнув Дюшена, бросилась за ширмы к королеве.

Дюшен, не заботясь о женщине, побежал на подмогу товарищу.

Тюремщик отскочил к другому окну и увидел у ног королевы женщину. Она плакала и умоляла пленницу поменяться с нею одеждой. Он нагнулся, чтобы взглянуть эту женщину, и вдруг испустил отчаянный крик:

— Женеьева, Женеьева!

Королева уронила пилу и стояла как уничтоженная. Еще одна неудавшаяся попытка!

Тюремщик схватил обеими руками и начал изо всей силы трясти железо; но пила вошла в него недостаточно глубоко, и железная решетка устояла.

Между тем Диксмер успел втолкнуть Жильбера в темницу и хотел войти туда же вместе с ним, но Дюшен повис на двери и припер ее, но запереть совершенно не мог. Диксмер в отчаянии просунул руку между дверью и стеной. В руке этой был кинжал, который, задев за медную пряжку пояса, скользнул по груди жандарма и только распорол его мундир и оцарапал тело.

Двое сторожей ободрились, соединив свои силы, и в то же время звали себе на помощь.

Диксмер чувствовал, что рука его переломится, уперся плечом в дверь, сильно толкнул и успел вытащить избитую руку.

Дверь шумно захлопнулась; Дюшен задвинул засов, а Жильбер запер ее на ключ.

Во втором отделении послышался шум: это мнимый тюремщик ломал решетку.

Жильбер бросился в темницу королевы и увидел, что Женеьева стоит перед нею на коленях и умоляет поменяться с нею платьем.

Дюшен схватился за карабин и, подбежал к окошку, увидел там человека, который отчаянно ухватился за железные перекладины и старался

влезть в окно. Жандарм прицелился. Молодой человек, увидя дуло карабина, нагнулся.

— На, убей меня! Убей! — сказал он в порыве благородного отчаяния и подставив свою грудь.

— Кавалер! — вскричала королева. — Кавалер! Умоляю вас, живите! Живите!

Слыша голос Марии-Антуанетты, Мезон Руж упал на колени, и это движение спасло его. Раздался выстрел, и пуля пролетела над его головой.

Женестьева подумала, что друг ее убит, и без чувств рухнула на пол.

Когда дым рассеялся, на женском дворе уже не было ни души.

Спустя десять минут тридцать солдат под предводительством двух комиссаров обшарили самые недоступные углы Консержери, но не нашли никого. Регистратор спокойно и с улыбкой прошел мимо кресел Ришара.

Тюремщик выбежал с криком:

— Сюда! Сюда! Караул!

Часовой хотел было загородить ему дорогу штыком, но собаки тюремщика кинулись на горло часовому.

Арестовали только одну Женестьеву; только одну ее и повели к допросу и заперли в тюрьму.

XLV. РОЗЫСКИ

Но пора вспомнить об одном из главных лиц, действующих в этой истории, о том, которое, покуда совершались события, скопившиеся в предыдущей главе, страдало более всех и страдания которого наиболее заслуживают участия наших читателей.

Солнце ярко озаряло улицу Монне, и кумушки сплетничали у дверей так же весело, как будто в течение десяти месяцев ни одно кровавое облако не останавливалось над городом, когда Морис возвращался с обещанным кабриолетом.

Он бросил вожжи уличному чистильщику сапог с паперти св. Евстафия и весело взбежал по лестнице.

Какое живительное чувство — любовь! Она оживляет сердца, умершие для всякого ощущения; населяет пустыни, вызывает перед глазами призраки любимого существа, она делает то, что голос, поющий в душе влюбленного, показывает ему всю вселенную, озаренную лучами надежды и счастья. И так как в то же время это чувство эгоистично, то оно ослепляет влюбленного для всего, что не есть предмет его любви.

Морис не видел этих кумушек, не слышал их рассказней; он видел только Женестьеву, которая собиралась к отъезду, обещавшему им свободу и счастье; он слышал только Женестьеву, которая распевала свою любимую песенку, и песенка эта так приятно звучала в его ушах.

На площадке лестницы Морис остановился; дверь была полурастворена. Обстоятельство это удивило Мориса, привыкшего видеть ее постоянно запертой. Он посмотрел вокруг себя, чтобы убедиться, нет ли Женестьевы в коридоре, но ее там не было.

Он прошел прихожую, столовую, гостиную, осмотрел спальню, но все эти комнаты были пусты. На зов его никто не откликнулся.

Слуга, как известно, вышел; Морис подумал, что в его отсутствие Женестье понадобилась веревочка, чтобы связать пожитки, или какая-нибудь провизия на дорогу и что она пошла сама купить их в лавке. Такое безрассудство показалось ему слишком непозволительным; однако он еще не сомневался ни в чем, хотя сильно был встревожен.

Таким образом Морис поджидал, ходя вдоль и поперек по комнате и по временам взглядывая в полуотворенное окно, в которое врывался временами ветер, захватывавший с собой брызги шедшего в то время дождя.

Вскоре Морису почудились шаги по лестнице; он прислушался — это не были шаги Женестье; тем не менее он выбежал на площадку, наклонился через перила и увидел своего слугу, который поднимался по ступеням с обыкновенной лакейской беспечностью.

— Сцевола! — закричал Морис.

Слуга поднял голову.

— А! Это вы, гражданин!

— Да, я; а где же гражданка?

— Гражданка? — спросил Сцевола, поднимаясь по лестнице.

— Разумеется. Не видел ты ее внизу?

— Нет.

— Так сойди вниз и справься у привратника и соседей.

— Сию минуту.

И слуга повернулся.

— Да шевелись же скорее!

Морис подождал минут пять на лестнице; потом видя, что Сцевола не идет, вернулся в свою квартиру и опять высунулся из окна.

Сцевола заходил в две-три лавочки и уходил из них, ничего не узнав.

Морис в нетерпении окликнул слугу и, когда тот взглянул наверх, сделал ему знак вернуться домой.

— Не может быть, чтобы она вышла! — говорил себе Морис и опять начал звать: — Женестье! Женестье!

Но все было мертво, и даже эхо опустевшей комнаты не отвечало на его зов.

Явился слуга.

— Ну, что? — спросил Морис.

— Ее видел только привратник.

— Видел?

— Да, но соседи не видели.

— Так ты говоришь, что ее видел привратник? Каким образом?

— Когда она выходила отсюда

— Разве она ушла?

— Должно быть, так.

— Одна? Не может быть, чтобы Женестье ушла одна.

— Я не говорил этого, гражданин: она ушла с мужчиной.

— Как!.. С мужчиной?

— По крайней мере, так говорил привратник.

— Разузнай, что это за мужчина!..

Сцевола сделал два шага к двери, но потом остановился.

— Постоите минутку, — сказал он, как будто соображая.

— Говори скорее, ты меня мучишь!

— Не тот ли это мужчина, который бежал за мной?

— Бежал за тобой?

— Да.

— Для чего?

— Взять ключ от вашего имени.

— Какой ключ? Говори яснее.

— А ключ от вашей квартиры.

— И ты отдал незнакомому человеку ключ от квартиры? — закричал

Морис, обеими руками схватив слугу за ворот.

— Да ведь это знакомый человек, он бывал у вас.

— А, верно, Лорен? Она ушла с Лореном?

На бледном лице Мориса мелькнула улыбка, и он отер платком холодный пот со лба.

— Нет, нет, нет, сударь, — сказал Сцевола. — Это не господин Лорен!

Разве я не знаю господина Лорена.

— Так кто же такой?

— А помните того господина, который приходил к вам однажды...

— Когда?

— А когда еще вы были скучны, а он увел вас, и вы воротились домой веселый-превеселый.

Сцевола, как наблюдательный слуга, замечал малейшие подробности.

Морис взглянул на него расстроенными глазами, дрожь пробежала по всем членам.

— Не Диксмер ли? — вскричал он после долгого молчания.

— Именно так, — отвечал слуга.

Морис пошатнулся и чуть не упал на кресла. В глазах его потемнело.

— Боже мой! — проговорил он. Глаза его случайно упали на букет фиалок, забытый или, вернее, оставленный Женевьевой.

Морис бросился к нему, взял, начал целовать, и потом, заметив место, где лежали цветы, сказал:

— Теперь уже нет сомнения... эти фиалки... ее последнее «прости».

Морис обернулся, и только теперь увидел он, что чемодан был наполнен наполовину, а остальное белье лежало на полу или в полурастворенном шкафу.

Вероятно, белье, лежавшее на полу, выпало из рук Женевьевы при появлении Диксмера.

С этого мгновения объяснилось все: сцена, происходившая в этих стенах, еще недавних свидетелях счастья, живо представилась его глазам во всем ее ужасе.

До сих пор Морис был поражен, уничтожен; теперь гнев его проснулся во всем отчаянии.

Молодой человек встал, запер окно, взял на конторке два пистолета, заряженные на случай поездки, осмотрел затравку и, увидев, что она была в порядке, спрятал пистолеты в карман, прихватил пару свертков золотых луидоров, которые хранил в конторке, и, взяв саблю в ножнах, сказал:

— Сцевола, ты, кажется, предан мне; ты служил моему отцу и пятнадцатый год служишь мне...

— Да, гражданин, — отвечал слуга, испуганный мраморной бледностью и нервным трепетом молодого человека, чего прежде никогда не замечал он за своим господином, справедливо считавшимся самым бесстрастным и сильным человеком. — Что изволите приказать мне?

— Слушай, если дама, которая была здесь .

И он остановился; голос его так дрожал при этих словах, что он не мог продолжать.

— Если она вернется, — продолжал он через секунду, — прими ее, но запри за нею двери, возьми этот карабин, встань на лестнице и, заклиная тебя своей головой, твоей жизнью и твоей душой, — не пускай никого! Если же захотят принудить тебя силой, защищайся, рази, убивай!... И не бойся ничего, Сцевола: я беру всю ответственность на себя.

Голос молодого человека и его яростные движения наэлектризовали Сцеволу.

— Не только буду убивать, — сказал он. — Но еще дам убить себя за гражданку Женевьеву!

— Благодарю. Теперь выслушай, квартира эта мне ненавистна, и я не возвращусь сюда, покуда не отыщу ее. Если она успеет убежать и возвратится сюда, поставь на окно большую японскую вазу с маргаритками, которые она так любила. Это днем; ночью же выставь фонарь. По этим сигналам я узнаю, что она тут; но покуда я не увижу ни вазы, ни фонаря, я буду продолжать поиски.

— О, будьте, сударь, благоразумны! Будьте рассудительны! — закричал Сцевола.

Морис даже не ответил. Он бросился из комнаты, сбегал с лестницы, как будто на крыльях, и побежал к Лорену.

Трудно описать, до какой степени был поражен Лорен, когда выслушал рассказ Мориса.

— Так ты не знаешь, где она? — спросил он.

— Пропала! Исчезла! — горланил Морис в пароксизме отчаяния. — Он убил ее, Лорен, убил ее!

— Да нет же, друг мой, нет, мой добрый Морис; он не убивал; после стольких дней размышления не убивают женщину, подобную Женевьеве. Нет, если бы убил ее, он убил бы на месте, и если бы убил, то, в знак мести, оставил бы у тебя ее тело. Нет, мой друг, он убежал вместе с нею, слишком счастливый тем, что отыскал свое сокровище.

— Ты не знаешь его, Лорен, не знаешь! У этого человека в глазах было что-то ужасное.

— Да нет же, ты ошибаешься. Он всегда казался мне честным человеком. Он взял ее, чтобы принести в жертву. Он даст арестовать себя вместе с женой — и их убьют обоих. Вот в чем опасность, — говорил Лорен.

И слова эти удвоили ярость Мориса.

— Я отыщу ее! Отыщу или умру! — кричал он.

— О, если так, то мы, верно, отыщем ее; но только успокойся. Верь мне, любезный Морис: без размышления ничего не найдешь, а человек взволнованный, подобно тебе, не размышляет.

— Прощай, Лорен, прощай!
— Что с тобой?
— Ухожу.
— Оставляешь меня? Зачем?
— Затем, что это дело касается меня одного, потому что я один должен riskовать жизнью для спасения Женевьевы.
— Ты хочешь умереть?
— Иду на все! Повидаюсь с представителем Комитета общественной безопасности, поговорю с Эбером, Дантоном, Робеспьером; признаюсь во всем — только пусть отдадут ее.

— Хорошо.

И, не прибавляя ни слова, Лорен встал, затянул пояс, надел форменную шляпу и, подобно Морису, спрятал в карманы пару заряженных пистолетов.

— Идем, — сказал он равнодушно.

— Но ты рискуешь собой! — вскричал Морис.

— Что же дальше?

— Где же мы станем искать ее? — спросил Морис.

— Сперва поищем в старой квартире — знаешь, на старой улице Сен-Жак; потом поищем Мезон Ружа. Где он, там окажется и Диксмер; потом приблизимся к домам улицы Виель-Кордери. Тебе известно, что Антуанетту намереваются перевести в Тампль... Верь мне, лица, подобные им, до последней минуты не потеряют надежды спасти ее.

— Да... в самом деле... Ты говоришь правду, — сказал Морис. — Но разве Мезон Руж в Париже?

— По крайней мере, Диксмер здесь.

— И то правда, они сойдутся, — сказал Морис, которому слабые проблески надежды возвратили рассудок. — Пойдем.

И с этой минуты друзья принялись за поиски. Но все было напрасно. Париж велик, и тень его густая. Ни одна пропасть лучше его не скрывает тайну, которую вверяет ей преступление или несчастье.

Сто раз Лорен и Морис прошли по Гревской площади, сто раз коснулись они того дома, где Женевьева жила под беспрестанным надзором Диксмера, который стерег ее, как некогда жрецы стерегли жертву, предназначенную для заклания.

Женевьева, видя себя, в свою очередь, назначенной на погибель, подобно всем высоким душам, хотела умереть, не возбуждая толков; при том же она не столько боялась за Диксмера, сколько за королеву, чтобы Морис не придал гласности своему мщению. Поэтому Женевьева молчала, как будто смерть зажала ей уста.

Однако Морис, не говоря ни слова Лорену, умолял членов страшного Комитета безопасности, а Лорен, также не говоря Морису, принял те же меры.

И за это в этот же самый день Фулье-Тенвиль поставил красные кресты против их имен, и слово «подозрительный» — соединило их обоих кровавым объятием.

XLVI. СУД

В двадцать третий день месяца вандемьера, второго года Французской республики, единой и нераздельной, соответствующий 14 октября 1793 года по старому, как тогда говорили, стилю, толпа любопытных с самого утра нахлынула в трибуны зала, в котором происходили революционные заседания.

Коридоры дворца, прихожая Консьержери были битком набиты жандармами и нетерпеливыми зрителями, которые передавали один другому толки и страсти, как волны передают один другому рев и пену.

Несмотря на любопытство, волновавшее каждого зрителя, а быть может, по причине самого любопытства каждая волна этого моря, сдавленная в двух преградах — наружной, которая гнала ее, и внутренней, которая отталкивала ее, — почти сохраняла в этом приливе и отливе свое прежнее место. Но зато лица, поместившиеся лучше других, понимали, что надо же как-нибудь заплатить за свое счастье, и достигали этой цели, рассказывая; эти, в свою очередь, передавали рассказы другим, стоявшим за ними. Возле самой двери судилища толпа людей, сжатых, как сельди в бочке, яростно оспаривала пространство с дюйм в ширину и высоту: дюйма в ширину было достаточно, чтобы видеть между двумя плечами уголок зала и лица судей; дюйма в высоту было достаточно, чтобы видеть через голову весь зал и лицо обвиняемой.

К несчастью, этот проход из коридора в зал, это тесное ущелье, почти совершенно заслонял широкоплечий человек, расположивший свои руки в виде подпоры и поддерживающий собой колеблющуюся толпу, которая неминуемо обрушилась бы в зал, если бы изменил ей этот оплот, составленный из плоти и крови.

Человек этот, непоколебимо стоявший на пороге, был молод и прекрасен; при каждом, несколько сильном натиске толпы он встряхивал головой и отбрасывал назад свои густые, как грива, волосы, под которыми сверкал мрачный и решительный взгляд, и потом, когда взгляд его и движение останавливали, как живая плотина, напор и упрямый наплыв толпы, он снова впадал в свою неподвижность.

Сто раз, однако, сплошная толпа старалась повалить его, потому что он был высокого роста и совершенно загораживал собой перспективу, но, как мы сказали, он стоял крепче утеса.

Однако по другую сторону этого моря людей, посреди сдавленной толпы, один человек проложил себе дорогу с настойчивостью, похожей на дикость: ничто не останавливало его движение вперед — ни удары оставшихся позади него, ни брань тех, которых он давил мимоходом, ни даже жалобы женщин, потому что в этой толпе было много и женщин. На удары он отвечал ударами, на брань — взглядом, от которого отступали самые смелые, на жалобы — бесстрастием, похожим на презрение.

Наконец он стал за самым молодым человеком, заменявшим, так сказать, вход в зал, и посреди всеобщего ожидания, потому что каждому хотелось видеть, чем кончится столкновение двух противников, посреди всеобщего ожидания он попробовал употребить в дело свой метод, состоявший в том, чтобы просунуть как клин, свои локти между двух зрителей и телом своим разжать тела, припаянные одно к другому.

А между тем человек этот был низенького роста, бледный, сухощавый, обнаруживающий столько же слабость телосложения, сколько выражалось воли в его сверкающих глазах. Но едва локоть его дотронулся до боков стоявшего перед ним молодого человека, как этот, удивленный натиском, с живостью обернулся и поднял кулак, угрожавший падением своим уничтожить дерзкого.

Два противника очутились лицом к лицу, и у обоих в одно время вырвался слабый крик. Они узнали друг друга.

— Ах, гражданин Морис, — сказал худенький человек, с выражением неизъяснимой горечи, — сделайте милость, дайте мне взглянуть! Убейте меня после.

Морис — это был он — был растроган и изумлен этой вечной преданностью, этой несокрушимой волей.

— И вы здесь... безрассудный! — проговорил он

— Да, я здесь!.. Но я измучился... Боже мой!.. Она говорит! Дайте взглянуть на нее. Дайте послушать, что она говорит!

Морис посторонился, и молодой человек стал впереди, и уже ничто не заслоняло зрение того, кто вынес столько толчков и побоев, чтобы добраться до этого места.

Вся эта суета и шепот, возбужденный ею, возбудили любопытство судей. Обвиненная также взглянула в эту сторону, увидела и с первого взгляда узнала кавалера. Что-то похожее на дрожь мгновенно пробежало по королеве, сидевшей в железном кресле.

Допрос, производимый президентом Арманом, объясняемый Фукье-Тенвилем и оспариваемый Шаво-Лагардом, защитником королевы, продолжался до истощения сил судей и обвиняемой.

Все это время Морис стоял неподвижно на своем месте, между тем как уже несколько раз зрители сменялись в зале и коридорах.

Кавалер нашел себе опору у колонны и стоял такой же бледный, как штукатурка, к которой он прислонился.

За днем наступила темная ночь; несколько свечей на столах присяжных и несколько ламп, коптивших на стенах зала, бросали красноватый отблеск на благородное лицо этой женщины, которая была так прекрасна при великолепном освещении версальских праздников. Теперь же она была одна, с пренебрежением отвечала порывистыми словами на вопросы президента и порою наклонялась к уху своего защитника и что-то шептала ему. Белое и бледное лицо ее несколько не утратило своей обыкновенной гордости. На Марии-Антуанетте было надето платье с черными полосами, которое она не снимала со смерти мужа.

Судьи вышли из зала, чтобы вынести решение; заседание кончилось.

— Не обнаружила ли я уж слишком много пренебрежения? — спросила она у Шаво-Лагарда.

— О, вы всегда будете хороши, пока будете сами собой, — отвечал он.

— Взгляните, какая она гордая! — раздался из толпы зрителей женский голос, как будто голос народа отвечал на вопрос, который несчастная королева предложила своему адвокату.

Королева обернулась к этой женщине.

— Да, — повторила эта женщина, — я сказала, что ты горда, Антуанетта, и что гордость и погубила тебя.

Королева покраснела.

Мезон Руж обернулся к женщине, произнесшей эти слова, и кротко сказал:

— Она была королевой.

Морис схватил его за руку.

— Перестаньте, — шепнул он, — имейте столько мужества, чтобы не погубить себя.

— О, господин Морис, — возразил кавалер. — Вы мужчина, и вы знаете, что говорите мужчине. О, скажите, скажите же мне, как вы думаете, судят ее?

— Не только думаю, но даже уверен, — отвечал Морис.

— Женщину! — вскричал Мезон Руж рыдая.

— Нет, королеву, — отвечал Морис. — Вы так называли ее сию минуту.

Кавалер, в свою очередь, схватил за руку Мориса и с силой, какой нельзя было предполагать в его худеньком теле, заставил его нагнуться к своему уху.

Был уже четвертый час утра. Между зрителями оставались большие промежутки, там и сям свечи гасли, повергая разные части зала в темноту. Одной из самых темных частей была та, где стояли кавалер и Морис, приготовившийся его слушать.

— Зачем же вы здесь? К чему пришли вы сюда? Ведь у вас сердце не тигра, — сказал кавалер.

— Увы! — отвечал Морис. — Я пришел узнать, что случилось с одной несчастной женщиной.

— Да, да! Верно, с той, которую муж втолкнул в камеру королевы!.. Которая была схвачена на моих глазах!

— Женестьева?

— Да, Женестьева.

— Значит, Женестьева в тюрьме, ее принес в жертву муж, убил Диксмер! О, я понимаю все! Теперь я все понимаю... Кавалер, расскажите мне, что случилось, скажите, где она, где я могу отыскать ее? Кавалер, эта женщина — жизнь моя, понимаете ли?

— Извольте. Я видел ее, я был там, когда ее арестовали... Я также пришел с намерением увести королеву, но два наших плана, которые мы не могли сообщить друг другу, повредили один другому вместо того, чтобы взаимно помогать.

— И вы не спасли ее, вашу сестру Женестьеву?

— Разве мог я? Меня отделяла от нее железная решетка!.. О, если бы вы были там, если бы могли соединить ваши силы с моими — нам уступила бы проклятая решетка, и мы спасли бы их обеих...

— Женестьева! Женестьева! — говорил Морис и потом, посмотрев на Мезон Ружа с невыразимой яростью, спросил:

— А что сделалось с Диксмером?

— Не знаю. Он убежал в одну сторону, а я в другую.

— О, если когда-нибудь он попадется мне!.. — проговорил Морис, стиснув зубы.

— Понимаю... Но дело Женестьевы еще не пропало, между тем как

королева... Послушайте, Морис, вы человек с сердцем, человек сильный, у вас есть друзья... Морис, умоляю вас, помогите мне спасти королеву!..

— Вы еще думаете об этом?

— Морис! Женевьева умоляет вас моим голосом!

— О, не произносите этого имени! Как знать, может быть, вы, подобно Диксмеру, пожертвовали этой женщиной!

— Милостивый государь, — с гордостью отвечал кавалер. — Если я посвящаю себя чьей-либо защите, то жертвую только одним собою.

В это время дверь зала отворилась снова. Морис хотел было отвечать, но кавалер велел ему молчать и, бледный, едва держась на ногах, оперся о его руку.

— О, — прошептал кавалер, — я чувствую, что у меня не хватит сил...

— Мужайтесь и держитесь, или вы пропали! — сказал Морис.

Действительно, трибунал возвратился, и весть о его возвращении распространилась по коридорам и на галереях. Толпа снова хлынула в зал, и свечи как будто сами собою ожили в это решительное мгновение.

Королеву опять ввели в зал. Она стояла прямо, неподвижно, высокомерно, со сверкающими глазами и сжатыми губами.

Ей прочитали приговор, осуждавший ее на смерть.

Она выслушала, не бледнея, не пошевелив бровями, ни один мускул на лице не обнаружил ее душевного волнения. Потом она обернулась к кавалеру, послала ему долгий и красноречивый взгляд, как будто благодаря этого человека, которого она всегда видела живой статуей преданности, и, опершись на руку жандармского офицера, командовавшего вооруженной охраной, спокойно и с достоинством вышла из судилища.

Морис испустил длинный вздох.

— Слава богу! — сказал он. — В ее объяснении ничто не повредило Женевьеве, еще есть надежда.

— Слава богу! — в свою очередь, проговорил Мезон Руж. — Все кончено — и конец борьбе! У меня не хватило бы сил идти дальше.

— Будь мужественным! — шепнул ему Морис.

— Буду, — отвечал кавалер.

И, пожав друг другу руки, они вышли в разные двери.

Королеву отвели опять в Консьержери. На больших часах пробило четыре, когда она возвратилась туда.

У входа на Новый мост Морис был остановлен распростертыми руками Лорена.

— Стой, — сказал он. — Дальше нельзя!

— Почему?

— Прежде всего: куда идешь?

— Домой. Разумеется, теперь я могу, когда знаю, что с ней случилось.

— Тем лучше, но все-таки ты не пойдешь.

— Какая причина?

— А вот какая: два часа тому назад жандармы пришли арестовать тебя.

— А, — вскричал Морис, — тем лучше!

— Да что ты, с ума сошел! А Женевьева-то?

— И то правда. Куда же мы пойдем?

— Разумеется, ко мне.

— Но я погублю тебя!
— Тем лучше! Пойдем. Иди же!
И Лорен потащил его насильно.

XLVII. СВЯЩЕННИК И ПАЛАЧ

Придя в свою комнату, королева взяла ножницы, обрезала свои длинные и прекрасные волосы, сделавшиеся еще прекраснее без пудры, отмененной с год тому назад, завернула их в бумагу и написала на ней: «Разделить между моим сыном и моей дочерью». Потом она села или, точнее, упала на стул, измученная, утомленная, — допрос продолжался восемнадцать часов — и заснула.

В семь часов шорох раздвигаемых ширм заставил ее проснуться. Она обернулась и увидела человека совершенно ей незнакомого.

— Чего хотят от меня? — спросил она.

Незнакомец приблизился с самым учтивым поклоном.

— Меня зовут Сансон, — сказал он.

Королева слегка вздрогнула и встала. Одно это имя сказало ей более, нежели самая длинная речь.

— Вы пришли очень рано, — сказала она, — не можете ли повременить?

— Не могу, сударыня! Мне приказано прийти.

Сказав это, он приблизился еще на один шаг к королеве.

Все в этом человеке в эту минуту было выразительно и ужасно.

— Понимаю, вы хотите обрезать мне волосы? — сказала она.

— Это необходимо! — отвечал Сансон.

— Я знала и хотела избавить вас от этого труда. Вот мои волосы... на столе.

Сансон взглянул по направлению руки королевы.

— Только, — продолжала она, — мне хотелось бы, чтобы они сегодня вечером были отданы моим детям.

— Это, сударыня, меня не касается.

— Однако я думала...

— Мне принадлежит только то, что остается после... лиц... Их одежда, драгоценные вещи, но и то по формальному их согласию. В противном же случае все это поступает в Сальпетриер и принадлежит бедным и благотворительным заведениям. Так предписано Комитетом общественной безопасности.

— Не могу ли, наконец, я надеяться, что волосы эти будут отданы моим детям? — настойчиво спросила Мария-Антуанетта.

Сансон молчал.

— Я берусь похлопотать, — сказал Жильбер.

Узница взглянула на жандарма с невыразимой благодарностью.

— Я пришел обрезать вам волосы, но так как это уже сделано, — сказал Сансон, — то могу, если желаете, оставить вас одну на некоторое время...

— Пожалуйста, потому что мне надо собраться с мыслями и помолиться.

Сансон поклонился и вышел.

Тогда королева осталась одна, потому что Жильбер только просунул голову в дверь, чтобы сказать приведенные нами слова.

Покуда осужденная стояла на коленях, не менее трогательная сцена происходила в Ситэ, у священника церкви Сен-Ландри.

Священник этого прихода только что встал, и старая ключница готовила ему завтрак, как вдруг кто-то сильно застучал в дверь.

Даже в наше время неожиданный приход к священнику бывает по какому-нибудь срочному случаю: его зовут или крестить новорожденного, или причастить умирающего; но в ту эпоху во Франции священник не был посредником между землей и небом и отдавал отчеты людям.

Однако аббат Жирар был из числа людей, которым менее всего следовало опасаться, потому что он присягнул Конституции.

— Посмотрите, Жасента, — сказал он, — кто это стучится к нам так рано, и если меня требуют не зачем-нибудь экстренным, то скажите, что я должен отправиться в Консьержери и иду туда сию минуту.

Старушку Жасенту когда-то звали Меделеной; но она приняла вместо своего имени название цветка так же, как аббат Жирар назывался гражданином вместо священника.

Жасента сбежала по лестнице в садик, из которого выходила дверь на улицу, отдернула задвижку и увидела молодого человека, чрезвычайно бледного, расстроенного, но с приятной и благородной внешностью.

— Дома господин аббат Жирар? — спросил он.

Жасента рассмотрела неряшливую одежду, длинную бороду и нервную дрожь незнакомца. Все это было дурным предзнаменованием.

— Гражданин, — сказала служанка, — здесь нет ни господина, ни аббата.

— Извините, сударыня, — спохватился молодой человек, — я хочу сказать — служитель церкви Сен-Ландри.

Жасента, при всем своем патриотизме, была поражена словом «сударыня», однако отвечала:

— Его нельзя видеть, гражданин, он занят.

— В таком случае я подожду.

— Но это напрасно, гражданин, — возразила Жасента, у которой от этой настойчивости опять зашевелились дурные мысли. — Его потребовали в Консьержери, и он уйдет туда сию минуту.

Молодой человек ужасно побледнел или, вернее, из бледного сделался синеватым.

— Так это правда! — прошептал он и потом громко сказал: — Поэтому-то я и пришел к гражданину Жирару.

И несмотря на отговорки старушки, он вошел, правда, тихо, но твердо, задвинул на дверях запор и вопреки настоятельным просьбам, даже угрозам Жасенты добрался до дома и вошел даже в комнату священника.

Увидев посетителя, священник вскрикнул от удивления.

— Извините, милостивый государь, — тотчас сказал молодой человек, — я пришел переговорить о весьма важном деле; позвольте нам остаться вдвоем.

Престарелый священник знал по опыту, как выражаются великие горести; он прочел всю страсть на лице молодого человека, ужасное душевное волнение в его лихорадочном голосе и велел Жасенте выйти.

Молодой человек с нетерпением следил глазами за ключницей, которая,

привыкнув участвовать в тайнах своего господина, медлила уходить, и потом, когда дверь за нею затворилась совершенно, сказал:

— Прежде всего, милостивый государь, вы, конечно, спросите у меня, кто я? Предупреждаю вопрос; я изгнанник, человек, приговоренный к смерти и живущий только с помощью своей дерзости. Я кавалер Мезон Руж.

Аббат в ужасе подпрыгнул в своем кресле.

— О, не бойтесь, — продолжал кавалер. — Никто не обратил внимания на то, как я вошел сюда, и даже те, которые видели меня, никак не узнали: я очень переменялся за последние два месяца.

— Но скажите, наконец, чего же вы хотите, гражданин?

— Сегодня утром вы пойдете в Консьержери, не так ли?

— Да! Меня звал привратник.

— И знаете зачем?

— Вероятно, к какому-нибудь больному, умирающему, быть может, приговоренному к смерти.

— Именно так, вас ждет особа, приговоренная к смерти.

Престарелый священник с удивлением посмотрел на кавалера.

— Но, позвольте, знаете ли вы, кто та особа? — продолжал Мезон Руж.

— Нет... не знаю.

— Так я скажу вам — королева.

Аббат испустил крик горести.

— Королева!.. О, боже мой!

— Да, королева! Я справлялся, который священник будет исповедовать ее, узнал и прибежал сюда.

— Чего же вы хотите от меня? — спросил священник, испуганный взволнованным голосом кавалера.

— Я хочу... нет, я хочу... я вас прошу, умоляю...

— О чем же?

— Провести меня к ее величеству.

— Да вы с ума сошли!.. — вскричал аббат. — Вы погубите меня и погибнете сами.

— Не бойтесь.

— Над ней свершен приговор — и все кончено.

— Знаю, и не за тем хочу я видеть ее, чтобы спасти, но... послушайте же меня, отец! Вы не слушаете!

— Не слушаю, потому что вы просите невозможного; не слушаю, потому что вы говорите как безумец; не слушаю, потому что вы ужасаете меня...

— Успокойтесь, отец, — сказал молодой человек, стараясь, в свою очередь, быть спокойнее. — Поверьте, я сохранил весь свой рассудок. Королева погибла — знаю; но если бы только на одну секунду я мог упасть к ее ногам — это спасло бы мою жизнь; если же я не увижу ее — лишу себя жизни, а так как вы будете причиной моего отчаяния, то, значит, вы убьете разом и тело и душу.

— Но, сын мой, — сказал священник, — вы требуете, чтобы я пожертвовал своей жизнью!.. Как я ни стар, но мое существование еще нужно для многих несчастных; как я ни стар, но добровольно идти на смерть было бы самоубийством.

— Не отказывайте мне, отец, — возразил кавалер... — Послушайте, вам нужен аколит, прислужник... Возьмите меня.

Священник пробовал собраться с твердостью, начинавшей изменять ему.

— Нет, — сказал он. — Это значило бы изменить моему долгу. Я присягал Конституции, клялся из глубины сердца и совести. Бедная приговоренная женщина — преступная королева; я бы согласился умереть, если бы смерть моя могла быть полезна моему ближнему, но я не хочу изменять своему долгу.

— Но, — вскричал кавалер, — говорю вам, повторяю, клянусь, что я не хочу спасти королеву. Клянусь над этим Евангелием, перед этим распятием, что я не хочу препятствовать ее смерти.

— В таком случае, чего же хотите вы? — спросил старец, растроганный этим выражением неподдельного отчаяния.

— Выслушайте, — сказал кавалер, у которого вся душа, казалось, перешла в слова. — Она была моей благодетельницей, она питала ко мне некоторую привязанность... Увидеть меня в последний час, я уверен, было бы для нее утешением.

— Только этого и хотите вы? — спросил священник.

— Только.

— И не затеаете никакого заговора для освобождения королевы?

— Никакого. Я христианин, отец, и если в сердце моем есть хоть тень обмана, если я надеюсь, что королева будет жива, если я хоть сколько-нибудь способствую этому, то накажет меня бог вечным проклятием.

— Нет, нет, ничего не могу обещать вам! — сказал священник, которому опять пришли на ум все опасности такого безрассудства.

— Послушайте, отец мой, — сказал кавалер с выражением глубокой горести. — До сих пор я говорил вам как покорный сын. Обращался только к христианским чувствам и состраданию; ни одного горького слова, ни одного упрека не сорвалось с моих губ, и, однако, мысли бродят в моей голове, лихорадка жжет мою кровь, отчаяние гложет мое сердце, я вооружен... Видите этот кинжал...

И молодой человек вытащил из-за пазухи блестящий и тонкий клинок, сверкнувший синеватым отливом в дрожащей руке.

Священник отступил в испуге.

— Не бойтесь, — сказал кавалер с печальной улыбкой. — Другие, зная, как строго исполняете вы свое слово, вырвали бы клятву у вашего испуга. Нет, я вас умолял и еще умоляю позволить мне увидеть ее хоть на мгновение... Вот вам обеспечение.

И он вынул из кармана и подал аббату следующую записку.

«Я, нижеподписавшийся Рене, кавалер Мезон Руж, клянусь богом и своей честью, что под угрозой смерти заставил достойного священника Сен-Ландри провести меня в Консьержери, несмотря на его живейшие возражения и упорство. В удостоверение чего и подписываюсь.

Мезон Руж ».

— Все это хорошо, — сказал священник. — Но поклянитесь еще, что вы не сделаете никакого безрассудства; мало того, чтобы моя жизнь была в безопасности, я отвечаю и за вашу.

— О, об этом не станем и думать, — сказал кавалер. — Итак, вы согласны.

— Конечно, если уж вы непременно хотите... Вы подождете меня внизу, и когда она пойдет в тюремную контору, тогда вы ее увидите...

Кавалер схватил старика за руку и начал целовать.

— О, — проговорил кавалер, — теперь, по крайней мере, она умрет королевой, и ее не коснется рука палача.

XLVIII. ТЕЛЕЖКА

Получив позволение аббата, Мезон Руж тотчас же бросился в отворенную комнату, служившую, по его мнению, уборной. Здесь в минуту борода и усы его исчезли под бритвой, и только теперь он увидел свою ужасающую бледность.

Мезон Руж, по-видимому, успокоился, но, кажется, впрочем, он совершенно забыл, что без усов и бороды его могут узнать в Консьержери. Он последовал за аббатом, за которым уже успели прийти два человека, и с дерзостью, удалявшей всякое подозрение, прошел за решетку, выходящую тогда к двери трибунала.

На Мезон Руже, как и на аббате Жираре, был надет черный фрак, потому что духовная одежда была отменена в то время.

У тюремной конторы стояло более пятидесяти человек, частью комиссаров, поверенных и даже просто любопытных.

Сердце кавалера так сильно билось, когда подошли к тюремным дверям, что он даже не слышал разговора аббата с жандармами и привратником. Только человек, державший в руке ножицы и кусок только что отрезанной материи, толкнул Мезон Ружа на порог.

Мезон Руж обернулся и увидел палача.

— Ты зачем, гражданин? — спросил Сансон.

Кавалер постарался преодолеть трепет, пробежавший по всем его жилам, и отвечал:

— Ты видишь, гражданин Сансон, я пришел со священником.

— А, хорошо, — сказал палач и отошел в сторону отдать приказание своему помощнику.

Между тем Мезон Руж пробрался в тюремную контору и оттуда в отгороженную часть комнаты, где дежурили жандармы.

Добрые люди эти были повергнуты в ужас: действительно, насколько горда была королева с другими, настолько же добра была она к этим сторожам, которые были скорее ее слугами, нежели караульщиками.

Но кавалер не мог со своего места видеть королеву: ширмы были задвинуты; они раздвинулись, только чтобы пропустить священника, и снова сомкнулись за ним.

Когда вошел Мезон Руж, между королевой и священником уже завязался разговор.

— Милостивый государь, — говорила она резким и гордым голосом, — так как вы присягнули именем республики, именем которой произносят надо

мною приговор, то я не могу иметь к вам доверия. Мы молимся не одному богу.

— Сударыня, — отвечал Жирар, взволнованный таким презрительным признанием, — умирающая христианка должна умирать без ненависти в сердце и не должна отвергать своего бога, в каком бы виде ни представлялся он ей.

Мезон Руж сделал было шаг вперед, чтобы растворить ширмы, в надежде что, заметив его, узнав, какая причина привела его, она переменит свое мнение касательно аббата, но жандармы заметили его движение.

— Но ведь я причетник, — сказал Мезон Руж.

— Если она отказывает священнику, то ей не нужен и причетник, — возразил Дюшен.

— А может быть, она и согласится, — сказал кавалер, возвышая голос, — не может быть, чтобы не согласилась.

Но Мария-Антуанетта, поглощенная волновавшими ее чувствами, не могла ни слышать, ни узнать голос кавалера.

— Уйдите, милостивый государь, уйдите и оставьте меня в покое! — говорила она Жирару. — Мы живем теперь во Франции под правительством свободы; дайте же и мне свободу умереть, как я желаю.

Жирар попытался было сопротивляться.

— Оставьте же меня, милостивый государь, — сказала она, — говорю вам, чтобы вы оставили меня!

Жирар еще раз заикнулся.

— Я этого хочу, — сказала королева с жестом Марии-Антуанетты.

Жирар вышел.

Мезон Руж бросил взгляд за перегородку, но узница стояла, обернувшись к ней спиной.

Помощник палача прошел мимо аббата, он нес в руке связку веревок.

Два жандарма оттолкнули кавалера к дверям прежде, нежели, ослепленный, оглушенный, он успел испустить крик или сделать движение для исполнения своего замысла.

Он очутился с аббатом в коридоре, из коридора оттеснили их до тюремной конторы, где уже распространилась молва об отказе королевы и где австрийская гордость Марии-Антуанетты послужила для одних темой самой грубой брани, в других — возбудила тайное удивление.

— Идите, — сказал Ришар аббату, — возвратитесь домой, если она вас гонит, и пусть она умирает как хочет.

— А что, ведь она права; я поступила бы точно так же, — шепнула жена Ришара

— И дурно поступила бы, гражданка, — сказал аббат.

— Молчи, жена, твое ли это дело? — проговорил привратник, вытаращив глаза — Ступайте, аббат, идите...

— Нет, — отвечал Жирар, — я буду сопровождать ее даже против ее воли... пусть хоть одно слово, если только она его выслушает, напомнит ей обязанности истинной христианки. Приятно же Коммуна приказала мне, и я должен повиноваться Коммуне.

— Хорошо, но в таком случае отошли своего причетника, — сказал грубым тоном майор, командовавший вооруженной силой.

Это был Граммон, когда-то актер французской комедии.

Глаза кавалера сверкнули, как две молнии, и он запустил руку за жилет. Жирар, знавший, что у него за жилетом кинжал, остановил кавалера умоляющим взглядом.

— Пощадите мою жизнь, — шепнул он. — Вы видите, что для вас все кончено. Не погубите же нас вместе с ней! Я расскажу ей про вас дорогой, клянусь вам; скажу, чем рисковали вы, чтобы взглянуть на нее в последний раз.

Слова эти успокоили ярость молодого человека; притом же в нем совершалась обычная реакция; весь он как-то страшно изнемог. Сила и воля этого человека, отличавшегося героизмом, истощились, и он находился в какой-то дремоте, похожей на предвестницу смерти.

— Да, — сказал он, — так было суждено...

И молодой человек уже без всякого сопротивления, кроме невольного стона, позволил оттолкнуть себя к наружной двери.

У решетки и ворот Консьержери стояла такая огромная толпа, к какую трудно вообразить тому, кто ее не видел. Над всеми страстями господствовало нетерпение, и все страсти выражались громко, и голоса слились в один огромный и протяжный гул, как будто весь шум и все население Парижа сосредоточивались в квартале Дворца правосудия.

Перед этой толпой стояла вооруженная армия с пушками. Напрасно было бы пытаться пройти сквозь этот вал, который мало-помалу увеличивался с прибытием патриотов из предместий с тех пор, как слухи о приговоре над королевой распространились и вне Парижа.

Мезон Руж, выгнанный из Консьержери, естественно, очутился в пезвой перенге войск. Солдаты спросили у него, кто он? Кавалер отвечал что викарый аббата Жирара, но что, будучи приведен к республиканской присяге, как и этот последний, он не был принят королевой.

Солдаты, в свою очередь, оттолкнули кавалера в первый ряд зрителей. Здесь он должен был повторить то, что было сказано им солдатам, и в толпе поднялся крик:

— Он сейчас оттуда...

— Видел ее?..

— Что говорит она?

— Что делает? Горда по-прежнему?..

— Отчаивается? Плачет?..

Кавалер отвечал на все эти вопросы слабым, нежным, ласковым голосом, как будто голос этот был последним проявлением жизни, выразившейся в словах.

На башенных часах дворца пробило одиннадцать; шум затих в одно мгновение. Сто тысяч человек считали бой часов, на который сердца их отзывались биением.

Но еще не затихло в воздухе дрожание последнего удара, как за дверями послышался большой шум, и в то же время двухколесная тележка, в какой возят преступников на казнь, свернула с набережной Флер, проехала сквозь толпу, потом сквозь стражу и стала у ступеней.

Вскоре наверху обширного крыльца показалась королева. Все страсти сосредоточились в глазах, дыхание приостановилось.

Волосы ее были острижены, большая часть их поседела во время заключения, и этот серебристый оттенок делал еще нежнее перламутровую бледность лица дочери кесарей. Она была в белом платье со связанными за спиной руками.

Когда она показалась на лестнице, сопровождаемая по правую руку аббатом Жираром, по левую — палачом — оба в черной одежде, — в толпе пробежал говор, известный только одному богу, который читает в сердцах и знает истину.

Тогда между Марией-Антуанеттой и палачом прошел человек, чтобы указать ей постыдную телегу.

Человек этот был Граммон.

Королева невольно отшатнулась.

— Взойдите! — сказал Граммон.

Все слышали эти слова, потому что душевное волнение сковало уста зрителей.

Кровь бросилась к щекам королевы, и потом она вдруг покрылась смертельной бледностью. Дрожащие губы ее полуоткрылись:

— Отчего же мне телегу, — сказала она, — когда короля везли на эшафот в собственной карете?

Аббат Жирар шепнул ей несколько слов: без сомнения, он побеждал в осужденной последний крик королевской гордости.

Королева замолчала и зашаталась.

Сансон протянул руки, чтобы поддержать ее, но она выпрямилась даже прежде, нежели он до нее дотронулся, и сошла со ступеней, между тем как помощник палача прикреплял к телеге деревянную подножку.

Королева вошла на тележку, за нею взшел аббат.

Сансон усадил их обоих.

Когда тележка двинулась, в народе обнаружилось сильное движение; но так как солдаты не знали, с каким намерением произошло оно, то соединили все свои усилия, чтобы отеснить толпу, и потому между толпой и войсковыми рядами образовалось пустое пространство.

В этой пустоте раздался жалобный вой. Королева вздрогнула, встала и осмотрелась вокруг.

Тогда увидела она свою собачку, пропадавшую уже два месяца, которая не могла проникнуть к ней в Консьержери и, несмотря на крики, толчки и побои, бросилась под телегу; но почти тотчас же бедный Блек, запыхавшийся, исхудалый, исчез, раздавленный ногами лошадей.

Королева проводила его глазами, она не могла говорить, потому что голос ее перекрывался шумом; не могла указать на него пальцем, потому что руки ее были связаны; но если бы даже она могла показать, если бы даже ее могли слышать — просьба ее, вероятно, была бы напрасна.

Но, потеряв его на минуту из виду, она опять его увидела.

Его держал на руках бледный молодой человек, который возвышался над толпой, стоя на пушке, и приветствовал королеву, показывая ей на небо.

Мария-Антуанетта тоже взглянула на небо и улыбнулась.

Кавалер Мезон Руж застонал, как будто эта улыбка ранила его в сердце, и, когда телега свернула к мосту Шанж, спрыгнул в толпу и скрылся в ее волнах.

XLIX. ЭШАФОТ

На Революционной площади, прислонившись к фонарному столбу, ждали два человека.

Вместе с толпой, одна часть которой бросилась к дворцовой площади, а другая устремилась на Революционную и рассеялась шумными и тесными кружками между обеими, они ждали прибытия королевы к орудию казни, которое, обветшав от дождя и солнца, обветшав от руки палача и — ужасно вымолвить — от соприкосновения с жертвами, падавшими под его лезвием, возвышалось над стоявшими внизу головами.

Два человека, разговаривавшие у фонаря, были Морис и Лорен. Затерявшиеся между зрителями и, однако, возбуждавшие в каждом зависть своим выгодным положением, они продолжали отрывистый разговор, не лишенный интереса посреди говора, пробегавшего по этим толпам, которые, словно волны живого моря, переливались от моста Шанж до Революционного.

Обоих поразила мысль, уже высказанная нами, по поводу господства эшафота над всеми головами.

— Посмотри, — сказал Морис, — как это ненавистное чудовище поднимает красные лапы! Кажется, будто оно зовет нас и улыбается своим жасающим зевом.

— Признаться, я не принадлежу к той поэтической школе, которая видит все в багровом цвете, — отвечал Лорен. — Что до меня, то мне представляется в розовом, и даже у подножия этой ненавистной машины я бы еще пел и надеялся.

— Надеяться, когда убивают женщин!

— Морис, сын революции, не отрекайся от своей матери! Ах, Морис, оставайся добрым, честным патриотом! Та, которая умрет теперь, не такая женщина, как все прочие. Она злобный гений Франции.

— О, не об этой женщине я сожалею, не ее оплакиваю! — вскричал Морис.

— Понимаю, Женевьеву.

— Меня сводит с ума мысль, что Женевьева в руках этих подрядчиков гильотины, которых зовут Эбером и Фукье-Тенвилем, в руках людей, которые послали сюда бедную Элоизу и сейчас приведут гордую Марию-Антуанетту.

— Вот потому-то именно я и надеюсь; когда народная ярость пожрет двух тиранов, она будет сыта, по крайней мере, на время, как удав, который по три месяца переваривает то, что пожирает. Тогда уж она не будет никого поглощать и, как говорят наши пророки предместий, ее будет мутить и от маленьких кусочков.

— Лорен, Лорен, — отвечал Морис, — я положительнее тебя и говорю тебе шепотом то же, что готов повторить громко. Лорен, я ненавижу новую королеву, которая низвергла австриячку, чтобы вступить на ее престол. Отвратительная королева, у которой багряница окрашивается ежедневной кровью, а первым министром — Сансон.

— Ну, мы убежим от нее!

— Не думаю, — отвечал Морис, покачав головой, — ты видишь, что нам остается жить на улице, чтобы не быть арестованными дома.

— Так что ж! Можем покинуть Париж. Никто не мешает; не о чем,

значит, тужить. Дядя ждет меня в Сент-Омере. Деньги и паспорт — все в кармане. Не жандарм ли какой задержит нас, а?.. Мы остаемся здесь, потому что хотим оставаться.

— Нет, превосходный друг, нет, преданное сердце, ты говоришь неправду; ты останешься потому, что я хочу остаться.

— А ты хочешь остаться, чтобы отыскать Женевьеву... Просто, справедливо и натурально. Ты думаешь, что она в темнице — это более нежели вероятно, — и вот ты хочешь бодрствовать над ней, и из-за этого тебе нельзя ехать из Парижа.

Морис вздохнул.

— Помнишь смерть Людовика XVI? — сказал он. — Мне кажется, я до сих пор бледен от душевного волнения и гордости. Я был одним из предводителей этой толпы, в волнах которой теперь скрываюсь... Какая перемена, Лорен!.. Какая ужасная реакция в эти девять месяцев!..

— Девять месяцев любви, Морис!.. Любовь, ты погубила Трюю!

Морис еще раз вздохнул; блуждающая мысль его выбрала другую дорогу и устремилась к другому горизонту.

— Какой печальный день для бедного Мезон Ружа! — сказал он.

— Увы! — отвечал Лорен. — А сказать ли тебе, что всего печальнее в наших революциях?

— Скажи.

— То, что часто считаешь врагами таких людей, которых хотел бы после иметь друзьями, а за друзей такие существа...

— Знаешь ли, — перебил Морис, — мне не верится, что...

— Что именно?

— Что не придумает ли Мезон Руж какого-нибудь средства, хотя бы самого безумного, чтобы спасти королеву?

— Один человек против ста тысяч людей!

— Говорю тебе: «хотя бы самого безумного». Но для спасения Женевьевы... я бы...

Лорен нахмурил брови.

— Повторяю, Морис, ты сходишь с ума. Нет, даже для спасения Женевьевы ты не сделался бы дурным гражданином... Но довольно об этом, Морис, нас подслушивают... Постой-ка... Ух, какой волной заходили головы!.. А вот и помощник Сансона выглядывает из своего ящика... Должно быть, едет австриячка!

Морис еще более выпрямился при помощи фонарного столба и посмотрел в сторону улицы Сент-Оноре.

— Да, — сказал он, задрожав. — Вот она!

Действительно, вдали показалась другая машина, почти такая же ненавистная, как гильотина: это была решетчатая двухколесная тележка.

По правую и по левую сторону от нее блестело оружие конвоя, а впереди Граммон отвечал сверканием сабли на крики некоторых фанатиков. Но по мере того как тележка приближалась, крики эти вдруг замолкали перед мрачным и холодным взглядом осужденной.

Никогда еще лицо не внушало такого почтения; никогда Мария-Антуанетта не была так величественна и более похожа на королеву. Гордость ее мужества дошла до того, что даже внушала страх присутствующим.

Равнодушная к увещаниям аббата Жирара, сопровождавшего ее насильно, она не поворачивала головы ни направо, ни налево; мысль, жившая в глубине ее мозга, казалось, была неподвижна, как ее взор; отрывистое движение тележки по неровной мостовой самими толчками своими заставляло королеву держаться прямее: она походила на мраморную статую с той лишь разницей, что у этой живой статуи глаза сверкали и волосы развевались по ветру.

Молчание, подобное молчанию пустыни, внезапно спустилось на триста тысяч зрителей этой сцены, которых в первый раз увидело небо при солнечном сиянии.

Вскоре с того места, где стояли Морис и Лорен, можно было слышать скрип оси телеги и храп лошадей конвоя.

Тележка остановилась у лестницы эшафота.

Королева, без сомнения, не ожидавшая этого момента, очнулась и поняла; она бросила надменный взор на толпу, и бледный молодой человек, которого она видела на пушке, опять явился ей стоящим на тумбе.

С этого возвышения он послал королеве то же почтительное приветствие, которым напутствовал ее при выезде из Консьержери, и тотчас же соскочил с тумбы.

Несколько человек увидели его; но так как он был одет в черное, то распространился слух, что Марию-Антуанетту ждал священник, чтобы отпустить ей грехи в то мгновение, как она взойдет на эшафот.

Королева осторожно сошла по трем ступенькам подножки, поддерживаемая Сансоном, который, до последней минуты исполняя обязанность, словно возложенную на него самого как бы в наказание, оказывал осужденной всевозможное внимание.

Покуда Мария-Антуанетта шла к ступенькам эшафота, несколько лошадей встали на дыбы, несколько пеших стражей и солдат как будто пошатнулись и потеряли равновесие; потом как будто какая-то тень скользнула под эшафот, но почти в то же мгновение восстановилась тишина, никто не хотел оставить свое место в эту решительную минуту, никто не хотел потерять ни малейшей подробности великой драмы, готовой совершиться. Все глаза обратились на осужденную.

Королева уже стояла на площадке эшафота. С нею все еще говорил священник; один помощник Сансона тихонько подталкивал ее сзади; другой развязывал платочек, закрывавший ее плечи.

Мария-Антуанетта, почувствовав прикосновение этой подлой руки, сделала быстрое движение и наступила на ногу Сансону, который, хотя она не видела этого, привязывал ее к роковой доске.

Сансон отдернул свою ногу.

— Извините, — сказала королева, — я нечаянно.

Это были последние слова дочери кесарей, французской королевы, вдовы Людовика XVI.

На тюльрийских часах пробило три, и вместе с этим звуком Мария-Антуанетта отошла в вечность.

Ужасный крик, отражавший в себе все страсти — радость, ужас, печаль, надежду, торжество, раскаяние, — заглушил собой, как ураганом, другой крик, но слабый и жалобный, в то же мгновение раздавшийся под эшафотом.

Но как ни был слаб этот крик, жандармы расслышали его и подвинулись на несколько шагов вперед. Толпа, уже не столь сплошная, как прежде, ринулась, как река, прорвавшая плотину, опрокинула ряды, рассеяла стражу и хлынула к эшафоту.

Но жандармы искали другого: они искали тень, которая опередила их линию и скользнула под эшафот

Двое жандармов воротились, таща за ворот молодого человека, прижимавшего к сердцу платок, пропитанный кровью.

За ним шла маленькая собачка-болонка и жалобно выла.

— Убить аристократа! — закричало несколько голосов из черни. — Он смочил платок ее кровью!.. Убить!

— Боже мой! — сказал Морис Лорену. — Узнаешь ли ты? Узнаешь ли его?

— На смерть роялиста! — повторяли бешеные. — Отнять у него платок!.. Он хочет сберечь его как святыню! Вырвать! Вырвать!

На губах молодого человека появилась гордая улыбка. Он разорвал свою рубашку, раскрыл грудь и бросил платок.

— Господа, — сказал он, — это кровь не королевы, но моя. Дайте же мне спокойно умереть.

И он показал под левым соском глубокую рану, из которой текла кровь...

Толпа испустила крик и отхлынула.

Тогда молодой человек медленно начал опускаться и упал на колени, смотря на эшафот, как мученик смотрит на алтарь.

— Мезон Руж! — шепнул Лорен Морису.

— Прости!.. — тихо произнес молодой человек, с небесной улыбкой опуская голову. — Прости!.. Или лучше... до свидания!

И он испустил дух посреди остолбеневшей стражи

— Да, только одно это остается, Лорен, — сказал Морис, — пока еще не сделался дурным гражданином.

Собачка в испуге и с воем вертелась около трупа.

— А!.. Блек, поди сюда, — сказал человек, стоявший с дубиной. — Поди сюда, старенький, поди, крошечный!

Но лишь только собачка приблизилась к тому, кто ее звал, как он раздробил ей голову дубиной и захохотал во все горло.

— Подлец! — закричал Морис.

— Тс!.. — шепнул Лорен, схватив его за руку. — Молчи, или мы пропали... Это Симон.

Л. ДОМАШНИЙ ОБЫСК

Лорен и Морис возвратились в квартиру первого из них Морис, чтобы не компрометировать своего друга слишком открыто, принял за правило уходить рано поутру и возвращался вечером. Вмешиваясь во все происшествия, присутствуя при перевозке узников в Консьержери, он каждый день подстерегал, когда повезут Женевьеву, потому что не мог узнать, где она содержится. После свидания с Фукье-Тенвилем Лорен внушил своему другу, что первая явная выходка погубит его и что тогда он не сможет оказать

никакой помощи Женевьеве, и Морис, который охотно пошел бы в тюрьму, чтобы быть только возле своей возлюбленной, сделался осторожным из опасения, чтобы не разлучиться с нею навсегда.

Поэтому каждое утро ходил он от тюрьмы к тюрьме, поджидая у дверей тележки, отвозившие обвиняемых в революционный суд, и, бросив взгляд на жертвы, бежал к другой темнице. Однако он вскоре убедился, что мало даже десяти человек, чтобы наблюдать за тридцатью тремя тюрьмами, которые были тогда в Париже, и удовольствовался тем, что ждал появления Женевьевы в самом суде.

Морис уже начинал отчаиваться. В самом деле, какая надежда оставалась осужденному после приговора? Случалось, что трибунал, начавший заседание в десять часов, к четвертому часам осуждал на смерть человек двадцать или тридцать; первому осужденному оставалось еще жить часов шесть, зато последний, над которым произносили приговор в три четверти четвертого, в половине пятого падал под топором.

Ждать того же для Женевьевы значило отказаться от всякой борьбы с судьбой.

О, если б Морис заранее знал, где заключена Женевьева, какую бы шутку сыграл он с республиканским правосудием, ослепленным в это время! Как легко и быстро извлек бы он Женевьеву из темницы! Никогда побег не были легче, но, можно сказать, не были и реже, как в это время. Вся эта знать, заключенная в темницу, располагалась в ней, как в замке, и со всеми удобствами готовилась к смерти. Бежать — значило прятаться от последствий поединка; даже женщины стыдились свободы, купленной такой ценой. Но Морис не показал бы себя таким щепетильным. Нет ничего проще, как убить собаку и подкупить сторожа. Женевьева была не из тех блестящих имен, которые привлекают всеобщее внимание... Она не обесчестила бы себя бегством.

О, с какой горечью представлял себе Морис сады тюрьмы Порт-Либр, в которые так легко попасть через ограду; кельи тюрьмы Маделонетт, которые так легко пробить, чтобы выйти на улицу, и низенькие стены Люксембурга, в которые решительный человек так легко мог забраться через окошко!

Но точно ли в одной из этих тюрем содержится Женевьева?

И, пожираемый сомнениями, разбитый страхом, Морис, осыпал Диксмера проклятиями, угрожал ему, упивался ненавистью к этому человеку, подлая месть которого скрывалась под притворной преданностью королеве.

«И его также отыщу я, — думал Морис, — потому что, если он хочет спасти несчастную жену, он покажется, а если хочет погубить, то оскорбит ее. Во всяком случае, я найду его, подлеца, и горе ему будет в этот день!»

Утром, когда происходили рассказанные нами события, Морис пошел занимать свое обычное место у дверей революционного трибунала. Лорен еще спал.

Его разбудили звуки многих голосов у дверей и стук прикладов ружей. Лорен посмотрел вокруг себя блуждающими глазами. В то же самое мгновение в комнату вошли четверо полицейских, двое жандармов и комиссар.

Посещение это было так понятно, что Лорен тотчас же начал одеваться.

— Вы пришли арестовать меня? — спросил он.

— Да, гражданин Лорен.

- За что же?
— Потому что вы под подозрением.
— Так!

Комиссар черкнул несколько слов под протоколом ареста и потом спросил:

- А где ваш друг?
— Который?
— Гражданин Морис Лендэ.
— Вероятно, у себя дома.
— Нет, он живет здесь.
— Какой вздор!.. Ищите, если хотите...
— Вот и донос, — сказал комиссар, — дело ясное.

И он подал Лорену бумагу, испещренную ужасающим почерком с отвратительным правописанием. В доносе говорилось, что каждое утро из дома гражданина Лорена выходит гражданин Лендэ, подозреваемый и предназначенный быть арестованным.

Донос был подписан Симоном.

— Но ведь этот сапожник потеряет всех заказчиков, если берется разом за два дела, — сказал Лорен. — Шпионить и подбивать подметки?.. Да ваш Симон просто Цезарь.

И он залился смехом.

— Где же гражданин Морис? — сказал комиссар. — Мы приказываем тебе выдать его!

— Говорят вам, что его здесь нет!

Комиссар пошел в ближайшую комнату, потом в мансарду, где жил слуга Лорена; отворил еще комнатку. Ни малейшего следа Мориса.

Наконец письмо, только что написанное и лежавшее на столе в столовой, обратило на себя внимание комиссара. Это было письмо, оставленное Морисом поутру, покуда друг его еще спал.

«Я иду в суд, — писал Морис, — завтракай без меня, я ворочусь не раньше вечера».

— Граждане, — сказал Лорен, — как бы ни спешил я исполнить ваше приказание, однако не могу идти в одной рубашке... Позвольте же моему слуге одеть меня.

— Хорошо, — сказал комиссар, — но только поскорее.

Слуга помог своему господину одеться. Лорен позвал своего слугу не за тем, собственно, чтобы одеться, но за тем, чтобы слуга видел все происходившее и рассказал потом Морису.

— Теперь, господа, виноват, граждане... Я готов. Куда прикажете идти?.. Но только наперед позвольте мне взять последний том «Письма к Эмили», сочинение Демутье. Я не успел еще прочитать... Это будет для меня развлечение в тюрьме.

— Ненадолго, друг, — сказал Симон, сделавшийся, в свою очередь, муниципалом и вошедший вместе с четырьмя полицейскими. — Ты теперь замешан в процессе женщины, которая хотела помочь бегству австриячки... Сегодня судят ее, а завтра будут судить тебя.

— Послушай, сапожник, — сказал Лорен, — ты тачаешь подметки слишком скоро.

— Да, но у меня славный нож, — с хищной улыбкой возразил Симон. — Увидишь, увидишь, красавец гренадер!

Лорен пожал плечами.

— Что же, идем или нет? Я жду.

И когда все сходили с лестницы, Лорен так удачно пнул муниципала Симона ногой, что тот покатился кувырком по крутой и скользкой лестнице.

Полицейские не могли удержаться от смеха. Лорен засунул руку в карман.

— И это во время исправления моей должности! — сказал Симон, побагровев от бешенства.

— Кто же из нас не исправляет своей должности! — отвечал Лорен.

Лорена посадили в фиакр и повезли во Дворец правосудия.

LI. ЛОРЕН

Если читатель во второй раз последует за нами в революционный суд, то мы застанем Мориса на прежнем месте, только увидим, что он бледный и тревожнее прежнего.

В ту минуту, как мы поднимаем занавес над мрачной сценой, куда увлекли нас скорее обстоятельства, нежели собственное желание, присяжные были заняты голосованием по только что выслушанному делу: двое обвиняемых, уже нарядившихся для эшафота — многие поступали так, насмехаясь над судьями, — разговаривали со своим защитниками, походившими в этом случае на врачей, которые отчаиваются в своем пациенте.

С десяти часов утра присяжные приговорили к смерти уже шестерых обвиняемых. Теперь на скамье подсудимых сидели двое, ожидавшие ответа на вопрос — жизнь или смерть.

Присутствующие, освирепевшие от привычки к этой трагедии, сделавшейся любимым их зрелищем, — присутствующие подготавливали судей своими возгласами.

— Посмотри-ка, посмотри на этого высокого, — говорила одна чулочница, у которой вместо чепчика был надет шиньон с трехцветной кокардой шириной в ладонь. — Посмотри, как он бледен, совершенно мертвый!

Осужденный взглянул на женщину с презрительной улыбкой.

— Полно говорить вздор, — заметила ей соседка, — видишь, он смеется.

— Да, сквозь слезы.

Какой-то ротозей из предместья взглянул на карманные часы.

— Который час? — спросил у него товарищ.

— Без десяти час. Вот уже три четверти часа как тянется дело.

— Совершенно как Донфроне: в полдень приехал, а в час уже повесили...

Морис слушал эти толки, не обращая на них внимания; каждый в эту минуту был занят какой-то главной мыслью, угнетавшей его и отчуждавшей от людей. Сердце Мориса билось неровно; время от времени страх или надежда как будто останавливали ход его жизни, и эти беспрестанные колебания как будто разбили чувствительность в его сердце и заменили ее расслаблением.

Присяжные возвратились после совещания, и, как следовало ожидать, президент объявил смертный приговор двум подсудимым.

Они вышли твердым шагом; в эту эпоху все умирали героями.

— Гражданин публичный обвинитель против гражданки Женевьевы Диксмер! — раздался зловещий голос экзекутора.

Морис задрожал всем телом; на лице его выступил холодный пот.

Узенькая дверь, через которую входили обвиняемые, отворилась, и вошла Женевьева. Она была одета в белое; волосы ее были причесаны с прелестным кокетством; вместо того, чтобы остричь их, как делали многие женщины, она завила их и расположила рядами, потому что бедная Женевьева до последней минуты хотела казаться прекрасной своему избраннику.

Морис увидел Женевьеву и почувствовал, что все силы его, которые он собрал на этот случай, изменили разом; однако он ждал этого удара, потому что уже двенадцать дней не пропускал ни одного заседания, и уже три раза слух его поражало имя Женевьевы, произносимое публичным обвинителем.

Все, кто видел появление этой прекрасной женщины, испустили крик: одни от злости — в это время были люди, ненавидевшие всякое превосходство, превосходство красоты, как превосходство капитала, гения или рождения, — другие от удивления, некоторые от жалости.

Женевьева различила между этими смешанными криками, без сомнения, один, потому что она обернулась в ту сторону, где стоял Морис, покуда президент перелистывал дело, исподлобья посматривая на обвиняемую.

Как ни было лицо Мориса скрыто широкополой шляпой, однако Женевьева увидела его с первого взгляда; тогда она обернулась к нему с нежной улыбкой и еще нежнейшим жестом она приложила обе руки, розовые и дрожащие, к губам и, вложив в них всю душу своим дыханием, послала воздушный поцелуй, который имел право принять только один человек.

Шепот участия пробежал по залу. Женевьева, окликнутая судьями, обернулась к ним, но остановилась на половине этого движения, и глаза ее с несказанным выражением ужаса приковались к одному пункту зала.

Напрасно Морис становился на цыпочки; он не видел ничего или, вернее, нечто важнейшее отвлекало его взгляд на сцену, то есть на судилище.

Фукье-Тенвиль начал читать обвинительный акт.

В акте говорилось, что Женевьева Диксмер была женой отъявленного заговорщика, в котором подозревали помощника умершего кавалера Мезон Ружа в нескольких попытках спасти королеву. Притом Женевьеву застали на коленях перед королевой, умолявшую обменяться с ней одеждой и предлагавшей умереть вместо нее. Такой нелепый фанатизм, сказано было в обвинительном акте, конечно, заслужит похвалу противников революции, но в настоящее время, когда каждый французский гражданин обязан жертвовать своей жизнью для сокрушения врагов Франции, это значит изменять вдвойне.

Женевьева на вопрос, сознается ли она, как показывают жандармы Дюшен и Жильбер, что ее застали на коленях перед королевой умолявшей поменяться платьем, отвечала:

— Да.

— В таком случае расскажите ваш план.

Женевьева улыбнулась.

— Женщина может надеяться, — сказала она, — но женщина не может составлять план, подобный тому, жертвой которого я стала.

— Каким же образом вы очутились там?

- Я действовала не по своей воле, меня принуждали.
- Кто принуждал вас? — спросил публичный обвинитель.
- Люди, грозившие мне смертью, если я не послушаюсь.

И разгневанный взор молодой женщины снова устремился к пункту зала, которого не видел Морис.

— Но как же во избежание смерти, которой вам угрожали, вы не боялись смерти, которая должна была последовать за вашим приговором?

— Когда я уступила, нож был на моей груди, между тем как топор гильотины был еще далеко от моей головы. Я уступила прямому насилию.

— Зачем не позвали вы на помощь? Вас защитил бы каждый добрый гражданин!

— Увы, — отвечала Женестьева с таким выражением печали и нежности, что сердце Мориса готово было разорваться. — Увы! Со мной не было никого.

Любопытство уступило состраданию. Многие головы поникли, одни скрывали слезы, другие дали волю слезам.

Тогда Морис приметил влево от себя голову, поднятую прямо, лицо неумолимое.

Это был Диксмер, мрачный, безжалостный, не спускавший глаз ни с Женестьева, ни с судей.

Кровь бросилась в виски молодого человека; гнев поднялся из сердца в голову, наполнив все его существо жаждой мщения. Он бросил на Диксмера взгляд, заряженный таким сильным электричеством злобы, что кожевник, будто привлеченный этим сильным током злобы, обернулся к своему врагу.

Взоры их скрестились, как два пламени.

— Назовите же имена тех, которые принуждали вас, — сказал президент.

— Он был только один.

— Кто же?

— Мой муж.

— Знаете вы, где он?

— Да.

— Укажите его пребывание.

— Он мог быть подлым, но я никогда не унижусь до его подлости. Не мне доносить, где он скрывается, вы сами можете открыть его местожительство.

Морис посмотрел на Диксмера.

Диксмер не пошевелился.

В голове молодого человека сверкнула мысль: донести на него, донося на самого себя; но он подавил эту мысль.

«Нет, — сказал он, — не так должно умирать».

— Значит, вы отказываетесь помочь нам в розысках? — спросил президент.

— Я полагаю, что не могу этого сделать без того, чтобы не сделаться такой же презренной в глазах других, как сама презираю его.

— Есть ли свидетели? — спросил президент.

— Есть один, — отвечал экзекутор.

— Позовите свидетеля.

— Максимилиан Жан Лорен! — прокричал дребезжащим голосом экзекутор.

— Лорен! — вскричал Морис. — Боже мой! Что еще случилось!

Сцена эта происходила в самый день ареста Лорена, и Морис не знал об аресте.

— Лорен! — тихо проговорила Женевьева, оглядываясь с беспокойством.

— Отчего свидетель не отвечает на оклик? — спросил президент.

— Гражданин президент, — сказал Фукье-Тенвиль, — по недавно представленному доносу свидетель арестован на дому и сейчас прибудет сюда.

Морис вздрогнул.

— Есть еще другой важный свидетель, — продолжал Фукье-Тенвиль, — но его до сих пор не могли отыскать.

Диксмер с улыбкой обернулся к Морису. Может быть, в голове мужа мелькнула та же мысль, что и в голове любовника.

Женевьева побледнела и испустила слабый стон.

В это мгновение вошел Лорен, сопровождаемый двумя жандармами.

За ним и в ту же дверь явился Симон и сел в ложе, как постоянный посетитель.

— Ваше имя и фамилия? — спросил президент.

— Максимилиан Жан Лорен.

— Звание?

— Свободный человек.

— Ненадолго, — прибавил Симон, погрозив ему кулаком.

— В родственных отношениях вы с подсудимой?

— Нет, но имею честь быть одним из ее друзей.

— Знали вы, что она участвовала в заговоре о похищении королевы?

— Как я мог знать об этом?

— Она могла довериться вам.

— Мне!.. Члену фермопильской секции! Что вы говорите!

— Однако вас иногда видели с нею.

— Я думаю, что даже часто.

— Вы знали ее как аристократку?

— Я знал ее как жену кожевника.

— Муж ее, в сущности, не занимался этим ремеслом, но только скрывался за ним.

— Этого я не знаю, я не был дружен с ее мужем

— Расскажите нам о нем.

— О, с удовольствием!.. Муж ее — мерзавец!..

— Ради бога, сжалитесь, господин Лорен! — прошептала Женевьева.

Лорен продолжал совершенно равнодушно

— Он пожертвовал бедной женой, которую вы видите, чтобы удовлетворить не политические свои убеждения, а личную ненависть... Тьфу!.. Я ставлю это существо почти на одну ступень с Симоном.

Диксмер посинел; Симон хотел было говорить, но президент велел ему молчать.

— Кажется, вы прекрасно знаете всю эту историю, гражданин Лорен, — сказал Фукье. — Расскажите ее нам.

— Извините, гражданин Фукье, — отвечал Лорен, вставая, — я сказал все, что знал.

Лорен поклонился и опять сел.

— Гражданин Лорен, — продолжал обвинитель, — ты обязан разъяснить дело суду.

— Пускай суд разъясняет сам, потому что я все сказал. Что же касается этой бедной женщины, повторяю, она только повиновалась насилию... Только взгляните на нее, ну похожа ли она сколько-нибудь на заговорщицу? Ее принудили сделать то, что она сделала — и все тут.

— Ты думаешь?

— Уверен.

— Именем закона, — сказал Фукье, — я требую, чтобы свидетель Лорен был представлен на суде как обвиняемый в соучастии с этой женщиной.

Морис испустил стон. Женестьева закрыла лицо руками. Симон заорал в порыве радости:

— Гражданин обвинитель, ты спас отечество!

Лорен, не отвечая ни слова, перешагнул через перила, чтобы сесть возле Женестьева, и почтительно поцеловал ей руку.

— Здравствуйте, гражданка, — сказал он с удивительным спокойствием, которое произвело впечатление на публику. — Как ваше здоровье?

И сел на скамью подсудимых.

III. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО

Вся эта сцена прошла перед Морисом, как фантазмагорическое видение. Опершись на рукоять сабли, которую он всегда носил, он видел, как один за другим падали его друзья в пучину, которая не отдает своих жертв, и этот образ смерти так поразил его, что он спрашивал у себя, зачем же ему, товарищу этих несчастных, хвататься за край пропасти и не предать себя в жертву водоворота, который увлек бы его вместе с ними.

Перелезая через перила, Лорен увидел мрачное и насмешливое лицо Диксмера, и когда сел возле Женестьева, она наклонилась к его уху.

— Боже мой, — сказала она. — Знаете ли вы, что Морис здесь?

— Где же?

— Не смотрите вокруг, ваш взгляд может погубить его.

— Будьте спокойны.

— Позади нас, у дверей. Какая горесть для него, если нас осудят!

Лорен взглянул на женщину с нежным состраданием.

— А этого не избежать нам, — сказал он. — Умоляю вас не сомневаться.

Обман будет слишком жесток, если вы еще надеетесь.

— Боже мой! И бедный друг мой останется один на земле!

Тогда Лорен обернулся к Морису, и Женестьева, будучи не в силах удержаться, в свою очередь, бросила быстрый взгляд на молодого человека. Морис стоял, устремив на них глаза и приложив руки к сердцу.

— Есть одно средство спасти вас, — сказал Лорен.

— Верное? — спросила Женестьева, у которой глаза сверкнули радостью.

— О, за него я ручаюсь!

— О, если бы вы спасли меня, Лорен, как бы я вас благословляла!

— Средство это...

Женевьева прочла в глазах молодого человека нерешительность.

— Так и вы его видели? — спросила она.

— Видел. Хотите вы спастись... Пусть он, в свою очередь, сядет в железное кресло, в котором вы сидите.

Диксмер, вероятно, угадал по выражению глаз Лорена, о чем говорилось, потому что он сначала побледнел, но вскоре лицо его опять приняло мрачное спокойствие и озарилось адской улыбкой.

— Это невозможно, — отвечала Женевьева. — Тогда уж мне нельзя будет его ненавидеть.

— Скажите лучше, что он знает ваше великодушие и не боится вас.

— Конечно, он уверен в себе, во мне, во всех нас.

— Женевьева, я не такое совершенное существо, как вы; позвольте мне вовлечь его в дело, и пусть он погибнет!

— Нет, Лорен, заклинаю вас! Ничего общего с этим человеком, даже смерти! Мне кажется, что я изменю Морису, если умру с Диксмером.

— Но вы не умрете.

— А как жить мне, когда он умрет?

— Да, недаром вас любит Морис. Вы — ангел, а отечество ангелов — небеса. Бедный Морис!

Между тем Симон, который не мог слышать того, что говорили обвиняемые, пожирал взором их лица, не слыша их слов.

— Гражданин жандарм, — сказал он, — не позволяй заговорщикам продолжать разговоры против республики даже в революционном трибунале.

— Ладно, — отвечал жандарм. — Ты знаешь, гражданин Симон, что здесь не составляют заговоров, а если бы и составляли, то ненадолго. Граждане эти разговаривают, а если закон не запрещает разговаривать в тележке, отчего же запрещать разговаривать в суде.

Жандарм этот был Жильбер. Узнав несчастную женщину, которую он поймал в тюрьме королевы, он не мог по врожденной честности не уважать в ней мужества и преданности.

Президент посоветовался со своими ассистентами и, по приглашению Фукье-Тенвиля, продолжал допрос.

— Обвиняемый Лорен, — спросил он, — какого рода были ваши отношения с гражданкой Диксмер?

— Какого рода, гражданин президент?

— Да.

— Чистейшая дружба соединяла наши сердца. Она любила меня как брата, я ее как сестру.

— Гражданин Лорен, — заметил Фукье, — рифма не годится.

— Как так?

— Разумеется, тут лишнее S*.

— Отруби его, гражданин обвинитель, отруби! Это по твоей части.

При этой страшной шутке бесстрастное лицо Фукье-Тенвиля слегка побледнело.

*

В подлиннике *sosur* (сестра) срифмовано с *sosur* (сердце), рифма неудачная.

— А какими глазами смотрел гражданин Диксмер на связь своей жены с человеком, которого он считал республиканцем? — спросил президент.

— Вот уж этого никак не могу сказать вам, потому что не знал гражданина Диксмера, чем совершенно доволен.

— Но ты не говоришь, — возразил Фукье, — что твой друг гражданин Морис Лендэ был звеном твоей чистойшей дружбы с обвиняемой.

— Не говорю, потому что, кажется, этого не следует говорить, и думаю даже, что вам не мешало бы взять пример с меня.

— Граждане присяжные, — сказал Фукье-Тенвиль, — оценят эту странную связь двух республиканцев с аристократкой, и притом в то самое мгновение, когда, по признанию этой самой аристократки против нации составлялся гнусный заговор.

— А каким, например, образом, гражданин обвинитель, мог я знать о заговоре, о котором ты говоришь? — сказал Лорен, скорее возмущенный, нежели испуганный таким грубым аргументом.

— Ты знал эту женщину, был ее другом, она называла тебя братом, ты называл ее сестрой и не знаешь ее действий?.. Возможно ли, как ты сам заметил, — сказал президент, — чтобы она одна заквашивала дело, в котором обвиняют ее?

— Она его не заквашивала одна, — отвечал Лорен, употребив техническое выражение президента, — потому что она же вам говорила, и я говорил, и повторяю, что муж ее принудил к этому угрозой смерти.

— В таком случае, как же тебе не знать мужа, если ты так хорошо знал жену? — спросил Фукье.

Лорену стоило только рассказать, как в первый раз скрылся Диксмер; рассказать о любви Женевьевы и Мориса, наконец, о том, как муж увез и скрыл свою жену в неприступном убежище; но это значило бы изменить тайне двух друзей, заставить Женевьеву краснеть перед зрителями. Лорен покачал головой, как будто говоря самому себе «нет».

— Ну что же, — спросил президент, — что ответите вы гражданину обвинителю?

— То, что его логика убийственна, — сказал Лорен. — Он убедил меня в деле, которого я и не подозревал за собой.

— А именно?

— Что я самый ужасный заговорщик, которого еще свет не производил.

Объявление это возбудило всеобщий смех, от которого не могли даже воздержаться присяжные, потому что тон, каким были сказаны эти слова, шел к ним как нельзя лучше.

Фукье почувствовал всю ядовитость насмешки, но при неутомимой настойчивости своей, успев узнать тайны всех подсудимых, он не мог удержаться от сострадательного удивления.

— Что же, гражданин Лорен, — сказал он, — говори, защищайся. Суд выслушает тебя, потому что знает, что твое прошлое было безупречно и что ты всегда был честным республиканцем.

Симон хотел было говорить, но президент сделал ему знак молчать.

— Говори, гражданин Лорен, — сказал он. — Мы слушаем.

Лорен снова покачал головой.

— Молчание это означает согласие, — заметил президент.

— Нет, молчание это значит молчание, и только.

— Еще раз, будешь ли ты говорить? — сказал Фукие.

Лорен обернулся к зрителям, желая прочесть в глазах Мориса, что делать. Но Морис не показал ему знаком, что следует говорить, и Лорен молчал. Это значило произнести себе приговор, за которым не замедлило последовать исполнение. Фукие изложил в общих чертах обвинение, президент дал заключение, присяжные пошли совещаться и возвратились с обвинительным приговором над Лореном и Женевевой.

Президент присудил их обоих к смертной казни.

На больших часах дворца было два. Президент употребил на вынесение приговора ровно столько времени, сколько звучал бой часов.

Морис слушал слияние этих двух звуков — голоса и металла, — и когда дрожание их в воздухе затихло, силы его уже были истощены.

Жандармы увели Женевьеву и Лорена, который предложил ей свою руку. Оба они приветствовали Мориса, но различно. Лорен улыбнулся, Женевьева, бледная, чуть не в обмороке, послала ему последний поцелуй на кончиках пальцев, смоченных слезами.

Она до последнего мгновения сохраняла надежду на жизнь и плакала не о жизни своей, но о своей любви, которая угасала с жизнью.

Морис, полупомешанный, не отвечал на это прощание своих друзей; он встал, бледный, растерянный, со скамьи, на которую было опустился. Друзья его уже скрылись.

Одно только чувствовал Морис — еще была жива в нем злоба, глодавшая его сердце.

Он в последний раз посмотрел вокруг и увидел Диксмера, который удалялся вместе с другими зрителями и согнулся, проходя в низенькую дверь, ведущую в коридор.

Морис с быстротой сжатой пружины, которая вдруг распрямилась, поскакал со скамьи на скамью и очутился у той же двери.

Диксмер уже прошел ее и спускался в темный коридор. Морис спускался позади него.

В ту секунду, как Диксмер ступил на плиты большого зала, Морис коснулся его плеча.

III. ДУЭЛЬ

В эту эпоху почувствовать удар по плечу было делом весьма серьезным. Диксмер обернулся и узнал Мориса.

— А, здравствуйте, гражданин республиканец, — сказал Диксмер с легкой дрожью, которую, однако, он тотчас же скрыл.

— Здравствуй, гражданин подлец, — отвечал Морис. — Вы ждали меня, не правда ли?

— То есть напротив, перестал ждать.

— Отчего же?

— Потому что ждал вас раньше.

— Я пришел еще слишком рано для тебя, злодея! — продолжал Морис ужасающим голосом, потому что в сердце его скопились громовые тучи, так как глаза бросали молнии.

— Из ваших глаз сверкает пламя, гражданин, — сказал Диксмер. — Нас узнают и будут преследовать.

— Да, а ты боишься, что тебя арестуют, не правда ли, боишься, что отведут на тот самый эшафот, куда ты посылаешь других? Пускай арестуют нас; тем лучше. Сегодня, кажется, недостает одного преступного имени в списке национального правосудия...

— Как недостает одного имени в списке чести — не правда ли, — с тех пор, как оттуда скрылось ваше имя.

— Хорошо, об этом, надеюсь, мы еще поговорим. А покуда вы излили месть — и как подло излили! — на женщину. Если, как вы говорите, вы ждали меня, то для чего не ждали у меня в доме в тот день, как вы украли у меня Женьеву?

— Я думаю, первый вор — вы сами.

— Пожалуйста, без остроумия — этого качества я никогда не знал за вами; слов также не надо. Вы гораздо лучше на деле, нежели на словах: доказательством тому день, в который вы хотели убить меня, в этот день говорила сама ваша натура.

— И я не раз упрекал себя, что не послушался ее голоса, — спокойно отвечал Диксмер.

— За чем же дело? — сказал Морис, ударив рукой по своей сабле. — Предлагаю вам отыгаться.

— Если угодно завтра, но не сегодня вечером.

— Отчего же не сию минуту?

— Потому что до пяти часов я занят.

— Опять какое-нибудь подлое намерение, — сказал Морис.

— Послушайте, милостивый государь, однако вы, право, не очень благодарны. Как! Целых шесть месяцев я давал вам волю вести с моей женой любовную интригу; целых шесть месяцев падал ваши свидания, смотрел сквозь пальцы на ваши улыбки... Сознайтесь, что я вовсе не похож на тигра.

— То есть ты думал, что я могу быть тебе полезен, и ты берег меня.

— Разумеется, — отвечал Диксмер, столько же владевший собой, сколько Морис горячился. — Конечно, покуда вы изменяли вашей республике и продавали мне ее за взгляд моей жены; покуда вы оба бесчестили себя — один предательством, другая преступной любовью, — я был мудрецом и героем: ждал и торжествовал.

— Гадость, — сказал Морис.

— Да, не правда ли? Вы очень верно определили свое положение и поведение. Действительно, оно гадко и подло.

— Ошибаетесь, милостивый государь, я называю гадким и подлым поведение человека, которому была вверена честь женщины, который клялся сохранить эту честь чистой и безупречной и который, вместо того чтобы исполнить свою клятву, сделал из этой красоты постыдную ловушку, в которую поймал слабое сердце. Прежде всего, милостивый государь, на вас лежал священный долг защитить эту женщину, а вместо этого вы ее предали.

— Я сейчас скажу вам, милостивый государь, что мне следовало делать, — отвечал Диксмер. — Мне должно было спасти своего друга, который вместе со мной защищал правое дело. Я принес ему в жертву и свои блага, и свою честь; о себе я забыл, поставил себя на самом последнем плане.

Теперь у меня более нет друга: он умер от кинжала; теперь у меня нет моей королевы — моя королева умерла на эшафоте... Теперь... теперь я помышляю только о мщении...

— Скажите лучше — об убийстве.

— Когда поражают неверную женщину, ее не убивают, а наказывают.

— Но эта же неверность вызвана твоими поступками; значит, она законна.

— Вы думаете? — спросил Диксмер с мрачной улыбкой. — Спросите-ка у ее совести, считает ли она законным свое поведение?

— Наказывая, поражают явно; а ты не наказываешь, потому что, поражая, сам бежишь прочь; бросив ее голову гильотине, сам прячешься, как вор.

— Я прячусь, бегу? Где видел ты это, бедный безумец? Разве присутствовать при ее приговоре значит прятаться? Разве я убегаю, когда иду в зал мертвых, чтобы бросить ей мое последнее прощание?

— Так ты хочешь идти к ней? — вскричал Морис. — Хочешь прощаться?

— Перестань, гражданин Морис, право, ты неопытен еще в деле мщения, — сказал Диксмер, пожимая плечами. — Будь ты на моем месте, ты бы остался доволен, предоставив события собственному их ходу, и если бы, например, неверная жена заслужила смертную казнь, ты считал бы, что уже сквиталась с нею или что она сквиталась с тобой... Нет, гражданин Морис, я действую лучше тебя: я нашел средство отплатить этой женщине за все зло, которое она сделала мне. Она любит тебя — и умрет вдали от тебя; она ненавидит меня — и увидит меня еще раз... Посмотри, — прибавил он, вынув из кармана бумажник. — Видишь этот бумажник?.. В нем есть билет, подписанный тюремным регистратором. С этим билетом я могу пройти к осужденным арестантам, и я пройду к Женевьеве и назову ее обманщицей. Я увижу, как с ее головы упадут волосы под рукою палача, и пока они будут падать, я закричу ей: «Обманщица!» Я провожу ее до позорной телеги, и когда она ступит на эшафот, последним словом, которое она услышит, будет: обманщица!

Диксмер был ужасен от бешенства и ненависти; он схватил руку Мориса и тряс ее с изумительной силой. По мере того как Диксмер разгорячился, Морис успокаивался.

— Послушай, — сказал молодой человек, — мщению этому недостает только одного.

— Чего это?

— Чтобы ты мог сказать ей, выходя из суда: «Я встретил твоего любовника и убил его».

— Напротив, для меня приятно сказать ей, что ты жив и что всю остальную жизнь свою будешь страдать от того, что видел ее смерть.

— Однако ты все же убьешь меня, — сказал Морис. — Или, — прибавил он, осматривая свою позицию и находя ее почти выгодной для себя, — или я убью тебя!

И, бледный от душевного волнения, чувствуя, что силы его удвоились, покуда он слушал, как Диксмер развивал свое ужасное намерение, Морис схватил его за горло и придвинул к себе, продолжая задом идти по лестнице, которая вела к реке.

От прикосновения этой руки ненависть, как лава, прилила к сердцу Диксмера.

— Не тащи меня, — сказал он. — Я пойду сам.

— Так иди же.

— Я пойду сзади тебя.

— Нет, иди впереди; но предупреждаю: при малейшем сомнительном движении я раскрою тебе голову саблей.

— О, ты очень хорошо знаешь, что я не боюсь, — сказал Диксмер с улыбкой, которая была так ужасна от бледности его губ.

— Не боишься моей сабли — это правда, — проговорил Морис, — но боишься не отомстить мне... И однако, — прибавил он, — так как мы стоим теперь лицом к лицу, ты можешь проститься со своим мнением.

Действительно, они подошли к воде, и если бы посторонние могли следить за ними глазами, то никто не успел бы прийти сюда вовремя, чтобы помешать дуэли. Притом же гнев равно пожирал обоих.

Разговаривая таким образом, они спустились по лесенке, ведущей на площадь Судебной Палаты, и когда вышли на набережную, там не было почти ни души. Толпа теснилась еще в коридорах и во дворах трибунала, потому что было только два часа. Диксмер, по-видимому, столько же жаждал крови Мориса, сколько Морис жаждал крови Диксмера.

Они пробрались под своды, которые вели от Консьержери к реке. Эти ныне зловонные стоки нечистот некогда орошались кровью, и не раз валялись в них трупы бежавших из темниц.

Морис стал между водой и Диксмером.

— Мне кажется, Морис, что я убью тебя, — сказал Диксмер. — Ты что-то слишком дрожишь.

— А мне кажется, Диксмер, что, напротив, я убью тебя, — отвечал Морис, взяв в руки саблю и старательно загораживая ему путь к отступлению. — Да, я убью тебя, а потом выну из твоего бумажника пропуск, подписанный тюремным регистратором... О, не застегивай фрака, это напрасно; сабля моя распорет его, хотя бы он был медный, как древние латы.

— И ты возьмешь эту бумагу? — произнес Диксмер задыхающимся голосом.

— Да, я воспользуюсь этой бумагой; я пойду с ней к Женеьеве; я сяду возле нее в позорную телегу; я стану говорить ей на ухо, куда она будет жива, что я люблю ее, и когда упадет ее голова, скажу: «Я любил тебя».

Диксмер сделал движение левой рукой, чтобы выхватить бумагу из правой руки и бросить бумажник в реку; но сабля Мориса, быстрая, как молния, и острая, как топор, почти отсекла ее кисть.

Раненый вскрикнул, опустив изувеченную руку, и стал в наступательную позу.

Под мрачными сводами завязалась страшная борьба; два человека, заключенные в таком тесном пространстве, что удары, так сказать, не могли на волос промахнуться мимо тела, два человека скользили по сырой плите и едва держались за стенки клоаки. Накал борьбы возрастал вместе с нетерпением сражавшихся. Диксмер чувствовал, как из него текла кровь, и, понимая, что силы его иссякнут с кровью, нанес такой сильный удар Морису, что тот вынужден был отступить на шаг; левая нога его поскользнулась, и противник ткнул его в грудь острием сабли. Но Морис, несмотря на то, что упал на колени, быстро поднял левой рукой саблю и поставил ее против

Диксмера, который в бешенстве, поскользнувшись на покатости, наткнулся на нее, и она вошла в его тело..

Подземелье огласилось воплем проклятья; потом два тела скатились до края свода.

Встал только один Морис, обогранный кровью... но кровью своего врага. Он вынул саблю из его тела, но, по мере того, как вынимал, казалось, что на клинке еще отзывалось последнее дыхание жизни, колебавшей нервным трепетом члены Диксмера.

Потом, удостоверившись, что Диксмер умер, Морис наклонился к труп, расстегнул платье покойника, вынул бумажник и поспешно удалился.

Взглянув на себя, Морис увидел, что ему невозможно пройти четырех шагов по улице без того, чтобы его не схватили: он был весь забрызган кровью. Морис нагнулся к реке, омыл свою одежду и потом побежал по лестнице, бросив последний взгляд под арку.

Красная и дымящаяся струйка медленно текла из нее к реке.

Подойдя к Дворцу правосудия, Морис раскрыл бумажник и нашел в нем пропуск, подписанный тюремным регистратором.

— Благодарю тебя, правосудный боже! — произнес Морис и быстро взшел по лестнице, которая вела в Зал мертвых.

Пробило три часа.

LIV. ЗАЛ МЕРТВЫХ

Читатели помнят, что тюремный регистратор выдал Диксмеру списки арестантов и поддерживал с ним сношения, которые от присутствия регистраторши сделались для него еще приятнее. Легко, значит, понять, как перепугался тюремный регистратор, когда обнаружил заговор Диксмера. Действительно, тюремного регистратора должны были счесть ни более ни менее как сообщником в замыслах его лжетоварища и приговорить к смерти вместе с Женевьевой.

И Фукье-Тенвиль потребовал его к себе.

Понятно, какого труда стоило несчастному, чтобы оправдаться в глазах общественного обвинителя, однако, наконец, он успел в этом, благодаря показаниям Женевьевы, которая решительно утверждала, что не имела никакого понятия о намерениях мужа благодаря бегству Диксмера и, главное, благодаря тому, что Фукье-Тенвиль хотел выставить свою администрацию безупречной.

— Гражданин, — сказал регистратор, падая на колени, — прости меня, я поддался обману!

— Гражданин, — отвечал общественный обвинитель, — чиновник нации, поддающийся обману, в нынешние времена заслуживает гильотины.

— Но ведь бывают недогадливые и глупые люди, гражданин! — произнес регистратор, которому ужас как хотелось назвать Фукье-Тенвиля монсеньором.

— Никто не должен позволять, чтобы в нем усыпляли любовь к республике, будь ли он глупец или нет. Капитолийские гуси тоже были глупы, однако проснулись, чтобы спасти Рим.

Регистратору нечего было возразить на подобный аргумент; он громко вздохнул и ждал приговора.

— Прощаю тебя, — сказал Фукье, — и даже буду защищать тебя, потому что я не хочу, чтобы на моих чиновников падала хотя бы тень подозрения; но помни, что если хоть одно слово об этом деле дойдет до моих ушей — несдобровать тебе.

Напрасно говорить, с каким рвением регистратор принялся за газеты, так усердно передающие публике все, что они знают, хотя бы за это известие десяти гражданам сразу отрубили головы.

Регистратор всюду искал Диксмера, чтобы упросить его молчать о прошлом, но Диксмер, само собой разумеется, переменил квартиру, и он не мог его найти.

Женевьеву привели на кресло осужденных, но она объявила на следствии, что у нее, как и у ее мужа, не было сообщников. Зато как благодарил глазами бедную женщину регистратор, когда она проходила мимо него, отправляясь в суд.

Но как только она прошла, а он зашел на минуту в контору, чтобы взять бумаги, которые потребовал гражданин Фукье-Тенвиль, он вдруг увидел Диксмера, подходившего к нему ровным и спокойным шагом. Регистратор остолбенел от этого видения.

— Разве ты не узнаешь меня? — спросил вошедший.

— Как же. Ты гражданин Дюран или, вернее, Диксмер.

— Совершенная правда!

— Тебя сейчас арестуют.

— Кто, например?

— А хоть бы я. Стоит мне сказать одно слово, и тебя сведут на гильотину.

— А мне стоит сказать два слова — и тебя повезут туда же вместе со мной.

— Это было бы подлостью!

— Нет, это чистая логика.

— Но в чем же дело, говори скорее: чем меньше мы будем разговаривать, тем меньше для нас опасности.

— Вот в чем дело! Жена моя приговорена к смерти, не так ли?

— Да, к несчастью...

— Я хочу видеть ее в последний раз, чтобы проститься.

— Где же?

— В Зале мертвых.

— И ты осмелился бы войти туда?

— Почему же нет?

— О!.. — произнес регистратор, у которого при одной мысли пробежал мороз по коже.

— Верно, для этого есть какое-нибудь средство? — продолжал Диксмер.

— Чтобы войти в Зал мертвых-то? Конечно, есть!

— Какое?

— Надо достать для этого билет.

— А где достают билеты?

Регистратор ужасно побледнел и пробормотал:

— Вы спрашиваете, где можно достать билет?

— Да, я спрашиваю: где можно достать такой билет? — ответил Диксмер. — Кажется, вопрос ясный.

— Можно достать... здесь.

— За чьей же подписью?

— Регистратора.

— Регистратора?.. То есть за твоей подписью?

— Конечно.

— Как это кстати, — сказал Диксмер, усаживаясь. — Ты сейчас подпишешь мне пропуск.

Регистратор отскочил.

— Ты требуешь моей головы, гражданин? — сказал он.

— Нисколько. Я требую от тебя билет — и все тут.

— Но я велю арестовать тебя, — сказал регистратор, собрав всю свою энергию.

— Попробуй, но в ту же минуту я донесу на тебя, как на моего сообщника, и, вместо того чтобы пропустить меня одного в зал, ты пойдешь вместе со мной.

Регистратор побледнел.

— Разбойник! — сказал он.

— Тут нет никакого преступления; мне надо поговорить с женой, и я прошу у тебя пропуск.

— Неужели у тебя такая крайность говорить с нею?

— Надо полагать, иначе я не рисковал бы своей головой.

Причина показалась регистратору уважительной. Диксмер видел, что он решается.

— Полно, не бойся, ничего не узнают, — сказал он регистратору. — Бывают же такие случаи.

— Знаешь, устроим дело иначе.

— С величайшим удовольствием, если только можно.

— Очень можно. Войди дверь, в которую вводят осужденных; тут не надо никакого пропуска, а потом, когда поговоришь с женой, позови меня, и я велю тебя выпустить.

— Недурно! — отвечал Диксмер. — Боюсь только, не случилось бы со мной того же, что было с горбатым, который ошибся дверью и, думая попасть в архив, попал в зал. Но, как он вошел туда не через главную дверь, а через ту, которой вводят осужденных, и, на беду, не запасся билетом, то его уже не хотели выпустить: говорили, если ты вошел вместе с другими осужденными, то, значит, и сам ты осужденный. Бедняга начал защищаться, клялся, кричал — не помогло, и Сансон сначала обстриг ему волосы, а потом отрезал голову. Слышал ты этот анекдотец, регистратор, правда это или нет?

— К сожалению, правда.

— Так видишь ли, после таких казусов было бы сумасшествием войти в эту бойню, не запасшись билетом.

— Но говорю тебе, я буду возле!

— А если будешь занят чем-нибудь? Или если забудешь?

— Но даю тебе слово.

— К чему? Это может скомпрометировать тебя. Пожалуй, если увидят, что мы разговариваем... Неловко, братец. Лучше выдай мне билет.

— Невозможно.

— Невозможно?! А! В таком случае, я скажу словцо-другое, и мы прогуляемся вдвоем к эшафоту.

Регистратор, перепуганный, полумертвый, подписал пропуск для одного гражданина.

Диксер схватил бумажку и побежал к судилищу, где мы его видели.

Остальное читателю известно.

С этой минуты регистратор, во избежание всякого обвинения в сообщничестве, сидел возле Фуке-Тенвиля и поручил управление делами своему старшему помощнику.

В десять минут четвертого Морис с пропуском в кармане прошел через ряд тюремщиков и жандармов и добрался до роковой двери.

Впрочем, мы выразились не совсем точно: тут было две двери — большая, в которую входили и выходили по билетам, и арестантская — через последнюю входили те, которые должны были выйти, чтобы идти на эшафот.

Комната, в которую проник Морис, разделялась на два отделения. В одном заседали чиновники, обязанные записывать имена проходящих; в другом, меблированном лишь несколькими деревянными скамьями, содержались без разбора и арестованные и осужденные, — что значило почти одно и то же. В эту темную комнату свет проходил только через стекла перегородки, отделявшей тюремную контору.

В углу, прислонившись к стене, лежала почти в обмороке женщина, одетая в белое платье. Перед нею стоял, скрестив руки, мужчина, который время от времени покачивал головой и не решался говорить, боясь пробудить в ней чувства, по-видимому, покинувшие ее. Вокруг этих двух лиц толклись осужденные; одни из них рыдали или пели патриотические песни; другие ходили большими шагами, как бы убегая от мысли, которая пожирала их.

Это было преддверие смерти, и обстановка делала его вполне достойным этого названия.

Тут стояли гробы, наполненные соломой, как будто приглашавшие живых в свои вместилища: это были постели для отдыха, временные гробницы. У стены, противоположной стеклянной перегородке, стоял шкаф. Какой-то арестант отпер его из любопытства — и отшатнулся в ужасе. В шкафу висели окровавленные платья казенных накануне и длинные косы: палачи продавали их в свою пользу родственникам жертв, если правительство не приказывало сжигать эти остатки.

Морис, едва отворил дверь, как с одного взгляда увидел всю эту картину. Он прошел три шага по комнате и упал к ногам Женевьевы.

Несчастная женщина испустила крик, но Морис унял его своим поцелуем.

Лорен, плача, сжимал друга в своих объятиях: это были его первые слезы.

Странное дело: все эти несчастные, собранные вместе и приговоренные вместе умереть, едва обращали внимание на картину страдания подобных им несчастных. У каждого было слишком много собственных ощущений, чтобы принимать участие в ощущениях других.

Трое друзей с минуту оставались соединенными безмолвным, жарким и почти радостным объятием.

Лорен первый отделился от группы страдальцев.

— И ты также осужден? — сказал он Морису.

— Да.

— О, счастье! — прошептала Женевьева.

Морис посмотрел на Женевьеву с пламенной и глубокой любовью и, поблагодарив ее за эгоистическое и вместе с тем нежное слово, которое вырвалось из ее сердца, обратился к Лорену.

— Теперь побеседуем, — сказал он, сжимая в своей руке руки Женевьевы.

— Да, потолкуем, — сказал Лорен. — Будет ли у нас достаточно времени, чтобы переговорить? Что хотел ты мне сказать?

— Ты арестован из-за меня, осужден за нее, не сделав ничего против закона. Если Женевьева и я платим свой долг, то не следует тебе платить вместе с нами.

— Не понимаю.

— Лорен, ты свободен.

— Свободен? Я?! Ды ты с ума сошел! — сказал Лорен.

— Нет, я не сумасшедший; повторяю, ты свободен — и вот тебе пропуск. Когда спросят у тебя, кто ты — отвечай: чиновник из тюрьмы Карм, приходил к тюремному регистратору; хотелось, мол, посмотреть на осужденных; получил позволение, видел, доволен — и уходишь обратно.

— Да ты не глупишь?

— Нисколько; вот и пропуск. Пользуйся случаем. Ты не влюблен; тебе не нужно умирать для того, чтобы пробыть несколько лишних минут у своей возлюбленной и не потерять ни секунды.

— Так вот что, Морис: если можно выйти отсюда, чему, клянусь, я никогда бы не поверил, зачем, прежде всего, нам не спасти ее? А что касается тебя — мы подумали бы еще.

— Невозможно, Лорен; видишь на билете написано: «гражданин», а не «гражданка»; притом Женевьева не захотела бы уйти, оставив меня здесь, и жить, зная, что я умер.

— Если не захочет она, для чего же мне хотеть? — отвечал Лорен. — Разве я слабее женщины?

— Нет, мой друг, напротив; я знаю, что ты самый смелый из мужчин; но ничем в мире нельзя извинить твое упрямство в подобном случае. Перестань, Лорен; пользуйся минутой и доставь нам последнюю радость — знать, что ты свободен и счастлив.

— Счастлив? — вскричал Лорен. — И ты говоришь это не шутя? Счастлив — без вас! Да какого черта я стану делать без вас на земле, в Париже, отказавшись от своих привычек, не надоедая больше вам своим стихоплетством?.. Нет уж, извините...

— Лорен, друг мой!..

— По тому-то самому, что я твой друг, я и настаиваю. Если бы я надеялся в будущем увидеть вас обоих — будь я арестантом, как теперь, я бы перевернул стены вверх дном; но бежать отсюда одному, шататься по улицам, опустив голову под упрёком совести, когорая беспрестанно кричала бы мне в уши: «Морис, Женевьева!» — проходить по кварталам и мимо домов, где я видел вас живыми и где буду видеть только ваши тени, чтобы, наконец,

предать проклятию тот самый Париж, который я так любил!.. Нет, ни за что!.. Мне хорошо здесь, и я остаюсь.

— Бедный друг, бедный друг! — сказал Морис.

Женевьева не говорила ни слова, но смотрела на него глазами, полными слез.

— Ты жалеешь о жизни? — сказал Лорен.

— Да... за нее.

— А я не жалею, ни по каким причинам, даже не жалею ради Богини Разума, которая... и я забыл сообщить тебе об этом обстоятельстве... на днях наделала мне очень серьезных неприятностей... Значит, я уберусь со здешнего света очень спокойно, позабавлю эту сволочь, которая побежит за тележкой, отпущу четыре хорошеньких стишка мосье Сансону, а там... прощай, честная компания... то есть... да, постоит еще...

Лорен остановился.

— Да, да! В самом деле, надо сходить! — прибавил Лорен. — Я знаю, что я никого не любил, но я забыл, что еще ненавижу кое-кого... Который час на твоих, Морис?

— Половина четвертого.

— Еще успею!

— Разумеется! — вскричал Морис. — Еще остается десять осужденных — значит, история кончится не раньше, как к пяти часам. У нас еще целых два часа.

— Больше и не надо; дай твой билет и одолжи двадцать су.

— Боже! Что вы хотите делать? — проговорила Женевьева.

— У меня есть одна мысль, — сказал Лорен.

Морис вынул из кармана кошелек и передал другу.

— А теперь, ради бога, дай пропуск.

Морис вручил ему билет.

Лорен поцеловал руку Женевьева и, воспользовавшись мгновением, пока вводили в тюремную контору партию осужденных, перешагнул через скамейки и явился у больших дверей.

— Эге! Кажется, один дал тягу, — сказал жандарм.

Лорен оправился и подал ему билет.

— На, гражданин жандарм, и вперед лучше различай людей.

Жандарм узнал подпись регистратора; но так как в это самое время, как нарочно, регистратор возвращался из суда, то жандарм остановил его.

— Гражданин, — сказал он, — некто желает выйти из Зала мертвых с помощью вот этой бумаги. Годится ли этот пропуск?

Регистратор, которого не покидала дрожь с той минуты, как он безрасудно рискнул приложить свою подпись, побледнел от страха и схватил билет.

— Да, да, это моя подпись.

— В таком случае, — сказал Лорен, — возврати мне билет.

— Нельзя, — отвечал регистратор, разрывая бумагу на мельчайшие кусочки. — Эти билеты служат только на один раз.

Лорен с секунду стоял в нерешительности.

— А, тем хуже, — сказал он, наконец. — Но прежде всего мне должно убить его.

И он выбежал из коридора.

Морис с беспокойством смотрел на Лорена.

— Теперь он спасен, — сказал Морис Женевьеве почти с радостью, когда Лорен скрылся из виду. — Пропуск разорвали... Он уже не войдет сюда, а если бы и вошел, то заседание трибунала кончится к пяти часам, а к этому времени нас уже не будет в живых.

Женевьева вздохнула и задрожала.

— О, сожми меня в своих объятиях, — сказала она, — и уже не расстанемся. Зачем господь не может поразить нас одним и тем же ударом, чтобы мы вместе испустили дух!

И они удалились в самый темный угол зала. Женевьева села возле Мориса и обвила руки вокруг его шеи... Любовь притупила в них чувство приближающейся смерти.

Прошло около получаса.

LV. ДЛЯ ЧЕГО УШЕЛ ЛОРЕН

Вдруг раздался страшный шум. Жандармы растворили низенькую дверь. За ними шел Сансон, а помощники ему несли связку веревок.

— Друг мой, друг мой! — сказала Женевьева. — Наступает роковая минута!.. Я упаду без чувств.

— Напрасно, — раздался звучный голос Лорена.

Ваш страх — одно предубеждение,

Смерть — лучшее освобождение!

— Лорен, — в отчаянии вскричал Морис.

— А что, разве не годятся стихи!.. Я того же мнения друг мой. Со вчерашнего дня я плету жалкие рифмы.

— Не о них речь, друг мой! Ты возвратился, несчастный, ты возвратился...

— Кажется, таково было наше условие. Послушай же, потому что то, что я скажу мадам Женевьеве, может быть интересно и для тебя...

— Боже мой!

— Дай же мне рассказать, иначе я не успею... Я вышел отсюда, чтобы купить нож на улице Барилльери...

— Для чего это?

— Чтобы убить многоуважаемого и честнейшего господина Диксмера.

Женевьева задрожала.

— Понимаю! — заметил Морис.

— Я купил нож... Понимаешь мою логику. Право, я начинаю думать, что мне следовало бы сделаться математиком, а не поэтом. Но, к несчастью, теперь уже поздно выбирать карьеру... Так слушай же мои логические размышления. Мосье Диксмер, рассуждал я сам с собой, компрометировал свою жену; мосье Диксмер не откажет себе в удовольствии посмотреть, как повезут ее в позорной телеге, и особенно, как мы будем провожать ее. Поэтому решил я: отыщу его в первом ряду зрителей и скажу: «Здравствуйте, мосье Диксмер» — да и воткну ему нож в сердце.

— Лорен! — вскричала Женевьева.

— Но не беспокойтесь, сударыня. Провидение привело все это в порядок. Вообразите себе, что зрители, вместо того, чтобы толкаться, по обыкновению, перед Дворцом юстиции, стояли толпой на набережной.

«Верно, зевают на потонувшую собаку, — сказал я себе. — Лучше, если бы захлебнулся Диксмер!» Подошел к перилам, вижу у спуска толпу народа, размахивающую руками, спускаюсь к Сене... и глазам моим представляется... что бы вы думали?

— Диксмер, — сказал Морис глухим голосом.

— Он самый. Однако ты большой угадчик, Морис! Да, Диксмер, наш возлюбленный Диксмер... Несчастный распорол себе брюхо... верно, из раскаяния.

— Ты думаешь? — спросил Морис с мрачной улыбкой.

Женевьева закрыла лицо руками: она была слишком слаба, чтобы выдержать одно за другим столько потрясающих ощущений.

— Да, я так и подумал, тем более что рядом с ним валялась его окровавленная сабля... Впрочем, могло случиться, что он наткнулся на кого-нибудь и...

Морис, не говоря ни слова, воспользовался временем, пока Женевьева, пораженная известием, не могла ничего видеть, расстегнул свой сюртук и показал Лорену свой жилет и рубашку, обогренную кровью.

— А, это другое дело, — сказал Лорен и пожал Морису руку. — А теперь, — продолжал он, наклонившись к уху Мориса, — так как меня не обшаривали, потому что я вошел сюда, назвавшись помощником Сансона, то не хочешь ли употребить вместо гильотины поварской нож? А?

Морис с радостью схватил оружие, но тотчас же отдал его Лорену, сказав:

— Нет, ей будет очень больно.

— И то правда... Да здравствует же машина мосье Гильотена! Что такое машина мосье Гильотена? Щелчок по шее, как выразился Дантон. А что такое щелчок?

И он швырнул нож в толпу осужденных.

Один из них схватил нож, воткнул себе в грудь и упал замертво.

В то же мгновение Женевьева сделала движение и вскрикнула. Сансон положил руку ей на плечо.

LVI. ДА ЗДРАВСТВУЕТ СИМОН

По крику Женевьевы Морис понял, что начинается борьба.

Любовь может возвысить душу до героизма; любовь может, вопреки врожденному инстинкту, заставить человека желать смерти, но не притупляет в нем чувства телесных страданий. Женевьева терпеливо ожидала смерти с той минуты, как Морис умирал вместе с нею; но покорность не исключает страданий. Покинуть здешний мир не только значит впасть в бездну неизвестности, но еще страдать, падая в нее.

Морис обнял взглядом всю настоящую сцену и одной мыслью все то, что предстояло им.

Посередине комнаты лежал труп, из груди которого жандарм поспешно вытащил нож, боясь, чтобы им не воспользовались другие. Около трупа люди, онемевшие от отчаяния и не обращавшие на него внимания, писали на клочках бумаги карандашом бессвязные слова или пожимали один другому руки; некоторые повторяли, как помешанные, любимое имя или орошали слезами кольцо, портрет, локон волос, другие изрыгали неистовые проклятья

против тирании — слово, которое всегда проклинал мир, а иногда и сами тираны.

Посреди всех этих злосчастных Сансон, на котором тяготело пятьдесят четыре года жизни и ужасная обязанность, кроткий утешитель, насколько позволяла ему быть таким его страшная служба, — одному давал совет, другого ободрял и находил христианские слова в ответ на выходки отчаяния.

— Гражданка, — сказал он Женевьеве, — вам надо снять шейный платок и подобрать наверх или обрезать волосы.

Женевьева задрожала.

— Будьте смелее, друг мой, — кротко сказал ей Лорен.

— Могу ли я сам подобрать ей волосы? — спросил Морис.

— О, умоляю вас, позвольте, мосье Сансон! — вскричала Женевьева.

— Извольте, — сказал старик, отвернувшись.

Морис развязал свой галстук, еще теплый от шеи, Женевьева поцеловала его, и, став на колени перед молодым человеком, подставила ему свою прекрасную голову, которая в горе сделалась еще прекраснее, нежели в дни радостей. Когда Морис окончил свое печальное занятие, руки его до того дрожали, в лице его выражалось столько скорби, что Женевьева вскричала:

— О, Морис! У меня хватит мужества.

Сансон обернулся.

— Не правда ли, милостивый государь, что у меня хватит мужества? — спросила она.

— Да, гражданка, — отвечал он взволнованным голосом, — и притом истинного мужества.

Между тем первый помощник палача пробежал список, присланный Фукье-Тенвилем.

Сансон пересчитал осужденных.

— Пятнадцать с умершим, — сказал он. — Неверно.

Лорен и Женевьева сосчитали за Сансоном, волнуемые той же мыслью.

— Вы говорите, что осужденных четырнадцать, а нас здесь пятнадцать, — сказала она.

— Да. Верно, гражданин Фукье-Тенвиль ошибся.

— О, ты солгал, — сказала Женевьева Морису. — Ты не был осужден.

— Для чего ждать до завтра, если ты умираешь сегодня! — отвечал Морис.

— Ты успокоил меня, друг мой, — сказала она, улыбаясь. — Теперь я вижу, что легко умирать.

— Лорен, — сказал Морис. — В последний раз, Лорен... Тебя никто здесь не знает... Скажи, что ты пришел проститься... скажи, что тебя заперли по ошибке... Назови жандарма, который видел, как ты вошел. Я буду настоящим осужденным, мне должно умереть... Но тебя, друг, мы оба умоляем жить, чтобы сохранить воспоминание о нас... Лорен, умоляю тебя! Еще есть время!..

Женевьева сложила руки в знак просьбы. Лорен взял обе руки молодой женщины и прижал их к губам.

— Я сказал: нет! И нет! Иначе я подумаю, что я стесняю вас, — решительно сказал Лорен.

— В списке четырнадцать, а налицо пятнадцать, — повторил Сансон и потом, возвысив голос, прибавил:

— Что же, кто здесь лишний? Не попал ли кто по ошибке?

Может быть, несколько уст и раскрылись при этом вопросе, но они сжались, не произнеся ни слова; те, которые могли бы солгать, стыдились лжи, а кто мог бы сказать правду, не хотел говорить.

Несколько минут царило молчание; помощники Сансона исполняли между тем свою убийственную обязанность.

— Граждане, мы готовы!.. — сказал Сансон глухим и торжественным голосом. Несколько стонов и рыданий отвечало ему.

— Ну, что же? — сказал Лорен: —

Прекрасно для отчизны жить,

И даже голову сложить...

Да, если точно умирать для отчизны; но я начинаю думать, что мы умираем не для отечества, а для удовольствия тех, которые любят нашу смертью... Да, Морис, я согласен с твоим мнением. Мне тоже опротивела республика.

В зал вошло несколько жандармов, став между дверью и приговоренными, как будто за тем, чтобы не дать им возвратиться к жизни.

Сделали переключку.

Морис, увидевший, как судили арестанта, умертвившего себя Лореновым ножом, откликнулся за него — и таким образом оказалось, что лишним, то есть пятнадцатым, был умерший. Его вынесли из зала. Впрочем, если бы его признали за осужденного, то мертвому отрубили бы голову гильотиной.

Остальных придвинули к выходу и по мере того, как они проходили в узенькую дверь, каждому завязывали за спиной руки. В продолжение этих десяти минут ни один из несчастных не произнес ни слова. Говорили и действовали только палачи.

Морис, Женевьева, Лорен, которые не могли уже держаться за руки, прижались друг к другу, чтобы не разойтись. Потом осужденных погнали из Консьержери во двор.

Здесь зрелище сделалось ужасающим. Многие при виде позорных телег упали в обморок, и тюремщики подсаживали их в телеги. За дверями, еще затворенными, слышны были смешанные голоса толпы, судя по говору, многочисленной.

Женевьева вошла в телегу довольно бодро. Морис поддерживал ее локтем и потом быстро взошел за нею.

Лорен не торопился. Он выбрал место и сел по левую сторону Мориса.

Дверь отворилась. В первом ряду стоял Симон. Два друга узнали его, и он также узнал их.

Он встал на тумбу, мимо которой должны были ехать телеги, и узнал всех троих.

Тронулась первая телега, именно та, в которой сидели Морис, Женевьева и Лорен.

— А, здравствуй, статный гренадер, — сказал Симон Лорену. — Кажется, хочешь попробовать мой резак?

— Да, и постараюсь не иззубрить, чтобы он пригодился и для твоей шкуры.

Две другие телеги тронулись вслед за первой.

Вокруг осужденных раздавалась сушая буря из разных криков, стонов и проклятий.

— Смелей, Женевьева, смелей! — говорил Морис.

— О, я не жалею о жизни, потому что умираю с тобой, — отвечала женщина. — Жалею только о том, что не могу перед смертью сжать тебя в своих объятиях.

— Лорен, — сказал Морис, — пошарь у меня в жилете; там есть перочинный ножик.

— Вот это кстати! — вскричал Лорен. — А то сущее унижение; везут на убой связанного, как теленка!

Морис присел так, чтобы друг его мог достать рукой до его кармана, и Лорен вынул перочинный ножик; потом они вдвоем открыли его, Морис взял ножик в зубы и перерезал веревки, которыми были связаны руки Лорена. Освободившись от уз, Лорен оказал ту же услугу Морису.

— Да скорее! — сказал молодой человек. — Видишь, что с Женевьевой дурно!

В самом деле, развязывая друга, Морис отвернулся на секунду от бедной женщины, и она, как будто лишившись своей защиты, закрыла глаза и опустила голову на грудь.

— Женевьева, друг мой, раскрой глаза; нам остается всего несколько минут, чтобы видеть друг друга в здешнем мире.

— Мне больно от веревок, — проговорила несчастная.

Морис развязал ее. Тогда она раскрыла глаза и встала в испуге, от которого красота ее сделалась истинно ослепительной.

Женевьева обвила одной рукой шею Мориса, другой взяла руку Лорена и, стоя в телеге, в которой у ног их лежали две другие жертвы, оцепеневшие от предчувствия смерти, они втроем устремили к небу взор и жесты, полные благодарности.

Народ, оскорблявший их насмешками, покуда они сидели, замолчал, когда увидел их вставшими.

Вдали показался эшафот.

Морис и Лорен увидели его, но Женевьева не видела. Она смотрела на своего возлюбленного.

Тележка остановилась.

— Я люблю тебя, — повторяла Женевьева Морису, — я люблю тебя!

— Женщину сперва, женщину вперед! — закричала тысячная толпа.

— Спасибо, народ, — проговорил Морис. — Кто же это смел говорить про тебя, что ты жесток?

Он схватил Женевьеву в объятия и, прильнув губами к ее губам, донес ее и передал Сансону.

— Мужайся! — крикнул Лорен. — Мужайся!

— У меня достаточно мужества, — ответила Женевьева.

— Я люблю тебя, — шептал Морис. — Я люблю тебя!

Казалось, что казнили не жертвы, а друзей, которые устроили себе праздник из смерти.

— Прощай! — крикнула Женевьева Лорену.

— До свидания! — ответил тот.

Женевьева исчезла под роковым подъемом.

— Твой черед! — проговорил Лорен.

— Нет, твой, — сказал Морис.

— Слушай! Она зовет тебя.

И действительно, раздался последний возглас Женевьевы.

— Иди! — крикнула она.

В толпе произошло большое смятение. Прекрасная изящная головка упала на эшафот.

Морис бросился вперед.

— Это высшая справедливость, — говорил Лорен. — Слышишь, какая логика, Морис?

— Да.

— Она любила тебя, ее казнят первую; ты не осужден, ты умираешь вторым; я ничего не сделал, а так как я самый большой преступник из всех троих, то я умираю последним.

И вот как с логикою мы

Возводим истину из тьмы.

— Гражданин Сансон, я обещал тебе четыре стиха, но ты будешь доволен двумя.

— Я любил тебя, — проговорил Морис, привязанный к роковой доске и улыбаясь голове своей подруги, — я люб...

Топор рассек слово на половине.

— Теперь моя очередь! — вскричал Лорен, вскочив на эшафот. — Да поскорее, а не то я потеряю голову... Гражданин Сансон, я лишил тебя пары стихов, но зато дарю тебе каламбур.

Сансон связал его, в свою очередь.

— Господа публика, — сказал Лорен, — нынче в моде кричать кому-нибудь перед смертью: «Да здравствует!» Во время оно кричали: «Да здравствует король!» — но теперь нет короля. Потом кричали: «Да здравствует свобода!» — но теперь нет свободы. Итак — «Да здравствует Симон, соединивший нас троих!»

И голова великодушного молодого человека скатилась к головам Мориса и Женевьевы.



РЕВОЛЮЦИЯ И ГИЛЬОТИНА

(Заметки на полях романа)

Звезда литературной славы Александра Дюма вспыхнула сразу же после первых написанных им драм. С методичностью хорошо отлаженной машины во все ускоряющемся темпе он выбрасывал из своего спартански простого рабочего кабинета на «съедение» читателям, зрителям роман за романом, драму за драмой. Словно при вспышке сверхновой, в мощном излучении на какое-то время блекло даже созвездие его великих соотечественников: Оноре Бальзака, Виктора Гюго, Эжена Сю... Для оценки феномена Дюма очень подходят размышления Жюлья Ренара, тоже французского писателя:

«Талант — вопрос количества. Талант не в том, чтобы написать одну страницу, а в том, чтобы написать их триста. Нет такого романа, который не мог бы родиться в самом заурядном воображении; нет такой прекрасной фразы, которую не мог бы выдумать начинающий писатель. И тогда остается только взяться за перо, положить перед собою бумагу и терпеливо ее исписывать. Сильные волей не колеблются. Они садятся за стол, они обливаются потом. Они доведут дело до конца. Они изведут все чернила, они испишут всю бумагу. И в этом отличии талантливых людей от малодушных, которые никогда ничего не начнут. Литературу могут делать только воли. Самые мощные воли — это гении, те, что не покладая рук работают по восемнадцать часов в сутки. Слава — это непрерывное усилие».

Это все о Дюма: и «воля», и «пот», и «непрерывное усилие», и «восемнадцать часов в сутки» за рабочим столом и редкой силы и постоянства популярность. Вот и у нас в стране, через полтора века после смерти писателя наблюдается новая волна интереса к творчеству великого француза. Если сегодня на прилавке магазина будут лежать рядом тома Бальзака, Гюго и Дюма, то у большинства покупателей рука потянется в первую очередь за книжкой автора «Трех мушкетеров».

Но и в жизни светил часто соседствует великое и смешное. Известный всему миру писатель тратил несоизмеримо много времени на то, чтобы выклянчить себе какой-нибудь орден, и часто безрезультатно. Например, русский император Николай I на ходатайстве о награждении Дюма российским орденом начертал: «Довольно и табакерки». Писатель боролся за депутатский мандат, но потерпел поражение на выборах. Избиратели, не чета современным, трезво рассудили: не сможет Дюма одинаково успешно сидеть на двух стульях, пусть лучше пишет, чем заседает. Он всю жизнь довольствовался струганным из простых сосновых досок столом, стопкой бумаги и набором быстро истиравшихся перьев. Но на зависть всем отгрохал роскошный дворец, быстро превратившийся в проходной двор для знакомых и незнакомых актеров и литераторов, приживалок и любовниц. Толпа ела, пила гуляла за его счет, а Дюма прятался ото всех в мезонине, в своем спартански-простом кабинете и стремительно исписывал аккуратным писарским почерком страницу за страницей, не давая себе труда расставлять даже знаки препинания, чтобы зря не тратить драгоценные минуты на всякие заковыки. Так что все восклицательные знаки, запятые и многоточия — это вклад в творчество Дюма переписчиков. Кто жил в том дворце? Богач? Бедняк? В конце концов — бедняк, потому что что хоромы со всем содержимым пришлось однажды продать с молотка за долги. А скольких ухищрений стоило ему, обладавшим всему свету известным литературным именем, добиться права носить

полный титул предков — Дюма Дави де ля Пайетри. Это чтобы весь Париж знал: он не просто писатель Александр Дюма, а потомок маркиза Франции. Слава богу, издателям не пришлось в голову выставить на обложке хотя бы одной его книги сей полный титул. Зато на визитных карточках он был запечатлен полностью. Итак, тщеславие — эта приживалка таланта — удовлетворено? Но характер Дюма соткан из парадоксов. Стоило на каком-то собрании оратору, чье имя история, не сохранила, обвинить писателя в аристократизме, как тот страшно возмущался:

«Руки, написавшие за двадцать лет четыреста романов и тридцать пять драм, — это руки рабочего!»

И это не преувеличение в пылу полемики, а факт, правда, при одном уточнении. В огромную цифру — четыреста — входят и читающиеся как увлекательные романы десятки томов мемуаров, путевых записок по Франции, Италии, Африке, России, книги по истории Генриха IV, Людовика XIV, Наполеона... Наиболее полное французское издание сочинений Александра Дюма состоит из трехсот одного тома.

Сегодня модно говорить о скрытых резервах человеческого мозга. Пример Дюма показывает сколь они велики. Но в отличие от многих наших, даже очень талантливых современников, он сумел вычерпать из необъятных запасов памяти, вывести на свет божий из самых дальних закоулков мозга все темы, все сюжеты, все образы. Настолько все, что когда Дюма-сын спросил однажды старика: «Хочется тебе работать?» — «О нет!» — ответил он с выражением, на которое ему давало право воспоминание о том, сколько пришлось ему работать в течение сорока лет.

Так простим тщеславия потуги и снимем шляпу перед «мощным волком» литературы.

* * *

«Среди этой гигантской продукции мало неудач, — свидетельствует Андре Моруа. — К его романам обращается в часы досуга весь мир. Никто не читал всех произведений Дюма (прочсть их так же невозможно, как написать), но весь земной шар читал Дюма... Если еще существует, говорили в 1850 году, на каком-нибудь необитаемом острове Робинзон Крузо, то он, наверное, сейчас читает «Трех мушкетеров». Следует добавить, что и весь мир и сама Франция знакомятся с французской историей по романам Дюма. История эта не во всем верна, но она далеко не во всем фальшива и всегда полна самого захватывающего драматизма».

Как глубоко надо было знать историю своей страны, чтобы набрать столько сюжетов, полных «захватывающего драматизма». И все же роман не может быть абсолютно точным срезом эпохи с точной последовательностью годовичных колец, как у дерева. Это лишь литературные вариации на темы прошлого, а не хроника событий и деяний великих деятелей прошлого.

Самым продуктивным для Дюма было десятилетие 1845 — 1855 годов. «Работая так, как никто не работал, отказывая себе даже во сне», он создал многотомный свод произведений, охватывающих несколько столетий общественно-политической, героической и трагической, бытовой и альковной истории Франции. Это беллетризованная история страны от формирования и взлета до падения абсолютистской монархии, от революции и ее террора, диктатуры, до империи Наполеона и ее крушения.

Всего за какие-то полтора года он опубликовал серию романов о закате и гибели монархии. Это «Ожерелье королевь», «Жозеф Балзано», «Анж Питу», «Графиня де Шарни», «Кавалер Красного замка» («Шевалье де Мезон Руж»). Различна судьба русских переводов этих романов. Если «Графиня де Шарни» издана в миллионах экземпляров, то «Кавалер Красного замка» не выходил на русский язык после 1917 года ни разу, хотя время действия, пик Великой французской революции — должно было бы вызывать повышенный интерес наших политизированных издателей и историков. Но, прочитав, наконец, и этот роман Дюма, вы, наверное, поняли, почему именно он на протяжении почти восьми десятилетий был закрыт для нашей читающей публики. Взгляд писателя диаметрально противоположен оценке, какую давала той революции советская политизированная историография. Вряд ли, прочитав этот роман, родителям захотелось бы называть своих детей именами Марата и Робеспьера. Более того, нашему читателю, в разные периоды диктатуры, террора, борьбы с инакомыслием научившемуся читать между строк, «привиделось» бы столько параллелей между концом восемнадцатого века и тридцатыми-сороковыми годами нашего столетия, удалось бы насчитать столько учеников провинциального юриста Робеспьера и сапожника Симона, усвоивших их уроки террора и доносительства!..

Вы только что прочитали этот роман. Возможно, вас постигло некоторое разочарование после знаменитых «Трех мушкетеров», после дворцовых тайн, погонь, дуэлей, лихих скачек, пестрой картины весьма свободных нравов давно ушедших столетий. Там все атрибуты авантюрно-исторического романа, в котором история — лишь красочный фон для столь же красочных героев. А здесь нет головоломно закрученной интриги, нет ни одной дуэли, вместо шаги дворянина — сабля санюлота. Из грязно-серой, мрачной мглы появляются герои и в кровавой реке исчезают. С первой страницы ощущение неумолимо надвигающейся гибели молодости и чистоты. На последней — словно три точки, три удара ножа гильотины. Головы «преждебывшей» юной аристократки, «подозреваемых» революционеров скатились в один грязный мешок. Через весь роман проходит этот беспощадный стук гильотины. Революция, словно бог Кронос, пожирала своих сыновей, сама, в своем живом теле, прорубала просеку для диктатуры, империи. Рожденный революцией трибунал стал палачом и могилщиком ее. По приговору скорого, несправедного суда до шестидесяти раз в день на Гревской площади отсекал головы знаменитый палач Шарль Генрих Сансон (и палачи бывают знамениты), официально именовавшийся «Исполнитель уголовных приговоров города Парижа». Уголовных, а не политических. В каждом городе, поселке Франции был в те годы свой Сансон и своя без отдыха работавшая гильотина. Не этот ли кровавый опыт террора был подхвачен диктаторами XX века?..

Для нас это книга о событиях двухсотлетней давности. А был ли для Дюма этот роман историческим? Чтобы ответить на этот вопрос, зададим еще один. Воспринимаем ли мы сегодня как исторические сочинения современных авторов о «тридцать пятом и других годах»? Нет, потому что еще жива боль и память о жертвах кровавого вихря террора, столько лет носившегося над нашей страной. Оставленные этим вихрем руины придется восстанавливать еще не одному поколению.

Время действия и время написания «Кавалера Красного замка» разделяет примерно полвека. Рядом с Дюма еще доживали свой век чудом спасшимся жертвы революционного террора и постаревшие палачи. Не строки мемуаров и пожелтевших писем впитывала память Дюма, а живое слово очевидцев. Дюма родился 24 июля 1802 года, через девять лет после гибели своих героев. Но ведь его родители свел случай революции. Действительно, бог знает, кто мог бы стать мужем Мари-Луизы Лабуре, дочери хозяина гостиницы из городка Вилле-Коттре, если бы не падение Бастилии. В городок для наведения нового порядка прибыли двадцать драгун перешедшей на сторону народа армии. С первого взгляда сердце девушки покорила статный мулат — рядовой Тома-Александр Дюма, родом из заморской колонии Сан-Доминго, сын маркиза Дюма де ля Пайетри, полковника королевской армии, бывшего генерального комиссара артиллерии его величества. Вскоре он стал супругом милой мещанки. В то время говорили, что революция печет своих генералов быстрее, чем они делают детей. Первого ребенка Мари-Луиза родила вскоре после того, как Тома-Александр стал генералом революционной армии. Революция стала его судьбой, ее взлет и крушение были его взлетом и крушением. Он был в Париже в начале великого террора. И на первых порах воспринял его как необходимость во имя утверждения свободы, равенства и братства. Он стал одним из храбрейших командиров, отважным до безрасудства. Но не принял террора. Где-то в провинции изрубил гильотину. Совершил легендарные подвиги в армии генерала Бонапарта, но попал в плен. Заточение в темнице разрушило его здоровье. Честность и прямота поссорила с генералом, ставшим императором Франции. Однако, негодный к воинской службе, опальный генерал сохранил все свои мужские достоинства и произвел на свет сына Александра, передал ему в наследство неумный, взрывной, любвеобильный темперамент, мощное здоровье, которые помогли сыну в течение сорока лет работать как волу, вести бурную светскую жизнь и, по его словам, наплодить детей столько же, сколько написал романов.

Крестным отцом Александра стал маршал Брюн, бывший в 1793 году одним из генералов Северной армии, на которую обрушился самый мощный удар врагов революции.

Это и время начала романа.

Детство и юность будущего писателя прошли в Вилле-Коттре. Но именно там во времена монархии пребывал блестящий и распутный двор герцогов Орлеанских, и там во времена реставрации Бурбонов доживали свой век осколки аристократов, в глазах которых юноша без труда мог увидеть отблеск ненависти и ужаса при воспоминании о годах террора, о сопровождавшей революцию волне насилий, грабежей, ненависти.

Дюма говорил, что, сочиняя свои романы, он становится монархистом во времена монархии, республиканцем во времена республики. Так что же он здесь? Слишком близки были события, чтобы спокойно и отстраненно созерцать их с высоты мезонина своего фантастического замка. Слишком свежа была память о кровавом молохе, поочередно рублившем головы королям и аристократам, жирондистам, начавшим революцию, якобинцам, посеявшим террор, и вообще всем, кто казался подозрительным, а может быть, шпионом ненавистных англичан.

И снова — о парадоксальности Дюма. Он восторгался почти во все случившиеся при его жизни революции и восстания, конечно же, на стороне борцов за свободу, равенство и братство против королей, хотя его и ужасали волны беззаконий, террора, творимых во имя торжества правого дела.

Он зло иронизировал над «великими свершениями», провозглашаемыми на века. Революция провозглашала себя началом новой эры, меняла названия месяцев. Но оторгнуты были «брюмеры», «жерминали», снова вернулись октябрь и марты. Она сокрушала церковь и провозглашала античное многобожие. Но вместе с революцией рухнули псевдоантичные боги, уступили сутане. Она лепила гигантские статуи в честь своих побед, санюлоты венчали друг друга дубовыми венками за неимением лавровых. Рассыпались гипсовые монстры, сгнили венки. Но осталась горькая память о спутниках революции — голоде, коррупции, терроре и войне.

В недавней истории писатель почерпнул сведения о том, как под сенью Конституции творился произвол. Послушным исполнителем воли Комитета общественного спасения, штамповавшим акты террора, стал трибунал и его глава — провинциальный юрист-неудачник Антуан Кетьен Фуке-Тенвиль. Объем работы был столь велик, что Фуке начала тяготить необходимость вести допросы, выслушивать свидетелей и обвиняемых. Ради исполнения работы Комитет принимает декрет о том, что патриотические присяжные вправе прекращать прения, если они чувствуют себя убежденными! На волне террора родился поразительный тезис о том, что «подозрительные все те, кто своими действиями, сношениями, речами, сочинениями и, короче говоря, чем бы то ни было навлекли на себя подозрение». Подозрения было достаточно, чтобы бросить человека в тюрьму Консьержери, а оттуда одна дорога — на эшафот.

Дюма не сгустил краски. Просто «историческую перспективу», «всемирно-историческое значение» заслоняла толпа обезглавленных теней.

Таков в романе портрет революции. Художник не мог фальшивить.

Факты истории Дюма типизировал в судьбах и поступках героев книги. Многие, кажущиеся выдумкой, имели аналог в жизни. После казни Людовика XVI не раз делались попытки похитить из тюрьмы королевскую семью. В тщательно охраняемый Тампль проник генерал Жорже (взятка — слуги патриотов). Он ухитрился обсудить с Марией-Антуанеттой план побега. С поддельными документами, переодетые в форму депутатов ратуши, вместе с детьми, также переодетыми, но в рубище сыновей фонащика, члены королевской семьи должны были миновать все караулы, сесть в коляску и уехать в тайную загородную квартиру. Заговор разрушила шпионка Тизон. Да, реальная Тизон. Дюма придумал ей ужасную судьбу — наказание господине.

Барон де Бац пожертвовал огромным состоянием ради спасения королевы. Под чужими именами он скрывался в Париже. Вот что о нем сообщает Стефан Цвейг: «В характере этого блестящего заговорщика сочетаются холодная расчетливость и личная пламенная отвага. Он, которого сотни шпионов и тайных агентов безуспешно выслеживают и ищут по всей стране — Комитет безопасности уже информирован о том, что он вынашивает планы крушения республики, — проникает в караульную службу Тампля как рядовой под именем Форже, чтобы лично во всех подробностях изучить план тюрьмы и территорию вокруг... В один из дней 1793 года находящийся чуть ли не в центре революционного Парижа квартал Тампля, в котором содержится поставленная вне закона королева Франции и границы которого не имеет права переступить ни одно лицо без специального разрешения городского самоуправления, охраняется батальоном передетых роялистов со своим вождем бароном де Бацем!»

Собачий нюх служителя Тампля, сапожника Симона, разрушил и этот заговор. То был реальный Симон, которому Коммуна действительно отдала малолетнего

принца, чтобы воспитать его в принципах санкюлотизма, Симон, «научивший мальчишку пить, ругаться, петь «Карманьолу» и оставивший его умирать среди грязи и мрака, в рубашке, не менявшейся в течение шести месяцев» (Карлейль).

Вот еще этюд с натуры к портрету кавалера де Мезон Ружа и реальное отношение революции к семье казенного монарха Выдумкой автора представляется сюжет с гвоздикой. Была записка, спрятанная в букетик гвоздик. Только пронесен он был не в Тампл, а в совсем уж кажущаяся неприступной тюрьму Консервжери дворянином-заговорщиком Ружвилем. Какое сходство фамилий: реальный Ружвиль и литературный Мезон Руж!

И ответ королевы, наколотый булавкой на клочке бумаги, тоже был. Только Дюма не мог знать содержания настоящей записки, потому что она была расшифрована лишь в 1876 году. Вот ее истинный текст: «С меня не спускают глаз, я ни с кем не разговариваю. Полностью полагаюсь на вас, готова следовать за вами».

Так из нескольких этюдов с натуры писатель нарисовал образ героя, именем которого назван роман.

Сколько еще в романе таких опорных точек, отмечающих время и место событий. Маленькая поправка, небольшая огранка, и «сырье» жизни начинает работать на сюжет. Вспомним, в романе палачи даже не дали себе труда проверить, почему на эшафот они отправляют на одного человека больше, чем следовало. В истории революции известен случай, происшедший, правда, не в Париже, а в Лионе. Там вели на казнь девять человек. Один упал с моста и утонул. А гильотина отрубила двести десять голов. В толпу осужденных нечаянно попали два полицейских. Никто не стал разбираться, почему они там оказались!

В романе Женестьева первой твердо ступает на эшафот. В истории — Мария Филипон, вдова казенного министра республики, также приговоренная к отсечению головы, попросила палача первой отправить ее на плаху, чтобы показать мужчинам, «как легко умирать».

А попытка подменить Марию-Антуанетту? Этот эпизод мог быть блестящей придумкой Дюма, но... Вот что рассказал палач Сансон. В ночь перед казнью Людовика XVI к нему пришел молодой человек, «один из людей, мечтавших освободить короля». Впрочем, его преданность зашла далее, чем у других: он желал занять место короля и умереть вместо него, если только ему добудут одежду короля, так, чтобы в толпе совершенно незаметно можно было ему поменяться местом с королем. Несмотря на все чистосердечие этого истинно-рыцарского замысла, об этом плане нечего было и толковать». Дюма лишь заменил фигуры!

Посмертные, слепые маски погибших... Толпа обезглавленных теней... Дюма силой своего вдохновения оживил их, превратил в литературных героев. А что же стало с реальными носителями беззакония и мрака, чья жизнь продолжалась за рамками романа?

Фукье-Тенвиль вскорости отправил на эшафот якобинцев — двадцать три человека, начиная от Робеспьера и кончая верным псом террора, дослужившимся до звания члена муниципалитета, сапожником Симоном. А 7 мая 1795 года самому Фукье пришлось сперва защищаться перед судом, в котором еще недавно он властвовал. И ему пришлось сперва «посмотреть в маленькое окошко, а потом под резкий звук топора «чихнуть в мешок».

В романе зло оставлено живым. История рассудила иначе.

Лишь Сансон благополучно выплыл из революционного водоворота. Когда ослабела рука и потускнел взор, он передал по наследству свою должность сыну и внуку, а сам на «заслуженном отдыхе», получая приличную пенсию, принялся за мемуары, в которых искренне рассказал о трудностях своей профессии, о том, каким он был в душе монархистом и скольких нравственных мук стоило ему рубить головы аристократам, королю, королеве. Внук-палач обработал эти мемуары, добавил туда кое-что свое и издал вскоре после того, как Шарль Генрих Сансон мирно и тихо отошел в мир иной, всего три года не дожив до семидесятилетнего юбилея...

С. Чумаков

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава I. ЗАВЕРБОВАННЫЕ	5	Глава XXXIII. НА ДРУГОЙ ДЕНЬ	173
Глава II. НЕЗНАКОМКА	11	Глава XXXIV. КОНСЬЕРЖЕРИ	175
Глава III. УЛИЦА ФОССЭ-СЕН-ВИКТОР	16	Глава XXXV. ЗАЛ ПОТЕРЯННЫХ ШАГОВ	181
Глава IV. ПРАВЫ ВРЕМЕНИ	20	Глава XXXVI. ГРАЖДАНИН ТЕОДОР	186
Глава V. КТО ВЫ, ГРАЖДАНИН МОРИС ЛЕНДЭ	26	Глава XXXVII. ГРАЖДАНИН ГРАКХ	190
Глава VI. ТАМПЛЬ	29	Глава XXXVIII. КОРОЛЕВСКОЕ ДИТЯ	193
Глава VII. КЛЯТВА ИГРОКА	34	Глава XXXIX. БУКЕТ ФИАЛОК	198
Глава VIII. ЖЕНЕВЬЕВА	40	Глава XL. ХАРЧЕВНЯ «НОЕВ КОЛОДЕЦ»	203
Глава IX. УЖИН	46	Глава XLI. РЕГИСТРАТОР ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА	207
Глава X. ЧЕБОТАРЬ СИМОН	51	Глава XLII. ДВЕ ЗАПИСКИ	211
Глава XI. ЗАПИСКА	57	Глава XLIII. СБОРЫ ДИКСМЕРА	213
Глава XII. ЛЮБОВЬ	63	Глава XLIV. СБОРЫ КАВАЛЕРА МЕЗОН РУЖА	217
Глава XIII. 31 МАЯ	80	Глава XLV. РОЗЫСКИ	221
Глава XIV. ПРЕДАННОСТЬ	83	Глава XLVI. СУД	226
Глава XV. БОГИНЯ РАЗУМА	88	Глава XLVII. СВЯЩЕННИК И ПАЛАЧ	230
Глава XVI. БЛУДНЫЙ СЫН	91	Глава XLVIII. ТЕЛЕЖКА	234
Глава XVII. МАСТЕРА ПОДКОПА	95	Глава XLIX. ЭШАФОТ	238
Глава XVIII. ОБЛАКА	101	Глава L. ДОМАШНИЙ ОБЫСК	241
Глава XIX. ПРОСЬБА	106	Глава LI. ЛОРЕН	244
Глава XX. ЦВЕТОЧНИЦА	111	Глава LII. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО	248
Глава XXI. КРАСНАЯ ГВОЗДИКА	114	Глава LIII. ДУЭЛЬ	251
Глава XXII. ЦЕНЗОР СИМОН	118	Глава LIV. ЗАЛ МЕРТВЫХ	255
Глава XXIII. БОГИНЯ РАЗУМА	122	Глава LV. ДЛЯ ЧЕГО УШЕЛ ЛЮРЕН	261
Глава XXIV. МАТЬ И ДОЧЬ	126	Глава LVI. ДА ЗДРАВСТВУЕТ СИМОН	262
Глава XXV. ЗАПИСКА	131	РЕВОЛЮЦИЯ И ГИЛЬОТИНА.	267
Глава XXVI. БЛЕК	136		
Глава XXVII. ФРАНТ	142		
Глава XXVIII. КАВАЛЕР ДЕ МЕЗОН РУЖ	147		
Глава XXIX. ПАТРУЛЬ	152		
Глава XXX. ГВОЗДИКА И ПОДЗЕМЕЛЬЕ	157		
Глава XXXI. РОЗЫСКИ	162		
Глава XXXII. КЛЯТВА	167		

АЛЕКСАНДР ДЮМА

Кавалер Красного замка

Редактор *О Курган* Худ. редактор *Л. Гусева*.
Тех. редактор *Г. Прохорова*. Корректор *В. Авдеева*

АО «Прибой». Москва, 103001, Трехпрудный пер., 9.

Сдано в набор 10.06.92. Подписано в печать 28.07.92. Формат 60×88/16. Бумага офсетная.
Гарнитура Таймс. Усл. печ. л. 14,28. Усл. кр.-отт. 14,7. Уч.-изд. л. 14,3. Тираж 300 000.
(2-й завод 100001—200000). Зак. 386.

Московская типография №8 Мининформпечати РФ.
Москва, 101898, Хохловский пер., 7.



